This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

891.78
A56
1906

B 1,375,155

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (СПБ., Невскій, 92).

Л. Андреевъ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

МЕЛКІЕ РАЗСКАЗЫ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Баргамотъ и Гараська.
Защита.
Изъ жизни шт.-кап. Каблукова.
Молодежь.
Первый гонораръ.
Другъ.
Мелькомъ.
Праздникъ.
Прекрасна жизнь для воскресшихъ.
Гостинецъ.
Кусака.
Книга.
Весной.
Городъ.
Оригинальный человѣкъ.
Иностранецъ.
Предстояла кража.
Весеннія обѣщанія.
На станціи.
Марсельеза.
Бенъ-Товитъ.
Нѣтъ-прощенія.
Христіане.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1906.

GENERAL LIBRARY
UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES · SCIENTIA · VERITAS
1817

GENERAL LIBRARY
UNIVERSITY OF MICHIGAN
ARTES · SCIENTIA · VERITAS
1817

(92)

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (СПБ., Невскій, 92).

Л. Андреевъ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

МЕЛКІЕ РАЗСКАЗЫ.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1906.

11.75
A56
1906

Типо-литографія „ЭНЕРГІЯ“, Спб.. Загородный, 17.

Gift of A. C. Finney
No. 2-40

ОГЛАВЛЕНІЕ:

	стр.
Баргамотъ и Гараська	1
Защита	14
Изъ жизни шт.-кап. Каблукова	26
Молодежь	40
Первый гонораръ	56
Другъ	74
Мелькомъ	83
Праздникъ	94
Прекрасна жизнь для воскресшихъ	110
Гостинецъ	115
Кусака	126
Книга	136
Весной	142
Городъ	156
Оригинальный человѣкъ	165
Иностранецъ	178
Предстояла кража	198
Весеннія обѣщанія	207
На станціи	231
Марсельеза	237
Бенъ-Товитъ	241
Нѣтъ прощенія	246
Христіане	271

чатлѣнія, проходя въ душу Баргамота черезъ его маленькіе заплывшіе глазки, по дорогѣ теряли всю свою остроту и силу и доходили до мѣста назначенія лишь въ видѣ слабыхъ отзвуковъ и отблесковъ. Человѣкъ съ возвышенными требованіями назвалъ бы его кускомъ мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же, — наиболѣе заинтересованныхъ въ этомъ вопросѣ лицъ,— онъ былъ степеннымъ, серьезнымъ и солиднымъ человѣкомъ, достойнымъ всяческаго почета и уваженія. То, что зналъ Баргамотъ, онъ зналъ твердо. Пусть это была одна инструкція для городовыхъ, когда-то съ напряженіемъ всего громаднаго тѣла усвоенная имъ, но зато эта инструкція такъ глубоко засѣла въ его неповоротливомъ мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крѣпкой водкой. Не менѣе прочную позицію занимали въ его душѣ немногія истины, добытыя путемъ житейскаго опыта и безусловно господствовавшія надъ мѣстностью. Чего не зналъ Баргамотъ, о томъ онъ молчалъ съ такой несокрушимой солидностью, что людямъ знающимъ становилось какъ-будто немного совѣстно за свое знаніе. А самое главное, — Баргамотъ обладалъ непомѣрной силищей, сила же на Пушкарной улицѣ была все. Населенная сапожниками, пень—котрепальщиками, кустарями-портными и иныхъ свободныхъ профессій представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедѣльниками, всѣ свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической дракѣ, въ которой принимали непосредственное участіе жены, растрепанныя, простоволосыя, растаскивавшія мужей, и маленькіе ребятишки, съ восторгомъ взиравшіе на отвагу тятекъ. Вся эта буйная волна пьяныхъ пушкарей, какъ о каменный оплотъ, разбивалась о непоколебимаго Баргамота, забравшаго методически въ свои мощныя длани

пару наиболѣе отчаянныхъ крикуновъ и самолично доставлявшаго ихъ «за клинъ». Крикуны покорно вручали свою судьбу въ руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таковъ былъ Баргамотъ въ области международныхъ отношеній. Въ сферѣ внутренней политики онъ держался съ неменьшимъ достоинствомъ. Маленькая, покосившаяся хибарка, въ которой обиталъ Баргамотъ съ женой и двумя дѣтишками, и которая съ трудомъ вмѣщала его грузное тѣло, трясясь отъ дряхлости и страха за свое существованіе, когда Баргамотъ ворочался,—могла быть спокойна, если не за свои деревянные устои, то за устои семейнаго союза. Хозяйственный, рачительный, любившій въ свободные дни копаться въ огородѣ, Баргамотъ былъ строгъ. Путемъ того же физическаго воздѣйствія онъ училъ жену и дѣтей, не столько сообразуясь съ ихъ дѣйствительными потребностями въ наукѣ, сколько съ тѣми неясными на этотъ счетъ указаніями, которыя существовали гдѣто въ закоулкѣ его большой головы. Это не мѣшало женѣ его Марьѣ, еще моложавой и красивой женщинѣ, съ одной стороны, уважать мужа, какъ человѣка степеннаго и непьющаго, а съ другой—вертѣть имъ, при всей его грузности, съ такой легкостью и силой, на которую только и способны слабыя женщины.

Часу въ десятомъ теплаго весенняго вечера Баргамотъ стоялъ на своемъ обычномъ посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улицы. Настроеніе Баргамота было скверное. Завтра Свѣтлое Христово Воскресеніе, сейчасъ люди пойдутъ въ церковь, а ему стоять на дежурствѣ до трехъ часовъ ночи, только къ розговинамъ домой попадешь. Потребности молиться Баргамотъ не ощущалъ, но праздничное, свѣтлое настроеніе, разлитое по необычно тихой и спокойной улицѣ

коснулось и его. Ему не нравилось мѣсто, на которомъ онъ ежедневно спокойно стоялъ въ теченіе десятка годовъ; хотѣлось тоже дѣлать что-нибудь такое праздничное, что дѣлаютъ другіе. Въ видѣ смутныхъ ощущеній поднималось въ немъ недовольство и нетерпѣніе. Кромѣ того, онъ былъ голоденъ. Жена нынче совсѣмъ не дала ему обѣдать. Такъ, только тюри пришлось похлебать. Большой животъ настоятельно требовалъ пищи, а разговляться-то когда еще!

— Тьфу!—плюнулъ Баргамотъ, сдѣлавъ цыгарку, и началъ нехотя сосать ее. Дома у него были хорошія папиросы, презентованныя мѣстнымъ лавочникомъ, но и онѣ откладывались до «разговленья».

Вскорѣ потянулись въ церковь и пушкари, чистые, благообразные, въ пиджакахъ и жилетахъ поверхъ красныхъ и синихъ шерстяныхъ рубахъ, въ длинныхъ, съ безконечнымъ количествомъ сборокъ сапогахъ на высокихъ и острыхъ каблучкахъ. Завтра всему этому великолѣпію предстояло частью попасть за стойку кабаковъ, а частью быть разорваннымъ въ дружеской схваткѣ за гармонію, но сегодня пушкари сіяли. Каждый бережно несъ узелокъ съ пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращалъ вниманія, да и онъ съ неособенной любовью посматривалъ на своихъ «крестниковъ», смутно предчувствуя, сколько путешествій придется ему завтра совершить въ участокъ. Въ сущности, ему было завидно, что они свободны и идутъ туда, гдѣ будетъ свѣтло, шумно и радостно, а онъ торчи тутъ, какъ неприкаянный.

«Стой тутъ изъ-за васъ пьяницъ!» резюмировалъ онъ свои размышленія, и еще разъ плюнулъ,—сосало подъ ложечкой.

Улица опустѣла. Отзвонили къ обѣднѣ. Потомъ радостный переливчатый трезвонъ, такой веселый послѣ

заунывныхъ великопостныхъ колоколовъ, разнесъ по міру благостную вѣсть о Воскресеніи Христа. Баргамотъ снялъ шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамотъ повеселѣлъ, представляя себѣ столъ, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Онъ, не торопясь, со всѣми похристосуется. Разбудятъ и принесутъ Ванюшку, который первымъ дѣломъ потребуетъ крашенаго яичка, о которомъ цѣлую недѣлю велъ обстоятельныя бесѣды съ болѣе опытной сестренкой. Вотъ-то разинетъ онъ ротъ, когда отецъ преподнесетъ ему не линючее окрашенное фуксиномъ яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовалъ все тотъ же обязательный лавочникъ!

„Потѣшный мальчишка!“ ухмыльнулся Баргамотъ, чувствуя, какъ что-то въ родѣ родительской нѣжности поднимается со дна его души.

Но благодушіе Баргамота было нарушено самымъ подлымъ образомъ. За угломъ послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несетъ нелегкая?»—подумалъ Баргамотъ, заглянувъ за уголъ и всей душой оскорбился! Гараська! Самъ съ своей собственной пьяной особой,—его только недоставало! Гдѣ онъ поспѣлъ до свѣту наклюкаться, составляло его тайну, но что онъ наклюкался, было внѣ всякаго сомнѣнія. Его поведеніе, загадачное для всякаго посторонняго человѣка, для Баргамота, изучившаго душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру въ частности, было вполнѣ ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой онъ имѣлъ обыкновеніе шествовать, былъ притиснутъ къ забору. Упершись обѣими руками и сосредоточенно вопросительно вглядываясь въ стѣну, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы съ неожиданными препятствіями. Послѣ непродолжительнаго на-

пряженнаго размышленія, Гараська энергично отпихнулся отъ стѣны, допятился задомъ до средины улицы и, сдѣлавъ рѣшительный поворотъ, крупными шагами устремился въ пространство, оказавшееся вовсе не такимъ безконечнымъ, какъ о немъ говорятъ, и въ дѣйствительности ограниченное массой фонарей. Съ первымъ же изъ нихъ Гараська вступилъ въ самыя тѣсныя отношенія, заключивъ его въ дружескія и крѣпкія объятія.

— Фонарь. Тпру!—кратко констатировалъ Гараська совершившійся фактъ.—Вопреки обыкновенію, Гараська былъ настроенъ чрезвычайно добродушно. Вмѣсто того, чтобъ осыпать столбъ заслуженными ругательствами, Гараська обратился къ нему съ кроткими упреками носившими нѣсколько фамильярный оттѣнокъ.

— Стой, дурашка, куда ты?!—бормоталъ онъ, откачиваясь отъ столба и снова всей грудью припадая къ нему и чуть не сплющивая носа объ его холодную и сыроватую поверхность.—Вотъ, вотъ?...—Гараська, уже наполовину скользнувшій вдоль столба, успѣлъ удержаться и погрузился въ задумчивость.

Баргамотъ съ высоты своего роста, презрительно скосивъ губы, смотрѣлъ на Гараську. Никто ему такъ не досаждалъ, на Пушкарной, какъ этотъ пьянчужка. Такъ посмотришь,—въ чемъ душа держится, а скандалистъ первый на всей окраинѣ. Не человѣкъ, а язва. Пушкарь напьется, побуянитъ, переночуетъ въ участкѣ—и все это выходитъ у него по благородному, а Гараська все исподтишка, съ язвительностью. И билито его до полусмерти, и въ части впроголодь держали, а все не могли отучить отъ ругани, самой обидной и злоязычной. Станетъ подъ окнами какого-нибудь изъ наиболѣе почетныхъ лицъ на Пушкарной, и начнетъ костить, безъ всякой причины, здорово живешь. При-

казчики ловятъ Гараську и бьютъ, — толпа хохочетъ, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругалъ такъ фантастически - реально, что тотъ, не понимая даже всей соли Гараськиныхъ остротъ, чувствовалъ, что онъ обиженъ болѣе, чѣмъ если бы его выпороли.

Чѣмъ промышлялъ Гараська, оставалось для пушкарей одной изъ тайнъ, которыми было облечено все его существованіе. Трезвымъ его не видалъ никто, даже та нянька, которая въ дѣтствѣ ушибаетъ ребятъ, послѣ чего отъ нихъ слышится спиртной запахъ, — отъ Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жилъ, т.-е. кочевалъ, Гараська по огородамъ, по берегу, подъ кусточками. Зимой куда-то исчезалъ, съ первымъ дыханіемъ весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, гдѣ его не билъ только лѣнивый,—было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничѣмъ не могли. Предполагали, и не безъ основанія, что Гараська поворовываетъ, но поймать его не могли и били лишь на основаніи косвенныхъ уликъ.

На этотъ разъ Гараськѣ пришлось, видимо, преодолѣть нелегкій путь. Отрепья, дѣлавшія видъ, что они серьезно прикрываютъ его тощее тѣло, были всѣ въ грязи, еще не успѣвшей засохнуть. Физіономія Гараськи, съ большимъ отвислымъ краснымъ носомъ, безспорно, служившимъ одной изъ причинъ его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномѣрно распредѣленной растительностью, хранила на себѣ вещественные знаки вещественныхъ отношеній къ алкоголю и кулаку ближняго. На щекѣ у самаго глаза виднѣлась царапина, видимо, недавняго происхожденія.

Гараськѣ удалось, наконецъ, разстаться съ столбомъ, когда онъ замѣтилъ величественно безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

— Наше вамъ! Баргамоту Баргамотычу!—какъ ваше драгоцѣнное здоровье?—галантно онъ сдѣлалъ ручкой, но, пошатнувшись, на всякій случай уперся спиной въ столбъ.

— Куда идешь?—мрачно прогудѣлъ Баргамотъ.

— Наша дорога прямая...

— Воровать? А въ часть хочешь? Сейчасъ, подлеца, отправлю.

— Не можете.

Гараська хотѣлъ сдѣлать жестъ, выражающій удальство, но благоразумно удержался, плюнулъ и пошаркалъ на одномъ мѣстѣ ногой, дѣлая видъ, что растираетъ плевокъ.

— А вотъ въ участкѣ поговоришь? Маршъ!—Мощная длань Баргамота устремилась къ засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамотъ былъ, очевидно, уже не первымъ руководителемъ Гараськи на тернистомъ пути добродѣтели. Встряхнувъ слегка пьяницу и придавъ его тѣлу надлежащее направленіе и нѣкоторую устойчивость, Баргамотъ потащилъ его къ вышеуказанной имъ цѣли, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собой легонькую шкуну, потерпѣвщую аварію у самаго входа въ гавань. Онъ чувствовалъ себя глубоко обиженнымъ: вмѣсто заслуженнаго отдыха тащись съ этимъ пьянчужкой въ участокъ. Эхъ! У Баргамота чесались руки, но сознаніе того, что въ такой великій день какъ-будто неудобно пускать ихъ въ ходъ, сдерживало его. Гараська шагалъ бодро, совмѣщая удивительнымъ образомъ самоувѣренность и даже дерзость съ кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, къ которой онъ и началъ подходить сократовскимъ методомъ:

— А скажи, господинъ городовой, какой нынче у насъ день?

— Уже молчалъ бы!—презрительно отвѣтилъ Баргамотъ.—До свѣту нализался.

— А у Михаила Архангела звонили?

— Звонили. Тебѣ-то что?

— Христосъ значитъ воскресъ?

— Ну, воскресъ.

— Такъ позвольте...—Гараська, ведшій этотъ разговоръ въ пол—оборота къ Баргамоту, рѣшительно повернулся къ нему лицомъ. Баргамотъ, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустилъ изъ руки засаленный воротъ; Гараська, утративъ точку опоры, пошатнулся и упалъ, не успѣвъ показать Баргамоту предмета, только-что вынутаго имъ изъ кармана. Приподнявшись однимъ туловищемъ, опираясь на руки, Гараська посмотрѣлъ внизъ, — потомъ упалъ лицомъ на землю и завылъ, какъ бабы воютъ по покойникѣ.

Гараська воетъ! Баргамотъ изумился. Новую штуку, должно быть, выдумалъ—рѣшилъ онъ, но все же заинтересовался, что будетъ дальше. Дальше Гараська продолжалъ выть безъ словъ по-собачьи.

— Что ты, очумѣлъ, что-ли? — ткнулъ его ногой Баргамотъ. Воетъ. Баргамотъ въ раздумьи.

— Да чего тебя расхватываетъ?

— Яи-ч-ко...

— Ну?

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сѣлъ и поднялъ руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, къ которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамотъ, продолжая недоумѣвать, начинаетъ чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

— Я... по благородному... похристосоваться... яичко, а ты...—безсвязно бурлилъ Гараська, но Баргамотъ по-

нялъ. Вотъ къ чему, стало-быть, велъ Гараська: похристосоваться хотѣлъ, по христіанскому обычаю, яичкомъ, а онъ, Баргамотъ, его въ участокъ пожелалъ отправить. Можетъ, откуда онъ это яичко несъ, а теперь вонъ разбилъ его. И плачетъ. Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое онъ бережетъ для Ванюшки, разбилось, и какъ это ему, Баргамоту, было жаль·

— Экая оказія—моталъ головой Баргамотъ, глядя на валявшагося пьянчужку и чувствуя, что жалокъ ему этотъ человѣкъ, какъ братъ родной, кровно своимъ же братомъ обиженный.

— Похристосоваться хотѣлъ... Тоже душа живая,— бормоталъ городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себѣ ясный отчетъ въ положеніи дѣлъ и въ томъ сложномъ чувствѣ стыда и жалости, которое все болѣе угнетало его. А я тово... въ участокъ! Ишь ты!

Тяжело крякнувъ и стукнувъ своей „селедкой“ по камню, Баргамотъ присѣлъ на корточки около Гараськи.

— Ну... смущенно гудѣлъ онъ. — Можетъ, оно не разбилось?

— Да, не разбилось, ты и морду-то всю готовъ разбить. Иродъ!

— А ты чего же?

— Чего? — передразнилъ Гараська. — Къ нему по благородному, а онъ въ... въ участокъ. Можетъ, яичкото у меня послѣднее? Идолъ!

Баргамотъ пыхтѣлъ. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всѣмъ своимъ нескладнымъ нутромъ онъ ощущалъ не то жалость, не то совѣсть. Гдѣ-то, въ самыхъ отдаленныхъ нѣдрахъ его дюжаго тѣла, что-то назойливо сверлило и мучило.

— Да развѣ васъ можно не бить? — спросилъ Баргамотъ не то себя, не то Гараську.

— Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входилъ въ обычную колею. Въ его нѣсколько прояснѣвшемъ мозгу вырисовывалась цѣлая перспектива самыхъ соблазнительныхъ ругательствъ и обидныхъ прозвищъ, когда сосредоченно сопѣвшій Баргамотъ голосомъ, не оставлявшимъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ твердости принятаго имъ рѣшенія, заявилъ:

— Пойдемъ ко мнѣ разговляться.

— Такъ я къ тебѣ, пузастому чорту, и пошелъ!

— Пойдемъ, говорю!

Изумленію Гараськи не было границъ. Совершенно пассивно позволивъ себя поднять, онъ шелъ, ведомый подъ руку Баргамотомъ, шелъ—и куда же? не въ участокъ, а въ домъ къ самому Баргамоту, чтобы тамъ еще... разговляться! Въ головѣ Гараськи блеснула соблазнительная мысль,—навострить отъ Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснѣла отъ необычности положенія, зато лыжи находились въ самомъ дурномъ состояніи, какъ бы поклявшись вѣчно цѣпляться другъ за друга и не давать другъ другу ходу. Да и Баргамотъ былъ такъ чуденъ, что Гараськѣ, собственно говоря, и не хотѣлось уходить. Съ трудомъ ворочая языкомъ, пріискивая слова и путаясь, Баргамотъ то излагалъ ему инструкцію для городовыхъ, то снова возвращался къ основному вопросу о битьѣ и участкѣ, разрѣшая въ его смыслѣ положительномъ, но въ то же время и отрицательномъ.

— Вѣрно говорите, Иванъ Акиндинычъ, нельзя насъ не бить,—поддерживалъ Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: ужъ больно чуденъ Баргамотъ!

— Да нѣтъ, не то я говорю...—мямлилъ Баргамотъ, еще менѣе, очевидно, чѣмъ Гараська понимавшій, что городитъ его суконный языкъ...

Пришли, наконецъ, домой,—и Гараська уже пересталъ изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при видѣ необычайной пары, — но по растерянному лицу мужа догадалась, что противорѣчить не нужно, а по своему женскому мягкосердечію живо смекнула, что надо дѣлать.

Вотъ ошалѣвшій и притихшій Гараська сидитъ за убраннымъ столомъ. Ему такъ совѣстно, что хоть сквозь землю провалиться. Совѣстно своихъ отрепій, совѣстно своихъ грязныхъ рукъ, совѣстно всего себя, оборваннаго, пьянаго, сквернаго. Обжигаясь ѣстъ онъ дьявольски горячія, заплывшія жиромъ щи, проливаетъ на скатерть, и хотя хозяйка деликатно дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ этого, конфузится и больше проливаетъ. Такъ невыносимо дрожатъ эти заскорузлые пальцы съ большими грязными ногтями, которые впервые замѣтилъ у себя Гараська.

— Иванъ Акиндинычъ, а что же ты Ваняткѣ-то... сюрпризецъ?—спрашиваетъ Марья.

— Не надо, потомъ...—отвѣчаетъ торопливо Баргамотъ. Онъ тоже обжигается щами, дуетъ на ложку и солидно обтираетъ усы, — но сквозь эту солидность сквозитъ то же изумленіе, что и у Гараськи.

— Кушайте, кушайте,—потчуетъ Марья.—Герасимъ... какъ звать васъ по батюшкѣ?

— Андреичъ.

— Кушайте, Герасимъ Андреичъ.

Гараська старается проглотить, давится и, бросивъ ложку, падаетъ головой на столъ прямо на сальное пятно, только что имъ произведенное. Изъ груди его вырывается снова тотъ жалобный и грубый вой, который такъ смутилъ Баргамота. Дѣтишки, уже переставшія было обращать вниманіе на гостя, бросаютъ свои ложки и дискантомъ присоединяются къ его те-

нору. Баргамотъ съ растерянною и жалкою миной смотритъ на жену.

— Ну, чего вы, Герасимъ Андреичъ! Перестаньте,— успокаиваетъ та безпокойнаго гостя.

— По отчеству... Какъ родился, никто по отчеству... не называлъ...

ЗАЩИТА.

Исторія одного дня.

(1898)

По корридору суда прохаживался высокій, худощавый блондинъ, одѣтый во фракѣ. Звали его Андреемъ Павловичемъ Колосовымъ и онъ третій уже годъ состоялъ въ званіи помощника присяжнаго повѣреннаго. Передъ каждымъ крупнымъ дѣломъ Андрей Павловичъ сильно волновался, но на этотъ разъ его дурное состояніе переходило границы обычнаго. Причинъ на то было много. Главнѣйшей изъ нихъ были больные нервы. Послѣдній годъ они прямо-таки отказывались служить, и водяные души, принимаемые Колосовымъ, помогали очень мало. Нужно было бросить курить, но онъ не могъ рѣшиться на это, такъ сильна была привычка. И теперь ему захотѣлось покурить, хотя во рту у него уже образовался тотъ непріятный осадокъ, который такъ знакомъ всѣмъ курящимъ запоемъ. Колосовъ отправился въ докторскую комнату, оказавшуюся свободной, легъ на клеенчатый диванъ и закурилъ. Охъ, какъ онъ усталъ! Цѣлую недѣлю не вылѣзаетъ онъ изъ фрака. Да какое недѣлю! То у мировыхъ судей, то въ съѣздѣ, вчера цѣлый день до девяти часовъ вечера промаялся въ окружномъ судѣ по пустѣй-

шему гражданскому дѣлу. Товарищи завидуютъ, что онъ такъ много зарабатываетъ, ставятъ примѣромъ неутомимости, а куда все это идетъ? Три тысячи рублей въ годъ, которыя онъ съ такимъ трудомъ выколачиваетъ, плывутъ между пальцами. Жизнь все дорожаетъ, дѣти требуютъ на себя все больше и больше. Долги растутъ. Послѣ завтра срокъ за квартиру, нужно платить пятьдесятъ рублей, а у него въ наличности всего десять. Опять выворачиваться, значитъ. Жена...

При воспоминаніи о долгахъ и женѣ Колосовъ поморщился и вздохнулъ.

—Послушай, куда ты запропастился? Я тебя искалъ, искалъ!—влетѣлъ въ комнату товарищъ Колосова по сегодняшней защитѣ, Померанцевъ, тоже помощникъ присяжнаго повѣреннаго, успѣвшій пріобрѣсти репутацію талантливаго криминалиста. Красивый брюнетъ, подвижной, говорливый и жизнерадостный, но нѣсколько шумный и надоѣдливый, Померанцевъ былъ рѣдкимъ баловнемъ судьбы. Дома, въ богатой семьѣ, его боготворили, счастье сопутствовало ему во всѣхъ дѣлахъ—какъ по рельсамъ катился онъ къ славѣ и деньгамъ.

— Намъ нужно условиться относительно защиты—быстро говорилъ Померанцевъ.

— Отвяжись, Бога ради. Потомъ,—отвѣтилъ вздрогнувшій Колосовъ.

— Да какъ же потомъ?

Колосовъ устало махнулъ рукой, и Померанцевъ, передернувъ плечами, торопливо вышелъ.

Дѣло, по которому выступали Колосовъ и Померанцевъ, было по фабулѣ не сложно. На одной изъ окраинъ Москвы, тамъ, гдѣ кабакъ смѣняетъ закусочную, чайную и снова смѣняется кабакомъ, и гдѣ

ются подонки столичнаго населенія, произошло убійство. Какой-то заѣзжій молодецъ, по видимости приказчикъ или прасолъ, кутилъ ночь въ сопровожденіи двухъ оборванцевъ и гулящей дѣвки „Таньки — Бѣлоручки“, показывалъ кошель съ деньгами, а на другое утро былъ найденъ на огородахъ задушеннымъ и ограбленнымъ. Черезъ недѣлю „Танька“ и оборванцы были задержаны и сознались въ убійствѣ. Колосовъ долженъ былъ защищать Таньку—Бѣлоручку. Въ тюрьмѣ, куда онъ отправился на свиданіе съ обвиняемой, его встрѣтило нѣчто неожиданное. „Танька“ или Таня, какъ онъ началъ называть ее, была молоденькая, хорошенькая дѣвушка съ гладко-зачесанными русыми волосами, скромная и пугливая. Одиночное ли заключеніе смыло съ ея лица грязь позорнаго ремесла, или жестокія душевныя страданія одухотворили его, но ни въ чемъ не было видно того презрѣннаго и жалкаго созданія, о какихъ привыкъ слышать Андрей Павловичъ. Только голосъ, нѣсколько охрипшій и грубый, говорилъ о ночахъ разврата и пьянства.

Послѣ перваго же свиданія Колосовъ понялъ, что Танька ни душой, ни тѣломъ неповинна въ убійствѣ. Страхъ погубилъ ее. Страхъ существа, находящагося внизу общественной лѣстницы и придавленнаго всѣми, кто находится выше. Всякій былъ сильнѣе Тани и всякій обижалъ ее, былъ ли то ея любовникъ, драчливый и жестокій, или городовой, сіяющій всѣми своими значками и бляхами и однимъ своимъ юпитеровскимъ видомъ приводившій въ паническій ужасъ обладательницу желтаго билета. Изъ страстной и порывистой рѣчи Тани, когда ея глаза горѣли и худенькое тѣло вздрагивало отъ накопившейся ненависти къ гонителямъ, Колосовъ увидѣлъ, что Таня способна и на самозащиту. Такъ защищается заспанный звѣрекъ, запроки-

нувшійся на спину и яростно скалящій зубы на поднятую руку,—но въ самой этой напускной ярости болѣе ужаса и смертельной тоски, чѣмъ въ самомъ отчаянномъ воплѣ. Со слезами и сомнѣніемъ въ томъ, что кто-нибудь можетъ повѣрить ея словамъ, Таня разсказывала, какъ произошло убійство. Когда всѣ они вышли изъ послѣдняго кабака и проходили пустыремъ, Иванъ Горошкинъ, ея любовникъ, и Василій Хоботьевъ накинулись на незнакомца и стали душить его.

— Испугалась я, баринъ, до смерти. Закричала на нихъ: „что вы, душегубы, дѣлаете?“ Ванька на меня только цыкнулъ, а тотъ ужъ хрипѣть начинаетъ. Бросилась къ нимъ, а Ванька, злодѣй, какъ ударитъ меня ногой по животу. Молчи, говоритъ, а то тебѣ тоже будетъ. Пустилась я отъ нихъ бѣжать по огородамъ, сама не знаю, какъ у Марфушки до постели довалилась... Платокъ, какъ бѣжала, потеряла.

На другой день Таня упрекнула Ивана въ содѣянномъ, но тотъ двумя ударами кулака убѣдилъ ее въ непреложности совершившагося факта, а черезъ полтора часа Таня пѣла пѣсни, плакала и пила водку, купленную на награбленныя деньги.

Колосовъ еще раза два былъ у Тани, и послѣ каждаго посѣщенія предстоящая защита казалась ему все труднѣе. Ну, что онъ скажетъ на судѣ? Вѣдь надо разсказать все, что есть горькаго и несправедливаго на свѣтѣ, разсказать о вѣчной, неумолкающей борьбѣ за жизнь, о стонахъ побѣжденныхъ и побѣдителей, одной грудой валяющихся на кровавомъ полѣ... Но развѣ объ этихъ стонахъ можно разсказать тому, кто самъ ихъ не слышалъ и не слышитъ?

Вчера ночью (днемъ онъ былъ занятъ) Андрей Павловичъ готовился къ защитѣ. Сперва работа не клеилась, но послѣ нѣсколькихъ стакановъ крѣпкаго чаю

и десятка папиросъ разбросанныя мысли стали складываться въ систему. Все болѣе возбуждаясь, взвинчивая себя удачными выраженіями, красивыми фразами, Колосовъ, наконецъ, составилъ горячую, убѣдительную рѣчь, прежде всѣхъ убѣдившую его самого. На минуту въ немъ исчезъ страхъ, который какъ бы передался ему отъ Тани, и онъ легъ спать увѣренный въ себѣ и побѣдѣ. Но безсонница сдѣлала свое дѣло. Сегодня у него голова тяжела и пуста. Отдѣльныя фразы изъ рѣчи, которыя онъ набросалъ на бумагѣ, кажутся искусственными и слишкомъ громкими. Вся надежда на то, что нервы приподнимутся и въ нужную минуту онъ овладѣетъ собой.

Онъ сегодня уже видѣлся съ Таней и былъ непріятно пораженъ той одеревенѣлостью, которая сквозила въ ея голосѣ.

— Смотрите же, Таня, вы передайте все такъ, какъ и мнѣ говорили. Хорошо?

— Хорошо,—отвѣтила покорно Таня, но въ этой покорности звучалъ тотъ одному ему понятный страхъ, которымъ было проникнуто все ея существо.

Дѣло началось.

Когда отворилась дверь, ведущая изъ корридора за рѣшетку, за которой помѣщаются подсудимые, и они начали входить одинъ за другимъ, публика, наскучившая ожиданіемъ, всколыхнулась. Звякнули шпоры жандармовъ, блеснули ихъ обнаженные тесаки, и зрители поняли, что драма начинается. Пронесшійся по залу шорохъ и шопотъ показали, что происходитъ обмѣнъ впечатлѣній. Ординарная наружность Ивана Горошкина и Хоботьева вызвала нелестныя замѣчанія, зато Таня понравилась—настоящая героиня драмы.

Послѣ обычнаго допроса подсудимыхъ объ ихъ имени

и званіи Таня, на вопросъ предсѣдателя объ ея занятіи, отвѣтила:

— Проститутка.

И это слово, брошенное въ середину расфранченныхъ чистыхъ женщинъ, сытыхъ и довольныхъ мужчинъ, прозвучало, какъ похоронный колоколъ, какъ грозный упрекъ умершаго всѣмъ живымъ. Но ничья не опустилась голова, ничьи не потупились глаза. Еще болѣе жаднымъ любопытствомъ засвѣтились они—подсудимая такъ хорошо ведетъ свою роль!

Первымъ началъ объясненія Горошкинъ, представлявшій собою смуглаго, довольно красиваго мужчину съ самодовольными манерами признаннаго сутенера. Говорилъ онъ не торопясь, выбирая выраженія и имѣя такой видъ, какъ будто онъ хорошо сознаетъ свое превосходство надъ окружающими и стѣсняется особенно ярко обнаруживать его. По его словамъ выходило, что всѣ трое имѣли одинаковую долю въ совершеніи убійства. Онъ держалъ неизвѣстнаго за руки, Танька набросила ему петлю на шею, а Хоботьевъ душилъ. Хоботьевъ, во всѣхъ отношеніяхъ безличный субъектъ, повторилъ ту же исторію, расходясь съ Горошкинымъ лишь въ неважныхъ подробностяхъ относительно дѣлежа денегъ. Спокойный передъ ожидающей его каторгой, онъ не могъ примириться съ тѣмъ, что Ивану досталась львиная доля награбленнаго. Наступила очередь Тани.

Колосовъ со страхомъ ожидалъ ея словъ,—и послѣ первыхъ звуковъ ломающагося голоса понялъ, что дѣло плохо. Куда-то исчезли та искренность и простота, которыя такъ подкупали его и были, въ сущности, единственнымъ оружіемъ Тани. Путаясь въ ненужныхъ подробностяхъ и отступленіяхъ, оскорбляя слухъ вульгарностью и рѣзкостью выраженій, Таня слишкомъ за-

мѣтно старалась оправдываться и сваливать вину на другихъ, и чѣмъ больше старалась, тѣмъ худшее производила впечатлѣніе. „Лучше совсѣмъ бы ужъ молчала!“ со злобой на Таню подумалъ Колосовъ, мучительно улавливая каждую невѣрную нотку. Онъ не глядѣлъ на присяжныхъ и публику, но всѣмъ тѣломъ чувствовалъ, какъ растутъ непріязнь и недовѣріе.

— Если вы не виновны въ убійствѣ, то почему же вы сознавались въ немъ въ полиціи и у слѣдователя?— спросилъ предсѣдатель.

Таня замялась и потомъ отвѣтила, что въ полиціи ее били. Въ этомъ отвѣтѣ чувствовалась прямая и „наглая“ ложь. Да и дѣйствительно Таня ничего не говорила объ этомъ своему защитнику. Но чѣмъ инымъ, кромѣ битья, могла она объяснить всѣмъ этимъ важнымъ господамъ свой страхъ передъ приставомъ, который на нее только глазомъ повелъ, а ей Богъ знаетъ что почудилось! Развѣ этотъ баринъ съ золотыми пуговицами пойметъ, что можно бояться даже однихъ только свѣтлыхъ пуговицъ? На этотъ разъ не только баринъ, но и Колосовъ не понялъ Тани. Сжавъ со злостью зубы, онъ уткнулся въ пюпитръ, чтобы не видѣть недовѣрчивыхъ улыбокъ.

— А слѣдователь васъ тоже билъ?—съ легкой ироніей продолжалъ предсѣдатель. Въ заднихъ рядахъ публики пронесся подленькій смѣшокъ.

Таня молчала.

— А не судились ли вы за кражу портмонэ у пьянаго? Мировой судья приговорилъ васъ къ двумъ мѣсяцамъ тюремнаго заключенія?

Таня молчала. Къ чему она будетъ говорить? Жаль только, что она разсердила Андрея Павловича, не сумѣвши какъ слѣдуетъ разсказать.

Начался безконечный допросъ свидѣтелей. Передъ

все болѣе туманившимися глазами Колосова проходили вѣжливые, многорѣчивые и благообразные содержатели кабаковъ, заспанные и какъ будто чѣмъ-нибудь оглушенные прислуживающіе. Они загромождали свою рѣчь тысячью мелкихъ подробностей, и ихъ нельзя было заставить замолчать; изъ другихъ приходилось вытягивать каждое слово. Появился свидѣтель—симпатичный, чисто одѣтый мальчикъ, худенькій и застѣнчивый. Послѣ нѣсколькихъ ободрительныхъ словъ предсѣдатель спросилъ, что дѣлали Бѣлоручка и другіе, когда заходили къ его бабушкѣ въ хату.

— Калтошку чистили,—отвѣтилъ мальчикъ и, взглянувъ исподлобья на предсѣдателя, улыбнулся.

Улыбнулся судъ, улыбнулись присяжные, улыбнулась и тихо плакавшая Таня, и слезинки блеснули на ея глазахъ. Колосовъ замѣтилъ эту любовную улыбку матери, похоронившей своего ребенка, и подумалъ: „Ради одной этой улыбки нужно оправдать ее“. Часы шли за часами, и Андрей Павловичъ чувствовалъ себя все хуже и хуже. Передъ утомленными глазами его протягивались блестящія нити; слухъ съ трудомъ воспринималъ звуки; смыслъ рѣчей терялся для него, и разъ онъ вызвалъ уже замѣчаніе предсѣдателя по поводу вторично предложеннаго одного и того же вопроса. Апатія и скука затягивали его. Онъ пытался расшевелить себя, въ перерывахъ курилъ до головокруженія, выпилъ рюмку коньяку, но минутное возбужденіе смѣнялось полнымъ упадкомъ энергіи. „Боже, что со мной?“—приходила минутами мысль, и гдѣ-то ощущался страхъ, а по спинѣ поднимался холодокъ. Померанцевъ, смѣлый, бойкій, настойчивый, велъ слѣдствіе прекрасно: выматывалъ душу изъ свидѣтелей, вступалъ въ ожесточенныя схватки съ предсѣдателемъ и прокуроромъ и вызывалъ въ публикѣ одобрительные отзывы.

Рѣчи начались только въ одиннадцатомъ часу вечера. Прокуроръ, пожилой сутуловатый человѣкъ, съ умнымъ, но мало выразительнымъ лицомъ, тихой, спокойной и красивой рѣчью, былъ грозенъ и неумолимъ, какъ сама логика,—эта логика, лживѣе которой нѣтъ ничего на свѣтѣ, когда ею мѣряютъ человѣческую душу. Оставаясь на почвѣ фактовъ и только фактовъ, безъ трескучихъ фразъ и дѣланныхъ эффектовъ, прокуроръ петлю за петлей нанизывалъ на сѣть, опутавшую Таню. Безстрастно, эпически начертавъ картину среды, въ которой жили преступники, онъ приступилъ къ описанію самаго злодѣянія.

Колосову, нервно перебиравшему холодными руками свои замѣтки, казалось, что съ каждымъ словомъ обвинителя въ залѣ тухнетъ лампочка и становится темнѣе. Онъ чувствовалъ сзади себя притихшую Таню; ея глаза расширяются при каждомъ словѣ, которое, какъ тяжелый молотъ, гвоздитъ ея голову. Впервые со всей ужасающей ясностью и подавляющей силой Колосовъ понялъ, какая безмѣрно тяжелая лежитъ на немъ отвѣтственность. Сердце замирало у него, руки тряслись, а грозный голосъ твердилъ: „ты убійца! ты убійца!..“—Колосовъ боялся оглянуться назадъ: вдругъ онъ встрѣтитъ глаза Тани и прочтетъ въ нихъ мольбу о спасеніи и слѣпую вѣру въ него? Зачѣмъ онъ въ тюрьмѣ успокаивалъ ее и говорилъ о возможности оправданія?...

...Все болѣе чернѣетъ грозная туча обвиненія, нависшая надъ головой Тани. Съ тѣмъ же жестокимъ спокойствіемъ прокуроръ говоритъ о позорномъ прошломъ „Таньки-Бѣлоручки“, запятнавшей свои бѣлыя ручки въ неповинной крови. Вспоминаетъ о кражѣ, добавляя, что, быть можетъ, она была уже не первой...

Въ притихшемъ залѣ не хватаетъ воздуха. Колосовъ

задыхается. Онъ закрываетъ глаза и, какъ преступникъ передъ казнью, видитъ въ глубокой дали солнце, зеленые луга, голубое чистое небо. Какъ тихо и спокойно сейчасъ у него дома! Дѣти спятъ въ своихъ кроваткахъ. Хорошо бы пойти къ нимъ. Стать на колѣна и припасть головой, ища защиты, къ ихъ чистенькому тѣльцу. Бѣжать отъ этого ужаса! Бѣжать!... Бѣжать? Но вѣдь у нея тоже былъ ребенокъ? Только въ одномъ крикѣ, продолжительномъ, отчаянномъ, дикомъ, могъ выразить Колосовъ свое чувство. О, если бы у него былъ языкъ боговъ! Какая громовая, безумная рѣчь пронеслась бы надъ этой толпой! Растворились бы жестокія сердца, рыданія огласили бы залъ, свѣчи потухли бы отъ ужаса, и сами стѣны содрогнулись бы отъ жалости и горя! Какъ тяжело быть человѣкомъ, только человѣкомъ!..

Прокуроръ кончилъ свою рѣчь. Послѣ минутнаго перерыва, наполненнаго кашлемъ, сморканіемъ и шумомъ передвигаемыхъ ногъ, началъ говорить Померанцевъ. Его плавная, красивая рѣчь льется, какъ ручеекъ. Здоровый, мягко вибрирующій голосъ какъ бы разсѣеваетъ тьму. Вотъ послышался легкій смѣхъ — Померанцевъ вскользь бросилъ остроту по адресу прокурора. Колосовъ смотритъ на полное, красивое лицо товарища, слѣдитъ за его округленными жестами и вздыхаетъ: „Хорошо тебѣ; не знаешь ты горя и не понимаешь его!..“ Когда, наконецъ, Колосовъ началъ говорить, онъ не узналъ своего голоса: глухой, надтреснутый, непріятный ему самому. Присяжные, сперва насторожившіеся, послѣ первыхъ фразъ начали двигаться, смотрѣть на часы, позѣвывать. Фразы дѣланныя, неестественныя идутъ одна за другой, наводя скуку на утомленныхъ судей. Шаблонное, опротивѣвшее повтореніе сотенъ рѣчей, слышанныхъ ими. Пред-

сѣдатель перестаетъ слѣдить за рѣчью и о чемъ-то перешептывается съ членомъ суда. „Хоть бы кончить поскорѣе!“—думаетъ Колосовъ.

Присяжные засѣдатели отправились въ совѣщательную комнату. Какъ мучительно тянутся эти полчаса! Колосовъ старается избѣгать товарищей и разговоровъ, но одинъ, молодой, веселый, толстый и не понимающій, что можно говорить и чего нельзя, настигаетъ его:

— Что это вы, батенька, такъ плохо нынче? А мы нарочно пришли васъ послушать.

Колосовъ любезно улыбается, бормочетъ что-то, но тотъ, увидѣвъ Померанцева, устремляется къ нему, издалека крича:

— Здорово, Сергѣй Васильевичъ! Здорово!

Вотъ и звонокъ. Болтавшая, гулявшая и курившая публика толпой валитъ въ залъ, толкаясь въ дверяхъ. Изъ совѣщательной комнаты выходятъ гуськомъ присяжные засѣдатели и залъ замираетъ въ ожиданіи. Рты полураскрыты, глаза съ жаднымъ любопытствомъ устремлены на бумагу, которую спокойно беретъ предсѣдатель отъ старшины присяжныхъ, равнодушно прочитываетъ и подписываетъ. Колосовъ стоитъ въ дверяхъ и смотритъ, не отрываясь, на блѣдный профиль Тани.

Старшина читаетъ, съ трудомъ разбирая нечеткій почеркъ:

— Виновна ли крестьянка московской губерніи, бронницкаго уѣзда, Татьяна Никанорова Палашова, двадцати одного года, въ томъ, что въ ночь съ 8 на 9 декабря... съ цѣлью воспользоваться имуществомъ... въ сообществѣ съ другими лицами... удушила...

— Да, виновна.

Показалось ли это Колосову, или Таня дѣйствительно покачнулась? Или покачнулся онъ самъ?

Нужно ждать еще полчаса, пока судъ вынесетъ

приговоръ. Андрей Павловичъ не въ состояніи оставаться среди этой оживленной толпы и уходитъ въ дальніе, пустынные и слабо освѣщенные корридоры. Медленно ходитъ онъ взадъ и впередъ, и шаги его гулко раздаются подъ сводами. Вотъ со стороны зала слышится топотъ ногъ, шумъ, голоса—все кончилось. Колосовъ поспѣшно идетъ въ разрѣзъ толпѣ, слышитъ громкіе, какъ бы ликующіе возгласы „десять лѣтъ каторги“... и останавливается у дверей, изъ которыхъ выходятъ преступники. Когда Таня проходитъ мимо него, онъ беретъ ея безжизненно опущенную руку, наклоняется и говоритъ:

— Таня! Прости меня!

Таня поднимаетъ на него тусклые безъ выраженія глаза и молча проходитъ дальше.

Колосовъ и Померанцевъ живутъ по сосѣдству и поэтому ѣхали домой на одномъ извозчикѣ. Дорогой Померанцевъ очень много говорилъ о сегодняшнемъ дѣлѣ, жалѣлъ Таню и радовался снисхожденію, которое дано Хоботьеву. Колосовъ отвѣчалъ односложно и неохотно. Дома Колосовъ, не торопясь, раздѣлся, спросилъ, спитъ ли жена, и, проходя мимо дѣтской, машинально взялся за ручку двери, чтобы, по обыкновенію, зайти поцѣловать дѣтей, пораздумалъ и прошелъ прямо къ себѣ въ спальню.

ИЗЪ ЖИЗНИ ШТ.-КАП. КАБЛУКОВА.

(1898)

Черезъ запушенныя инеемъ и покрытыя алмазными елками стекла оконъ проникали утренніе лучи зимняго солнца и наполняли холоднымъ, но радостнымъ свѣтомъ двѣ большія, высокія и голыя комнаты, составлявшія вмѣстѣ съ кухней жилище штабсъ-капитана Николая Ивановича Каблукова и его денщика Кукушкина. Видимо, за ночь морозъ окрѣпчалъ, потому что на подоконникахъ у угловъ рамъ образовались ледяные наросты, и при дыханіи поднимался паръ въ холодномъ воздухѣ, за ночь очистившимся отъ запаха табаку.

— Кукушкинъ,—смѣлымъ баритономъ крикнулъ Николай Ивановичъ, прихлебывая изъ стакана горячій, крѣпкій чай. Стаканъ былъ вставленъ въ серебряный, почернѣвшій въ узорахъ подстаканникъ, вмѣстѣ съ серебряной ложечкой, составлявшій весь ассортиментъ имѣвшихся у капитана драгоцѣнныхъ вещей.—Кукушкинъ!

Слегка зацѣпившись въ дверяхъ, вошелъ денщикъ, за несообразность, по выраженію фельдфебеля, уволенный отъ строевой службы. Маленькая голова его съ большими лопастыми ушами уныло торчала на длин-

номъ и худомъ туловищѣ, охотно принимавшемъ всякое положеніе, кромѣ требуемаго.

— Экій ты, братецъ, михрютка,—кротко упрекнулъ капитанъ.—Нужно итти сразу, когда зовутъ.

— Такъ точно,—угрюмо пробурчалъ Кукушкинъ и скосилъ глаза.

— Экій ты дуракъ, братецъ. И чего ты морду-то воротишь? Пьянъ былъ?

— Намъ не на что пить.

Не желая портить настроенія, Николай Ивановичъ молча пожалъ плечами и велѣлъ подать водки и закуски и затопить печку.

— Это что?—показалъ капитанъ глазами на чайную чашку съ пестрымъ рисункомъ, очевидно, собственность Кукушкина, которую онъ подалъ вмѣстѣ съ графиномъ водки и сардинами.—Рюмка?—капитанъ повелъ глазами на землю.

— Такъ точно.

— Ну, и дуракъ. Возьми у хозяйки.

Пока денщикъ, сидя на корточкахъ, возился у печки и, обжигаясь, подтапливалъ березовой корой сырыя, на концахъ покрытыя снѣгомъ, дрова, Николай Ивановичъ всесторонне обдумалъ свои планы на завтрашній вечеръ. Наступающій праздникъ требовалъ отъ него чего-нибуть праздничнаго, и завтра, въ сочельникъ, капитанъ рѣшилъ устроить у себя пирушку, по количеству напитковъ, очевидно, не предназначенную для женскаго пола. Да женскій полъ давно уже и не входилъ въ расчеты капитана, такъ какъ полковыхъ дамъ, съ которыми ему приходилось рѣзаться въ стуколку, онъ за женщинъ не считалъ, а съ другими сталкиваться не приходилось. Капитанъ составилъ реестрикъ винъ и закусокъ и съ нѣкоторымъ чувствомъ неудовольствія передалъ его денщику, который вмѣ-

сто ожидаемаго одобренія отвѣчалъ, какъ попугай: „такъ точно“ и „слушаю“, но чѣмъ болѣе онъ „слушалъ“, тѣмъ разсѣяннѣе и мрачнѣе становилось выраженіе его глазъ; капитанъ сказалъ бы, что въ нихъ просвѣчиваетъ даже иронія, если бы не зналъ доподлинно, что Кукушкинъ глупъ и къ ироніи неспособенъ. Покупки было рублей на десять, но у капитана имѣлась только двадцати—пяти—рублевая бумажка, которую онъ и передалъ денщику. Не теряя все еще надежды оживить Кукушкина и вызвать въ немъ болѣе активное отношеніе къ дѣйствительности, Николай Ивановичъ поднесъ ему чашку водки, мотивируя свое предложеніе ссылкой на морозъ. Кукушкинъ, перекрестившись, выпилъ водку, но не крякнулъ и не сплюнулъ и не поблагодарилъ, какъ то слѣдовало по его установившимся привычкамъ, но лишь обтеръ губы съ такимъ ожесточеніемъ, какъ будто ему хотѣлось уничтожить всякій слѣдъ своей покорной уступчивости. Черезъ нѣсколько минутъ съ силой хлопнула кухонная дверь.

— Что это за муха его укусила?—подумалъ капитанъ.—Былъ малый, какъ малый, а теперь прямо ошалѣлый какой-то, третьяго дня сгрубилъ. Хозяйка жалуется. Ну, да чортъ съ нимъ. Буду лучше думать о томъ, какъ хорошо и весело пройдетъ завтра вечеръ.

Выпивъ еще двѣ рюмки водки, погулявъ по комнатѣ, заглянувъ въ замерзшее окно, съ подоконниковъ котораго уже начала стекать вода, Николай Ивановичъ взялъ маленькій ящикъ и присѣлъ на немъ у бурчавшей и шипѣвшей печки. Въ открытую дырку на него пахнуло жаромъ. Шипѣніе стихло, и желтые языки пламени, лѣниво нагибаясь, облизывали обуглившіяся полѣнья.

Прошло двадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ Николай Ивановичъ такимъ же образомъ, на ящикѣ, сидѣлъ у

печки. Тогда онъ только еще попалъ въ этотъ мерзкій городишко и въ эту несчастливую дивизію, гдѣ офицеры такъ живучи и движеніе впередъ такъ медленно. Тогда у него не было лысины и этого краснаго обрюзглаго лица. Другимъ языкомъ говорилъ тогда этотъ огонь, такимъ пріятнымъ жаромъ обдающій лицо. Тотъ языкъ былъ менѣе понятенъ, чѣмъ настоящій; глупый и смѣшной то былъ языкъ. Онъ говорилъ объ академіи, куда поѣдетъ учиться Николай Ивановичъ; онъ тихо и загадочно шепталъ о какой-то красивой и хорошей дѣвушкѣ, которая его полюбитъ; онъ рисовалъ живыя картины веселаго шумнаго бала, на которомъ стройный офицеръ съ затянутой таліей ловко отбиваетъ тактъ мазурки и ведетъ остроумную и интересную бесѣду. Танцы... Какая смѣшная вещь танцы!

Николай Ивановичъ оглядѣлъ свой округлившійся животъ и, вообразивъ себя танцующимъ и бесѣдующимъ съ барышней, улыбнулся.

— А развѣ теперь не хорошо? Ей-Богу хорошо!— возразилъ кому-то капитанъ и въ доказательство, что ему хорошо, выпилъ еще рюмку водки, но къ печкѣ присаживаться не сталъ. Ходить по комнатѣ оказалось разумнѣе. Мысли пришли обычныя, спокойныя, лѣнивыя—о томъ, что жидъ Абрамка поручику Ильину лакированные сапоги испортилъ; о томъ, сколько онъ будетъ получать денегъ, когда будетъ ротнымъ командиромъ, и что казначей хорошій человѣкъ, даромъ что полякъ.

Послѣдніе годы Николаю Ивановичу усиленно приходилось доказывать, что ему живется хорошо, такъ, какъ и нужно жить. Но доказательства принимались туго, пока капитанъ не обзавелся могучимъ союзникомъ—графиномъ. Когда съ утра онъ выпивалъ двѣ-три рюмки водки, все становилось яснымъ, понятнымъ

и простымъ. Не поражала своимъ убожествомъ грязная, пустая комната; не замѣчалось и того, что самъ онъ сталъ нечистоплотенъ и лѣнивъ: по недѣлямъ не мѣняетъ бѣлья, лѣнится чистить ногти, а когда и замѣчалось, то тутъ же опровергалось резоннымъ соображеніемъ: „вѣдь мнѣ за барышнями не ухаживать?“ Легче было и дѣло дѣлать спустя рукава; не такъ обидно казалось и то, что онъ въ пятьдесятъ лѣтъ штабсъ-капитанъ, тогда какъ иные товарищи его по выпуску уже полковники, а то и генералы. Переставало грызть безплодное сожалѣніе о томъ, что онъ четверть вѣка убилъ на безсмысленную шагистику, въ мелкой погонѣ за завтрашнимъ днемъ, растерялъ по дорогѣ по частямъ свою душу. Легкій, пріятный туманъ волновался передъ Николаемъ Ивановичемъ, застилая отъ глазъ все, что не есть четвертая рота хоронскаго резервнаго батальона съ ея жидомъ Абрамкой, преферансомъ по маленькой, приказами по полку и другими злободневными интересами.

Но было раза два въ году, что союзникъ капитана обращался въ его злѣйшаго врага. Съ мучительной яркостью и болью передъ нимъ вставало сознаніе ужасной безсмысленности его жизни,—и тогда Николай Ивановичъ пилъ запоемъ по двѣ недѣли, въ одномъ бѣльѣ просиживая дома съ одувшейся багровой физіономіей. Съ пьяными слезами онъ жаловался товарищамъ, что его загубили, а когда товарищи покидали одичавшаго, полубезумнаго отъ алкогольнаго яда человѣка, онъ ставилъ въ притолокѣ денщика и, съ послѣдними попытками сохранить свое достоинство, суровымъ голосомъ разсказывалъ ему, что онъ, капитанъ, человѣкъ хорошій, только не понятый. Когда и денщикъ уходилъ отъ сумасшедшаго „его благородія“, его благородіе, положивъ голову на столъ, плакалъ и

одинъ, не зная, о чемъ онъ плачетъ, но тѣмъ горше, тѣмъ искреннѣе и больнѣе. По минованіи запоя, капитанъ, совѣстившійся вспомнить и говорить о немъ, не могъ все же отдѣлаться отъ ряда смутныхъ, тяжелыхъ воспоминаній. Однимъ изъ нихъ, наименѣе тяжелымъ, было воспоминаніе о томъ, что Кукушкинъ въ чемъ-то помогалъ и сочувствовалъ капитану. Былъ ли онъ крѣпче на ногахъ другихъ денщиковъ и долѣе въ состояніи былъ впитывать въ себя капитанскія изліянія (летѣвшія на него иногда со стаканомъ или другою вещью, подвернувшейся Николаю Ивановичу подъ руку), или въ чемъ-нибудь иномъ проявлялъ свое заботливое къ нему отношеніе, капитанъ въ точности уяснить себѣ не могъ, но чувствовалъ къ Кукушкину благодарность. Ради нея онъ до сихъ поръ не прогонялъ Кукушкина и мирился съ его оффиціально признанной глупостью и совершенно отрицательнымъ значеніемъ въ капитанскомъ хозяйствѣ; чего Кукушкинъ не могъ разбить, то онъ портилъ другимъ, болѣе или менѣе остроумнымъ способомъ. Капитанскія приказанія онъ толковалъ такъ превратно, что даже другіе денщики смѣялись.

Выпивъ еще рюмочку, Николай Ивановичъ отправился пройтись по знакомымъ, передавъ ключъ и заботы о квартирѣ хозяйкѣ, жившей черезъ сѣни. Вернулся капитанъ поздно вечеромъ, но Кукушкина еще не было. Прошла ночь, а за нею слѣдующій день—Кукушкина все не было.

Заложивъ капитанскій реестрикъ за обшлагъ рукава, Кукушкинъ вышелъ и, охваченный крѣпкимъ морознымъ воздухомъ, невольно ускорилъ свой гусиный шагъ, за который удалили его изъ роты. На морозѣ особенно почувствовалась теплота выпитой водки,

но это не улучшило его настроенія. Послявъ значительное количество чертей толкнувшей его бабѣ, въ свою очередь, съ нѣкоторымъ уваженіемъ, сообщившей ему, что она такого длиннаго дьявола еще не видала, Кукушкинъ демонстративно прошелъ передъ самымъ носомъ разогнавшейся извозчичьей клячи, на укоризненное замѣчаніе возницы бросивъ ему въ слѣдъ:

— Эка носятъ тутъ васъ черти, гужеѣдовъ!

Все дальнѣйшее, встрѣчавшееся Кукушкину на пути, вызывало въ немъ протестъ и ѣдкія замѣчанія. Чѣмъ благообразнѣе, сытнѣе и по праздничному радостно-озабоченнѣе была встрѣчавшаяся физіономія, тѣмъ съ большею ненавистью смотрѣлъ онъ на нее. „Разлопался жирный песъ“, привѣтствовалъ онъ мысленно купца, сидѣвшаго въ широкихъ саняхъ и принимавшаго отъ мальчика кульки и кулечки. „Мало еще: ишь чрево-то разъѣлъ“. Соображеніе о томъ, что капитанъ послалъ его на другой край города, какъ будто тутъ не было хорошихъ магазиновъ, повергло Кукушкина въ состояніе полнаго человѣко-ненавистничества. „Съ жиру-то бѣсится“—„у Мотыкина селедокъ купи, слышишь?“ передразнилъ онъ капитана и съ отвращеніемъ плюнулъ.

— А вотъ ежели я въ кабакъ зайду? спросилъ Кукушкинъ кого-то, не дававшаго ему покоя и, презрительно ткнувъ ногой захватанную дверь трактирнаго заведенія, скрылся за нею.

— Вотъ и зашелъ, и выпилъ!—торжествующе подтвердилъ онъ, выходя изъ трактира и выпустивъ струю вонючаго воздуха. Какъ бы вызывая на бой весь міръ, Кукушкинъ гордо оглядѣлся и, увидѣвъ офицера, моментально вытянулся и отдалъ ему честь.

Съ крутой горы Кукушкину надо было спуститься

на мостъ. По ту сторону рѣки, за рядомъ дымовыхъ трубъ города, выпускавшихъ густые бѣлые и прямые столбы дыма, виднѣлось далекое бѣлое поле, сверкавшее на солнцѣ. Несмотря на даль, видна была дорога и на ней длинный, неподвижный обозъ. Направо синеватой дымкой поднимался лѣсъ. При видѣ чистаго снѣжнаго поля, бурный и горькій протестъ съ новой силой прилилъ къ безпокойной головѣ Кукушкина. „А ты тутъ сиди!"—со злобой, не то съ отчаяніемъ подумалъ онъ.

Недѣли три тому назадъ Кукушкинъ встрѣтился на базарѣ съ однимъ землякомъ, который, разсказавъ всѣ новости деревни Собакиной, погрузилъ его въ заколдованный міръ деревенскихъ интересовъ—заколдованный, потому что и родился, и жилъ Кукушкинъ, и взятъ былъ изъ деревни—все по щучьему велѣнью. Интересы эти были денщикомъ слегка призабыты, но даже легкое напоминаніе о нихъ заставило ходуномъ ходить мужицкую кровь, звавшую Кукушкина къ тяжелому мускульному труду—къ землѣ и сохѣ. Разсказалъ ему землякъ и о томъ, что у него, Кукушкина, родилась дочка, но что молодайка больна и ребенка кормятъ соской. Далѣе оказалось, что отецъ Кукушкина безъ работника, съ однимъ братомъ Иваномъ не можетъ сладить съ хозяйствомъ и совсѣмъ ослабѣлъ; хлѣба недохватъ и къ Рождеству придется занимать у Ильи Иваныча, ежели Илья Иванычъ дастъ. „И слезно просятъ любезнаго сына Петрушу прислать денегъ, потому смерть приходитъ". Кукушкинъ послалъ съ землякомъ цѣлковый, но впалъ въ отчаяніе. Передъ взбудораженнымъ воображеніемъ его носилась яркая картина горькой домашней нужды и чѣмъ ближе было къ празднику, тѣмъ ярче и нуднѣе становилась она. Непривычный къ разсужденіямъ мозгъ денщика тяжело шевелился, сосре-

доточивая всѣ свои силы на уразумѣніи факта, заключавшагося въ простомъ сопоставленіи: „дома безъ рукъ и безъ хлѣба сидятъ, а я у Мотыкина селедокъ голландскихъ покупаю“.

И теперь Кукушкинъ созерцалъ во всей наготѣ этотъ фактъ и, не умѣя разсуждать, отплевывался и всѣмъ своимъ существомъ безплодно протестовалъ—къ собственному удивленію и даже къ нѣкоторому огорченію, потому что это состояніе казалось ему непріятнымъ и напущеннымъ на него извнѣ, со стороны. Въ первое время онъ помышлялъ о бѣгствѣ, но бѣгство было такъ глупо, что Кукушкинъ цѣлыхъ два дня послѣ своихъ помысловъ съ особенной ироніей относился къ капитану и до срока потребовалъ у своего коллеги денщика Тютькина уплаты занятаго двугривеннаго, а когда тотъ, по соображеніямъ формальнаго свойства, не отдалъ, обругалъ его деревенщиной и подлецомъ.

Кукушкинъ подходилъ къ магазину, когда вмѣстѣ съ воспоминаніемъ о деньгахъ что-то извнутри съ силой толкнуло его, и самъ собою, какъ дергачъ изъ травы, выскочилъ вопросъ:

— А ежели я украду?

„Съ нами крестная сила!“—испугался Кукушкинъ и перекрестился. „Во всемъ роду воровъ не было, а я украду. Да расказнить его мало за это. И что человѣкъ придумаетъ“—неискренно улыбнулся Кукушкинъ и ускорилъ шаги. Но четвертная бумажка шевелилась въ карманѣ, а извнутри что-то толкало, толкало—и вытолкнуло отвѣтъ!

— Скажу, что потерялъ.

„Съ нами крестная сила!“ еще разъ воскликнулъ Кукушкинъ и съ испугомъ бросился въ первыя попавшіяся двери. То были двери трактирнаго заведенія.

Разгнѣванный и обезпокоенный Николай Ивановичъ оповѣстилъ собиравшихся къ нему офицеровъ, что денщикъ его съ деньгами пропалъ и, вернувшись домой, нашелъ пропавшаго денщика въ кухнѣ. Кукушкинъ сидѣлъ на лавкѣ и, покачиваясь и клюя носомъ, усердно ваксилъ капитанскій сапогъ.

— Ты гдѣ это, мерзавецъ, пропадалъ? Пьянъ?

— Ни-к-какъ нѣтъ, вашбродь.

— Какъ стелька... Да какъ же это ты смѣлъ напиться? а?

— На свои пилъ, не на ваши.

— Что? Грубіянить? А покупка гдѣ, а деньги гдѣ?

— Потерялъ. Вотъ какъ передъ Истиннымъ...

Капитанъ всплеснулъ руками и безмолвно устремилъ на денщика свои заплывшіе глазки. Если капитанъ въ этотъ моментъ напоминалъ собою Наполеона, то Кукушкинъ былъ Оксаномъ, безтрепетно сносившимъ взглядъ владыки міра. Осоловѣлые глаза денщика съ кроткимъ спокойствіемъ безвинно обиженнаго человѣка были устремлены на Николая Ивановича.

— Укралъ? Говори!

— Что-жъ, судите. Можетъ, и укралъ. Человѣка всегда обидѣть можно.—Кукушкинъ заплакалъ.

Капитанъ, чувствуя, что гнѣвъ душитъ его, сквозь зубы прошипѣлъ:

— Спать ложись, скотина. З-завтра въ полкъ.

— Воля ваша, но только я занапрасно гибну.

— М-молчать! Молчать, я говорю!

Топнувъ ногою, капитанъ вышелъ изъ кухни, а Кукушкинъ попытался снова приняться за сапогъ, но, не принявъ въ расчетъ силы инерціи, послѣдовалъ за движеніемъ щетки и повалился на лавку.

Гнѣвъ капитана достигъ высшаго напряженія и, вылившись въ безсвязныхъ восклицаніяхъ, вскорѣ уто-

нулъ въ нѣсколькихъ рюмкахъ водки и смѣнился чувствомъ жестокой обиды. „Праздника“ — и того не дадутъ, какъ слѣдуетъ встрѣтить“,—сокрушался капитанъ, пробѣгая взглядомъ по свѣтлой картинѣ несостоявшагося веселья. „Какъ было бы все это хорошо.“ Взглядъ капитана пристально остановился на картинѣ несостоявшагося веселья, и она какъ будто потускнѣла. „Но я докажу, что было бы хорошо!“ воскликнулъ капитанъ и началъ доказывать. Но странное дѣло: чѣмъ усиленнѣе капитанъ доказывалъ, чѣмъ чаще вливалъ онъ въ себя аргументъ изъ графина, тѣмъ сомнительнѣе становилась истина.

„Запой!“—съ ужасомъ подумалъ Николай Ивановичъ, но сейчасъ же ужасъ этотъ смѣнился радостью,—радостью человѣка, который бросается въ пропасть, чтобы избавиться отъ головокруженія. Какъ бы порвавъ сковывавшія ихъ цѣпи, передъ капитаномъ понеслись образы, мрачные, тяжелые и томительно грустные. Образъ милой дѣвушки, долженствовавшей составить счастье капитана, всплылъ передъ нимъ чистый, плѣнительный. „Голубушка!“ — съ нѣжностью сложилъ толстыя губы Николай Ивановичъ. А за нимъ поплыли, поплыли другіе. Капитанъ сидѣлъ на берегу этой рѣки, уносившей въ бездну его надежды и мечты о человѣческомъ счастьѣ, и все грустнѣе и жалче становилось ему себя. Водка убывала въ графинѣ, претворяясь въ чувства, которыя ей рѣдко суждено будить въ душѣ человѣческой: чувства жалости, любви и раскаянія. Никому онъ, капитанъ, не нуженъ; ничья не просвѣтлѣетъ душа при видѣ его расплывшейся пьяной и грязной физіономіи. Не обовьются вокругъ его толстой, апоплексической шеи мягкія дѣтскія ручки, не прижмется нѣжная щека къ его колючему подбородку. У другихъ хоть собака есть, которую они

любятъ и которая любитъ ихъ. По странному сцѣпленію мыслей капитану вспомнился Кукушкинъ. За что Кукушкинъ будетъ любить его? Кукушкинъ... а что такое собственно этотъ Кукушкинъ?

Грузно поднявшись со стула, капитанъ взялъ лампу и отправился въ кухню. Денщикъ спалъ, запрокинувъ голову. Въ лѣвой рукѣ онъ еще держалъ сапогъ, правая, тяжелая, свѣсилась съ лавки. Лицо было блѣдно и болѣзненно. Капитанъ первый разъ видѣлъ, какъ спитъ Кукушкинъ, и онъ показался ему другимъ человѣкомъ. Впервые онъ замѣтилъ на этомъ молодомъ безусомъ лицѣ морщинки, и это лицо съ морщинками, съ одной нѣсколько приподнятой бровью, казалось капитану незнакомымъ, но болѣе близкимъ, чѣмъ то, которое онъ видѣлъ ежедневно, потому что было лицомъ человѣка. Впечатлѣніе было настолько ново и странно, что Николай Ивановичъ на цыпочкахъ вышелъ изъ кухни и съ недоумѣвающимъ видомъ оглядѣлся вокругъ: ему показалось, что и комната не та.

Прошло полчаса. По комнатамъ пронесся зычный зовъ:

— Кукушкинъ!

Но въ сипломъ голосѣ звучали новыя, незнакомыя ноты.

Кукушкинъ зашевелился и послѣ новаго крика, осторожно стукая каблуками, вошелъ въ комнату. Потупивъ голову, онъ сталъ у порога и замеръ. И на этого жалкаго человѣка капитанъ могъ сердиться!

— Кукушкинъ!

Пальцы денщика слегка зашевелились и снова оцѣпенѣли.

— Укралъ деньги?

— Укралъ... не... не...

Голосъ Кукушкина дрогнулъ и пальцы зашевелились быстрѣе. Капитанъ молчалъ.

— Значитъ, теперь судить тебя будемъ?

— Ваше благородіе... Не дайте погибнуть.

Капитанъ быстро вскочилъ и, подойдя къ Кукушкину, взялъ его за плечи.

— Дуракъ ты, дуракъ. Да развѣ же я и вправду? Эхъ ты!—Капитанъ дернулъ Кукушкина и, повернувшись, подошелъ къ окошку, точно въ эту темную рождественскую ночь можно было хоть что-нибудь увидѣть на улицѣ. Но капитанъ увидѣлъ, и, поднеся руку къ лицу, смахнулъ что-то, что мѣшало видѣть яснѣе.

— Ваше благородіе...

Въ голосѣ денщика слышалось то самое, что такъ удачно смахнулъ капитанъ. Жирная спина капитана была неподвижна.

— Ну что? глухо донеслось отъ окна.

— Ваше благородіе... Накажите меня.

— Будетъ, будетъ глупости говорить.

Николай Ивановичъ обернулся, и Кукушкинъ, съ размаха бросившись на колѣни, хотѣлъ обнять его ноги. Съ выраженіемъ растерянности, страданія и умиленія на оплывшемъ красномъ лицѣ капитанъ приподнялъ его, неловко поцѣловалъ въ стоявшіе дыбомъ волосы и, отрывая руку отъ его губъ, шутливо и сконфуженно отпихнулъ отъ себя.

— Пошелъ, пошелъ!.. Что я попъ, что-ли. Налейка водки въ графинчикъ! Живо! Одна нога тамъ, а другая здѣсь.

О, ужасъ! Толстопузый графинъ, десять лѣтъ служившій капитану вѣрой и правдой, подхваченный ловкой рукой денщика, взлетѣлъ на воздухъ, показалъ свое пустое дно, нѣкоторое время повертѣлся около руки и, окончательно рѣшившись, упалъ и разлетѣлся на куски.

— Ничего, братъ. Тащи четверть!

... Длинна и темна рождественская ночь. Давно уже спитъ крещеный міръ. Только въ окнахъ капитанскаго домика еще свѣтится огонекъ, бросая желтоватый отблескъ на снѣгъ...

— Такъ ты говоришь, деньги домой отослалъ?

— Такъ точно, вашебродь. Я вамъ, вашебродь, зараб...

— Но, но! Что за глупости?

Капитанъ пыхнулъ папироской и, глубже усѣвшись въ разодранное кресло, блаженно закрылъ глаза. Кукушкинъ сидѣлъ на кончикѣ стула и, полуоткрывъ ротъ, ловилъ каждое движеніе капитана.

— Такъ ты, думаешь, они рады?

— Помилуйте, вашбродь, да это я, ужъ это...

— Да, да.

... Длинна и темна зимняя ночь, но и она уступаетъ передъ силою всепобѣждающаго свѣта... Бѣлѣетъ востокъ...

Въ капитанскомъ домикѣ укладываются спать. Кукушкинъ стягиваетъ съ капитана сапоги, и увлекаемый усердіемъ, тащитъ съ кровати и капитана. Капитанъ упирается и побѣждаетъ усердіе денщика. Нѣжно прижимая къ себѣ сапоги, конфузливо смотрящіе на свѣтъ продырявленной подошвой, Кукушкинъ на цыпочкахъ выходитъ.

— Постой... Такъ ты говоришь, дочь?

— Такъ точно, вашбродь. Авдотья.

— Ну, иди, иди.

Удивительно, что горькія мысли, предзнаменовавшія начало запоя, на этотъ разъ солгали; ни на слѣдующій, ни на другіе дни запой не являлся.

МОЛОДЕЖЬ.

Ученикъ восьмого класса Шарыгинъ далъ пощечину своему товарищу Аврамову и чувствовалъ себя правымъ и оттого радостнымъ и гордымъ. Аврамовъ получилъ пощечину и былъ въ отчаяніи, смягчавшемся лишь сознаніемъ, что онъ, какъ и многіе другіе въ жизни, пострадалъ за правду.

Дѣло было такъ. На классной стѣнѣ съ начала учебнаго года висѣло въ черной рамкѣ росписаніе уроковъ. Его не замѣчали до тѣхъ поръ, пока Селедка, какъ звали надзирателя, подойдя однажды къ стѣнѣ, не обратилъ вниманія класса на то, что листъ съ росписаніемъ исчезъ и рамка пуста. Очевидно, это была ребяческая шалость, на которую солидная часть класса, обладавшая растительностью на лицахъ и убѣжденіями, отвѣчала добродушно-снисходительной улыбкой,— той улыбкой, которая появлялась у нихъ, когда Окуньковъ ни съ того, ни сего становился на руки, поднималъ ноги и въ такомъ видѣ обходилъ комнату. Хотя всѣ считали себя взрослыми, но никто не былъ увѣренъ, что въ слѣдующую минуту и ему не вздумается прогуляться на рукахъ. Селедка, кипятившійся изъза такихъ пустяковъ, какъ исчезнувшее росписаніе, вызывалъ къ себѣ юмористическое отношеніе. Былъ

вставленъ новый листъ—но на другой день рамка была опять пуста. Это становилось уже глупымъ, и потому когда Селедка въ безмолвномъ гнѣвѣ растопырилъ длинныя руки передъ стѣнкой, къ нему обратились съ серьезнымъ предположеніемъ, что росписаніе стащили, вѣроятно, первоклассники. На третій день, въ рамкѣ вмѣсто росписанія былъ вставленъ листъ, на которомъ выдѣлялся тщательно оттушеванный кукишъ. На предложеніе сознаться, классъ, не менѣе начальства удивленный появленіемъ рисунка, отвѣтилъ недоумѣвающимъ молчаніемъ. Было произведено слѣдствіе, но оно не привело ни къ чему: хотя въ классѣ художниковъ было мало, но кукишъ умѣли рисовать всѣ. Послѣднимъ созерцалъ рисунокъ сторожъ Семенъ, вынимавшій его изъ рамки; и тому показалось что-то оскорбительное въ кукишѣ, относившемся какъ будто прямо къ нему, къ Семену. Будучи по природѣ толстъ, добръ и глупъ, Семенъ впервые сталъ на сторону начальства и посовѣтовалъ классу сознаться, но былъ посланъ къ чорту. Наступилъ четвертый день—и еще болѣе изящный, крупный и насмѣшливый кукишъ снова пятналъ стѣну.

Рѣчь инспектора у класса успѣха не имѣла. Горячій и вспыльчивый чехъ, говорить онъ начиналъ спокойно, но послѣ двухъ фразъ наливался кровью и, какъ ошпаренный, принимался выкрикивать фальцетомъ бранныя слова:

— Мальчишки!.. Молокососы!..

Директоръ произнесъ суховатую, но убѣдительную рѣчь. Онъ разъяснилъ притихшимъ ученикамъ безцѣльность подобной дѣтской шалости, которая, однако, перешла уже границы. Шарыгинъ, въ критическія минуты говорившій отъ имени класса съ начальствомъ, всталъ и отвѣтилъ директору:

Мы всѣ вполнѣ согласны съ вами, Михаилъ Ивановичъ, и уже толковали объ этомъ. Но только никто среди насъ этого не дѣлалъ, и всѣ удивлены.

Директоръ недовѣрчиво пожалъ плечами и сказалъ, что если виновные сознаются, они наказанію подвергнуты не будутъ. Въ противномъ же случаѣ, онъ, директоръ, поставитъ за эту четверть тройку изъ поведенія всему классу и, что важнѣе всего, не освободитъ отъ платы за право ученія всѣхъ тѣхъ, кто въ первое полугодіе былъ освобожденъ. Ученики должны знать, что онъ свое слово держать умѣетъ.

— Но если же никто не хочетъ сознаваться!

Михаилъ Ивановичъ замѣтилъ, что въ этомъ случаѣ классъ долженъ найти виновнаго. Это не будетъ нарушеніемъ товарищескихъ отношеній, такъ какъ, не желая сознаться изъ упорства или ложнаго самолюбія, виновный подводитъ другихъ подъ очень строгое наказаніе и ео ipso самъ исторгаетъ себя изъ товарищеской среды.

Директоръ ушелъ, и классъ занялся бурнымъ обсужденіемъ вопроса, въ которомъ начальствомъ была открыта новая сторона. Изъ-за того, что какой-то оселъ, устроившій всю эту дурацкую шутку, не хочетъ сказать двухъ словъ, нѣсколько бѣдняковъ должны вылетѣть изъ гимназіи! На большой перемѣнѣ директоръ былъ вызванъ изъ кабинета Шарыгинымъ и двумя другими воспитанниками. Директоръ вышелъ въ корридоръ съ папиросой въ зубахъ; у него былъ важный посѣтитель, и онъ торопился. Шарыгинъ отъ имени класса заявилъ, что виновныхъ они точно указать не могутъ, но подозрѣваютъ троихъ: Аврамова, Валича и Основскаго. Классъ полагаетъ, что этимъ заявленіемъ онъ снимаетъ наказаніе съ остальныхъ.

Быстро, но внимательно взглянувъ на Шарыгина,

Михаилъ Ивановичъ похвалилъ его и сказалъ, что о заявленіи класса онъ подумаетъ. Похвала директора была пріятна Шарыгину, хотя раньше онъ гордился тѣмъ, что начальство считаетъ его вреднымъ для класса элементомъ.

Когда Шарыгинъ подходилъ къ классу, навстрѣчу ему выбѣжалъ Рождественскій. Во время дебатовъ онъ суетился и кричалъ больше всѣхъ и всѣмъ надоѣдалъ.

— А Аврамовъ тебя подлецомъ назвалъ!—съ поспѣшностью сообщилъ онъ, радуясь продолженію суматохи и безпорядковъ.

Аврамовъ стоялъ, прислонившись къ печкѣ, блѣдный, какъ сама печь, и презрительно, поверхъ головъ, смотрѣлъ въ сторону.

— Аврамовъ! Ты назвалъ меня подлецомъ?

— Назвалъ.

— Прошу тебя извиниться.

Аврамовъ молчалъ. Классъ съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за происходящимъ.

— Ну?

Тутъ вошелъ батюшка (былъ его урокъ), и всѣ неохотно разошлись по мѣстамъ. Минуты тянулись страшно медленно. Какъ будто время не хотѣло двигаться съ мѣста, предвидя то нехорошее, что должно сейчасъ произойти. Шарыгинъ, сидѣвшій на послѣдней партѣ, раскрылъ передъ собою какой-то романъ и дѣлалъ видъ, что читаетъ, но изрѣдка смотрѣлъ впередъ, съ новымъ для него чувствомъ любопытства разсматривая согнутую спину и опущенную надъ книгой голову Аврамова. Волосы у Аврамова были черные, прямые, и пальцы руки, на которую онъ опирался, рѣзко бѣлѣли. Думаетъ ли онъ сейчасъ, что черезъ нѣсколько минутъ на его щеку обрушится ударъ, отъ котораго

щекѣ будетъ больно, и она покраснѣетъ? Какая это боль: рѣзкая, жгучая или тупая? Сердце у Шарыгина начинаетъ тяжело и медленно колотиться, и ему смертельно хочется, чтобы ничего этого не было: ни класса, ни Аврамова, ни необходимости ударить его. Но онъ долженъ ударить. Онъ чувствуетъ себя правымъ. Товарищи перестанутъ уважать его, если онъ оставитъ незаслуженное оскорбленіе безнаказаннымъ. Шарыгинъ перебираетъ всѣ рѣчи, свои и чужія, которыя сегодня говорились въ классѣ, и ему все яснѣе становится, какъ незаслуженно, несправедливо Аврамовъ оскорбилъ его. Чувство злобы къ этой черной головѣ и бѣлымъ пальцамъ поднимается и растетъ. Шарыгину немного страшно, потому, что Аврамовъ—сильный и, конечно, отвѣтитъ ударомъ, но онъ долженъ ударить, и ударитъ. Рѣзкій продолжительный звонокъ по корридорамъ. Батюшка медленно идетъ къ двери. За нимъ, разминая усталые члены, идутъ ученики, когда нервный, до странности громкій голосъ Шарыгина останавливаетъ ихъ.

— Господа! Одну минуту!

Нѣкоторые изъ господъ, забывшіе, что было на перемѣнѣ, оборачиваются и съ удивленіемъ смотрятъ на Шарыгина. Что это у него такая дикая физіономія? Шарыгинъ подходитъ къ Аврамову.

— Такъ ты не хочешь извиниться?

Ахъ, да!.. Непріятная дрожь пробѣгаетъ по спинамъ, и лица блѣднѣютъ. Всѣмъ хочется отвернуться, но никто не имѣетъ силъ сдѣлать этого, и всѣ, моргая учащенно глазами, смотрятъ на безмолвную группу, думая лишь о томъ, чтобы это поскорѣе кончилось. „Философу“ Мартову хочется толкнуть Аврамова, чтобы онъ извинился. Наклоняясь впередъ, Мартовъ глазами старается выжать необходимый отвѣтъ.

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ Аврамовъ.—Ты...

Шарыгинъ не сознаетъ, какъ онъ поднимаетъ руку и бьетъ, и не чувствуетъ силы удара. Онъ видитъ только, какъ пошатнулся Аврамовъ. Поднявъ лѣвую руку для защиты лица, Шарыгинъ бросаетъ взглядъ въ сторону и замѣчаетъ курносое и обыкновенно смѣшное, а теперь побѣлѣвшее и страдальческое лицо философа Мартова. „А онъ—то чего?“ думаетъ Шарыгинъ. Его возвращаетъ къ сознанію дѣйствительности прерывающійся голосъ, въ которомъ слышится и кроткій упрекъ, и жгучее страданіе. Бѣлые пальцы поднятыхъ рукъ скрываютъ лицо и не даютъ понять, что говоритъ Аврамовъ.

— Богъ... тебя Богъ...

Шарыгинъ презрительно передергиваетъ плечами и отходитъ, засунувъ руки въ карманы.

Солнце ослѣпительно сіяло, когда Шарыгинъ возвращался домой. На плохо очищенныхъ тротуарахъ провинціальнаго городка стояли лужи растопленнаго снѣга, отражая въ себѣ фонарные столбы и подъ ними голубую бездну безоблачнаго неба. Весна быстро приближалась, и острый, свѣжій воздухъ, пахнущій талымъ снѣгомъ и далекимъ полемъ, очищалъ легкія отъ классной пыли. Какимъ темнымъ и душнымъ казался этотъ классъ! Душнымъ и тяжелымъ сномъ казалось и то, что часъ тому назадъ произошло въ классѣ, и что не могло бы и произойти здѣсь, гдѣ такъ радостно сіяетъ солнце и задорно-весело чирикаютъ воробьи, ополоумѣвшіе отъ весенняго воздуха. Но мысль невольно возвращалась назадъ, и чувство брезгливой жалости къ Аврамову омрачало свѣтлое настроеніе Шарыгина. Можно ли быть такимъ трусомъ, какъ этотъ несчастный Аврамовъ! Не онъ одинъ, а и весь классъ увлекался грандіозно-величавымъ ученіемъ о непроти-

вленіи злу, но примѣнять это ученіе въ жизни можетъ лишь дряблая натура, неспособная къ протесту. Всѣми силами отстаивай каждую свою мысль, свое правое дѣло. Зубами, ногтями борись за него. Быть же битымъ и молчать сумѣетъ и мерзавецъ.

Шарыгинъ чувствуетъ, что у него, какъ у новаго Ильи Муромца, сила переливается по всему тѣлу. Такъ и бросился бы въ рукопашную съ этимъ пока еще смутно сознаваемымъ зломъ, и бился бы съ нимъ стиснувъ зубы и сжавъ кулаки, бился бы до послѣдняго издыханія. Ахъ, поскорѣе бы кончить эту гимназію! А пока... пока только особенно твердая поступь, да болѣе обыкновеннаго выдвинутая впередъ грудь показывали, что это идетъ человѣкъ, побѣдоносно отстоявшій свое право на званіе честнаго человѣка.

Солнце, такъ много видѣвшее на своемъ вѣку, съ любовной лаской согрѣвало молодую голову, надъ которой, невѣдомо для нея, уже висѣло первое серьезное горе.

Оно началось въ тотъ же вечеръ.

Первый, кому Шарыгинъ разсказалъ о происшедшемъ случаѣ, была Александра Николаевна, гимназистка восьмого класса, которую онъ любилъ и считалъ умной и „развитой“. Впрочемъ умной она казалась ему, пока соглашалась и не спорила. Споря, она такъ легко разставалась съ логикой, становилась такъ пристрастна и нелѣпо упряма, что Шарыгинъ начиналъ удивляться, та ли это женщина, при поддержкѣ которой онъ намѣревался „бороться съ рутиной жизни“. Другимъ она нравилась именно во время спора, но Шарыгинъ не понималъ ихъ вкуса. Кромѣ того, она обладала непріятной способностью подмѣчать то, что желательно было бы не обнаруживать.

— Напрасно ты гордишься,—отвѣтила Александра Николаевна.—Ты поступилъ подло.

Онъ гордится! Что за нелѣпость! Онъ просто исполнилъ свой долгъ честнаго, именно честнаго человѣка. Думая, что Александра Николаевна не поняла, онъ вновь подробно остановился на тѣхъ фактахъ, которые неопровержимо устанавливали его правоту въ этой „непріятной“ исторіи. Весь классъ уговаривалъ Аврамова и другихъ сознаться, выставляя на видъ, что иначе изъ-за глупой шутки понесутъ наказаніе неповинные. Тройка поведенія— ерунда, но въ классѣ есть двое учащихся на казенный счетъ, которые должны будутъ уйти изъ гимназіи. Отсюда Шурочка должна видѣть, что онъ лично, человѣкъ состоятельный, въ дѣлѣ не заинтересованъ.

— Пустяки. Директоръ просто вралъ, какъ іезуитъ, а вы ему повѣрили, какъ дураки. И шутка вовсе не такъ глупа. Этотъ кукишъ мнѣ очень нравится,—рѣшила безапелляціонно Шурочка, не подозрѣвая, какой она дѣлаетъ скачекъ въ сторону съ строго логическаго пути, по которому шествовалъ Шарыгинъ. Выразивъ нетерпѣніе и едва за кончикъ хвоста успѣвъ схватить ускользавшую мысль, онъ началъ развивать дальнѣйшія положенія. Весь классъ рѣшилъ сообщить...

— То-есть донести,—поправила Шурочка.

... Сообщить, что подозрѣваетъ такихъ-то. Понимаетъ ли Шурочка, что рѣшилъ именно классъ, а онъ былъ уполномоченнымъ, передававшимъ рѣшеніе класса?

Оказалось, что Шурочка этого не понимаетъ. Шурочка полагаетъ, что уполномоченный долженъ передавать только хорошія рѣшенія, а не дурныя.

Это уже былъ такой скачекъ въ сторону, что Шарыгинъ не успѣлъ схватить ускользнувшую мысль и казался вовлеченнымъ въ дебри ненужнаго спора о правахъ и обязанностяхъ уполномоченныхъ. Споръ

былъ бы безконечнымъ, если бы Шарыгинъ не воспользовался пріемомъ почтеннаго противника и, махнувъ рукой, не перескочилъ на ту мысль, которая была нужна ему. Разъ онъ былъ простымъ выполнителемъ воли класса, почему именно онъ подлецъ, а не Потанинъ и не весь классъ?

— Да и всѣ подлецы,—рѣшила, не задумываясь, Александра Николаевна.

Шарыгинъ сердито разсмѣялся.

— Ну, а почему же онъ именно меня назвалъ подлецомъ?

— Вѣроятно, ты больше всѣхъ настаивалъ, чтобы итти къ директору. Во всякомъ случаѣ, это фискальство, гадость!

Логика полетѣла къ чорту. Шарыгинъ потерялъ подъ собою почву и безпорядочно началъ выдвигать тѣ и другія орудія, повторяясь, путаясь, злясь на себя, на Шурочку, на міръ, создающій Шурочекъ. И онъ объяснялъ и доказывалъ до тѣхъ поръ, пока самъ не пересталъ понимать, кто онъ, что онъ и чего ему нужно.

— Да это не споръ, а какой-то танецъ дикихъ!—съ отчаяніемъ воскликнулъ онъ.

Шурочка разсмѣялась и спросила:

— А каковъ онъ собой—этотъ Аврамовъ?

— Прикажите познакомить?

— Это глупо—сердиться изъ-за пустяковъ.

— Пустяки! Назвать человѣка подлецомъ и говорить: „Пустяки!“

Шарыгинъ сердито отдернулъ свою руку и съ ненавистью взглянулъ на раскраснѣвшееся на морозѣ хорошенькое личико. Какъ приличествуетъ гимназисту и гимназисткѣ, они видѣлись на улицѣ тайно отъ родителей, хотя никто не мѣшалъ имъ видѣться явно.

— Ну, будетъ, будетъ! Вашу руку, маркизъ Поза!— Шурочка взяла руку Шарыгина, согнула ее кренделемъ и, вложивъ свою ручку, тронулась въ путь. Шарыгинъ подергалъ руку, но ее держали крѣпко. Пришлось подчиниться. Такъ вотъ всегда бываетъ съ этими женщинами!

Вернувшись домой, Шарыгинъ пошелъ къ отцу въ кабинетъ и, закуривъ папироску, разсказалъ ему, подробно останавливаясь на мотивахъ, всю исторію. Къ его удивленію и отецъ замѣтилъ, что здѣсь припахиваетъ фискальствомъ. Страдая отъ непониманія, Петръ повторилъ свои доводы, стараясь обосновать ихъ теоретически. Онъ говорилъ, что когда одинъ предастъ всѣхъ, это дурно, но когда всѣ предаютъ одного, это означаетъ торжество принципа большинства.

— Такъ-то оно такъ, а все-таки какъ-то... Да ты не волнуйся. Все это пустяки, а вы завтра же помиритесь съ этимъ, какъ его...

И этотъ говоритъ пустяки!

Какъ они всѣ не могутъ понять, что это не пустяки, что онъ страдаетъ, что онъ готовъ убить себя, такъ ему больно. Но онъ не поддастся имъ! Онъ еще докажетъ имъ, какъ глубоко всѣ они ошибаются. За нимъ стоитъ еще весь классъ! Шарыгинъ ложится спать, останавливаясь на тѣхъ мысляхъ, которыя онъ еще не успѣлъ сказать и скажетъ завтра. Что-то мучительное, однако, сосетъ его сердце. „Но развѣ поступать честно всегда пріятно?“—успокоиваетъ онъ себя. „Есть честность ума и честность инстинкта, вотъ какъ у папы и у... этой женщины. Конечно, непріятно, когда идешь противъ инстинкта, но развѣ инстинктъ не лжетъ?“ Придумано было красиво, и Петръ на минуту успокоился, но вспомнивъ, какъ его похвалилъ сегодня директоръ, почувствовалъ, что лицо его и шею охва-

тило жаромъ. Краска стыда залила его щеки. Безсознательнымъ движеніемъ Шарыгинъ натянулъ на голову одѣяло, какъ будто въ этой пустой и темной комнатѣ кто-нибудь могъ видѣть его.

Прошло три дня. Начальство не сочло почему-то нужнымъ придавать значеніе коллективному заявленію класса и „заподозрѣнные“ беззаботно разгуливали по корридору. По безмолвному соглашенію классъ ни словомъ не вспомнилъ о происшедшей исторіи и съ особенной предупредительностью относился къ Аврамову. Посторонній наблюдатель едва-ли бы замѣтилъ, что въ классѣ что-то случилось. Но Шарыгинъ чувствовалъ это. Двое заподозрѣнныхъ, охотно говорившіе со всѣми своими обвинителями, не замѣчали Шарыгина и не отвѣчали на его попытки вступить въ примирительную бесѣду. Остальные съ виду держались попрежнему, но одна мелочь глубоко кольнула Шарыгина. Прежде, каждую почти перемѣну, на Камчаткѣ, гдѣ сидѣлъ Шарыгинъ, собиралась кучка товарищей и вступала въ споры самаго разнообразнаго содержанія, начиная Писаревымъ и кончая теоріями мірозданія. Теперь же никто не приходилъ, и Шарыгинъ, любившій говорить и слушать себя и видѣть, какъ внимательно слушаютъ его другіе, остался одинъ. Философъ Мартовъ съ выраженіемъ какой-то глупой боязни сторонился отъ него, точно драка составляла постоянное свойство шарыгинскаго характера. Однажды Шарыгинъ поймалъ на себѣ взглядъ преданнаго ему Преображенскаго, и въ этомъ взглядѣ сквозило не восхищеніе, къ которому онъ привыкъ, а, противно сказать... сожалѣніе.

— Мерзавцы!—думалъ Шарыгинъ, включая въ это понятіе весь классъ и всѣхъ, кто находился за нимъ. Ему было нестерпимо больно и обидно, что въ преда-

ельствѣ виноваты всѣ, а наказаніе несетъ онъ динъ.

— За что мерзавцы? со злостью спрашивалъ Шарыинъ, чувствуя, что даже Преображенскій, который ольше всего суетился и кричалъ въ пользу доноса, еперь презираетъ его. Шарыгинъ вызывающе смотѣлъ на товарищей, говорилъ рѣзкости и толкалъ аподозрѣнныхъ, не вызывая отпора и лишь возбукдая недоумѣніе, такъ какъ большинство и сами не заѣчали, какъ они перемѣнились къ нему. Однажды нъ громко заговорилъ о томъ, что странно, почему иректоръ до сихъ поръ не принимаетъ никакихъ ѣръ, но всѣ разошлись, притворяясь, что не слышатъ, а Преображенскій, котораго онъ прижалъ къ стѣнкѣ, согласился съ нимъ, но имѣлъ такой жалкій видъ, что Шарыгинъ отпустилъ его.

— Экія все дряни!—крикнулъ онъ, но отвѣта не получилъ. Шарыгину хотѣлось, чтобы кто-нибудь поговорилъ съ нимъ, убѣдилъ его, что онъ былъ неправъ, даже побилъ его, но только не молчалъ.

Учителя, казалось Шарыгину, тоже косились на него. Бочкинъ, преподаватель исторіи, рѣзкій и независимый господинъ, потѣшавшій классъ своими шуточками, а директора въ совѣтѣ доводившій до чертиковъ, сказалъ:

— Доносиками заниматься вздумали? О, будущіе граждане россійскіе!

Онъ обращался ко всему классу, но Шарыгинъ подумалъ, что это относится къ нему одному. Обычный „колъ“, третій по счету, украсившій въ этотъ день клѣтку журнала противъ фамиліи Шарыгина, не сопровождался шутливыми замѣчаніями, показывавшими, что хотя Бочкинъ и ставитъ единицу за незнаніе урока, все же считаетъ его развитымъ и знающимъ.

— До сажени много еще осталось?—спросилъ Шарыгинъ, но Бочкинъ не отвѣтилъ.

— Скотина!—подумалъ Шарыгинъ, и ему захотѣлось заплакать. Дома тоже было не лучше. На свиданія къ Шурочкѣ онъ не ходилъ, и та прислала уже записочку (съ двумя орѳографическими ошибками), справляясь объ его здоровьѣ и настроеніи. „Милый!“ — хорошъ „милый“—подумалъ Шарыгинъ и, выбравъ на диванѣ мѣстечко поудобнѣе, поплакалъ, удивляясь, какъ это онъ, умный малый—а до сихъ поръ не зналъ, что плакать составляетъ такое удовольствіе. Это было въ субботу. Въ воскресенье Шарыгинъ, противъ обыкновенія, никуда не пошелъ, и весь день посвятилъ страннымъ занятіямъ, которыя окончательно могли бы дискредитировать его въ глазахъ класса и всѣхъ серьезныхъ людей. Онъ шалилъ. Первый разъ въ жизни сестренка его испытала завидное наслажденіе кататься верхомъ на мужчинѣ, и надо полагать впослѣдствіи, когда она вышла замужъ, мужъ ея не разъ проклиналъ легкомысленнаго братца. Почтенному старому коту, необыкновенно жирному и важному, Петръ привязалъ на хвостъ бумажку. Онъ хотѣлъ доставить удовольствіе все той же сестренкѣ, но смѣялся самъ гораздо больше ея.

Въ понедѣльникъ на второй перемѣнѣ Шарыгинъ послѣ звонка попросилъ всѣхъ остаться въ классѣ и взошелъ на кафедру.

— Господа!—началъ онъ дрогнувшимъ голосомъ и смотря на Аврамова.—Товарищи, чортъ васъ возьми, а не господа. Слушайте. Аврамовъ оскорбилъ меня названіемъ подлеца...

Аврамовъ, покраснѣвъ, смотрѣлъ внизъ.

...И онъ былъ неправъ. Да, неправъ. Онъ долженъ былъ сказать: „всѣ вы подлецы!“ А такъ какъ онъ этого

не сказалъ, то я говорю: всѣ мы были подлецами! Предателями, негодяями...

Глаза Шарыгина попали въ восторженно раскрытый ротъ философа Мартова.

...И скотами. Одинъ за всѣхъ, всѣ за одного! Вотъ какъ нужно жить, братцы. А что я... я... ударилъ Аврамова, то я такой... такой!...

Краснорѣчивый ораторъ всхлипнулъ и, сбѣжавъ съ кафедры, устремился къ дверямъ, но чьи-то руки, безчисленное множество рукъ, схватили его и закружили.

— Задушили! Пустите, черти! Опять къ директору пойду.

На большой перемѣнѣ многіе искали Шарыгина, но онъ куда-то пропалъ. Когда классъ былъ отпертъ и восьмиклассники гурьбой, выжимая другъ изъ друга масло, ворвались въ него, ихъ пораженнымъ глазамъ представилось чудное произведеніе искусства. На классной доскѣ было нарисовано росписаніе съ заключеннымъ въ него кукишемъ, а передъ нимъ въ недоумѣвающихъ позахъ инспекторъ и директоръ, а за ними сторожъ Семенъ. Носъ директора художникъ не могъ вмѣстить на доскѣ и окончилъ мѣломъ на стѣнѣ. Внизу была подпись: „И. И. (услужливо): не огорчайтесь, П. М., этотъ кукишъ мнѣ. Директоръ (благосклонно): благодарю васъ, И. И.!—Сторожъ Семенъ (глубокомысленно): а я такъ полагаю, что вамъ обоимъ“.

— Сотри, сотри!—раздались голоса, но Шарыгинъ не подпускалъ никого къ доскѣ. Да и поздно было. Селедка уже видѣла рисунокъ. Никогда она такъ быстро не бѣгала, даже когда пріѣзжалъ попечитель и она метала икру. Вошелъ директоръ, а за нимъ на цыпочкахъ Иванъ Ивановичъ.

— Кто?—лаконически спросилъ директоръ, оцѣнивъ художественность исполненія и широту замысла артиста.

— Я—отвѣтилъ Шарыгинъ.

— Ты? хорошо. Ты будешь исключенъ.

Но директора смягчили. Наказаніе было ограничено четырехдневнымъ арестомъ. Когда въ слѣдующее воскресенье замокъ щелкнулъ въ двери и Шарыгинъ остался въ классѣ одинъ, онъ впервые почувствовалъ, что „грязь прошлаго“ совершенно смыта съ него. Часа черезъ два, когда онъ уже началъ скучать, у стеклянной двери показалось чье-то дружески мигавшее лицо. То былъ философъ Мартовъ. За нимъ послѣдовалъ Преображенскій. И цѣлый день одна дружеская физіономія смѣняла другую, и всѣ онѣ мигали, кричали въ замочную скважину и дружески скалились. Подъ дверь была просунута записка, кратко возвѣщавшая: „Не робѣй!“ Ночью, когда Шарыгинъ собирался укладываться спать на принесенной постели, внезапно дзинькнулъ замокъ. Аврамовъ, Мартовъ и еще пара друзей осторожно вошли въ классъ, издали показывая хлѣбъ, длинную колбасу, такую длинную, какъ нарисованный носъ у директора, и horribile dictu... пол-бутылки водки.

Друзья разошлись поздно ночью. Наибольшее удовольствіе отъ импровизированнаго банкета получилъ сторожъ Семенъ. Онъ любилъ выпить,—большая часть пол-бутылки пришлась на его долю. Онъ не прочь былъ посмѣяться, если кто-нибудь съ положительнымъ юмористическимъ талантомъ изображалъ Ивана Ивановича, который неоднократно грозился его выгнать за потачки гимназистамъ,—Мартовъ же за изображеніе инспектора давно стяжалъ заслуженные лавры. Наконецъ, распространенное мнѣніе о томъ, будто бы Семенъ глупъ, было по меньшей мѣрѣ опрометчиво. Десять лѣтъ прислуживая при опытахъ въ физическомъ кабинетѣ, Семенъ обогатилъ свой умъ изрядным количествомъ непонятныхъ словъ, дававшихъ ему возможность съ

честью поддерживать всякій умственный разговоръ. И такъ какъ въ горячемъ разговорѣ гимназистовъ постоянно попадались непонятныя слова, напоминавшіе Семену дорогую физику, какъ то: прогрессъ, человѣчность, идеалы, онъ всей душой устремлялся за своими пріятелями туда, гдѣ, по ихъ увѣренію, эти слова постоянно раздаются съ высоты кафедры, живутъ и дышатъ—въ далекій, желанный и загадочный университетъ.

Проводивъ посѣтителей, Семенъ возвращался по темному корридору. Колеблющійся огонь свѣчи трепетнымъ свѣтомъ озарялъ красное, усатое лицо, вырисовывая на стѣнкѣ чудовищную движущуюся тѣнь. Смутная грусть и сожалѣніе наполняли глупую голову Семена.

— Ахъ, кабы и сторожамъ можно было оканчивать гимназію и переходить въ университетъ.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАРЪ.

(1899)

Помощникъ присяжнаго повѣреннаго Толпенниковъ выслушалъ въ засѣданіи суда двѣ рѣчи, выпилъ въ буфетѣ стаканъ пустого чаю, поговорилъ съ товарищемъ о будущей практикѣ и направился къ выходу, дѣловито хмурясь и прижимая къ боку новенькій портфель, въ которомъ одиноко болталась книга: „Судебныя рѣчи“. Онъ подходилъ уже къ лѣстницѣ, когда чья-то большая, холодная рука просунулась между его туловищемъ и локтемъ, отыскала правую руку и вяло пожала ее.

— Алексѣй Семеновичъ! воскликнулъ Толпенниковъ съ выраженіемъ радости и почтенія, такъ какъ холодная рука принадлежала его патрону.

— Куда?—вяло спросилъ патронъ, высокій, сутоловатый человѣкъ. Спрашивая, онъ не смотрѣлъ на Толпенникова, и взглядъ его усталый и безпредметный, былъ устремленъ куда-то въ глубину длиннаго коридора, гдѣ мелькали у свѣтлыхъ дверей темныя тѣни, шуршали по камню ногами, поднимая еле замѣтную пыль, и болтали.

— Да домой!—оживленно и громко отвѣтилъ Тол-

пенниковъ.—Я тутъ съ утра. Ахъ, если бы вы знали, какъ все это интересуетъ меня!

Съ тѣмъ же оживленіемъ онъ началъ передавать свои впечатлѣнія отъ рѣчи Пархоменко, которая очень понравилась ему, между тѣмъ какъ тяжелая холодная рука незамѣтно увлекла его наверхъ, въ комнату совѣта присяжныхъ повѣренныхъ. Тамъ Алексѣй Семеновичъ молча раскрылъ свой туго набитый портфель, покопался въ немъ и протянулъ помощнику бумаги въ синей обложкѣ съ крупной надписью „дѣло".

— Вотъ. Завтра въ съѣздѣ. Тутъ и довѣренность.

Толпенниковъ покраснѣлъ и, протягивая обѣ руки, запинаясь, спросилъ:

— Какъ завтра? И я... А вы?

— Я сегодня ѣду въ Петербургъ—равнодушно и устало говорилъ патронъ, медленно опускаясь въ кресло. Тяжелыя вѣки едва приподнимались надъ глазами и все лицо его, желтое, стянутое глубокими морщинами къ сѣдой щетинистой бородкѣ, похоже было на старый пергаментъ, на которомъ не всѣмъ понятную, но печальную повѣсть начертала жестокая жизнь.

— Но какъ же?—отталкивалъ Толпенниковъ бумаги.—Вѣдь я... Это завтра?

Послѣднее слово онъ выговорилъ съ особеннымъ страхомъ и особеннымъ почтеніемъ.

— Да. Тутъ все есть. Приговоръ мирового. Черновикъ моей апелляціонной жалобы. Ну да все. Постарайтесь не провалить. Фракъ есть?

— Есть, т.-е. нѣтъ, но я достану. Но вѣдь я... боюсь. Какъ это вдругъ?...

Алексѣй Семеновичъ медленно поднялъ свои усталые глаза на помощника, все еще державшаго въ рукахъ бумаги, и какъ будто знакомое что-то, старое и давно забытое увидѣлъ въ этомъ молодомъ, испуганно-

торжественномъ лицѣ. Выраженіе усталости исчезло и гдѣ-то въ глубинѣ глазъ загорѣлись двѣ маленькія звѣздочки, а кругомъ появились тоненькія лучеобразныя морщинки. Такое выраженіе бываетъ у взрослыхъ людей, когда они случайно увидятъ играющихъ котятъ, что-нибудь маленькое, забавное и молодое.

— Боитесь?—улыбался онъ.—Это пройдетъ.

Алексѣй Семеновичъ поднялся, медленно расправилъ согнутую спину и, смотря поверхъ головъ прежнимъ безпредметнымъ взглядомъ, повторилъ равнодушно и устало:

— Да, пройдетъ. Ну, мнѣ пора.

Снова Толпенниковъ ощутилъ прикосновеніе холодной вялой руки и увидѣлъ согнутую покачивающуюся спину патрона. Однимъ изъ адвокатовъ бросая отрывистые кивки, другимъ на ходу пожимая руки, Алексѣй Семеновичъ большими ровными шагами прошелъ накуренную, грязную комнату и скрылся за дверью, мелькнувъ потертымъ локтемъ не новаго фрака,—а помощникъ все еще смотрѣлъ ему вслѣдъ и не зналъ, нужно ли догонять патрона, чтобы отдать ему бумаги, или уже оставить ихъ у себя.

И оставилъ ихъ у себя.

Вечеромъ Толпенниковъ готовился къ защитѣ и думалъ, что онъ никогда не станетъ защитникомъ. Съ внѣшней стороны дѣло было ясно и просто, и всей своей ясностью и простотой говорило, что жена д. с. с. Пелагея фонъ-Брезе виновна въ продажѣ изъ своего магазина безбандерольныхъ папиросъ. Мировой судья, осудившій ее, былъ совершенно правъ, и непонятно было только одно, какъ могъ ее защищать Алексѣй Семеновичъ, а послѣ обвиненія какъ онъ могъ написать жалобу слабую по аргументамъ и больше, казалось, чѣмъ самъ обвинительный приговоръ, уличавшую

г-жу фонъ-Брезе. Таково было первое впечатлѣніе отъ прочитанныхъ бумагъ, и Толпенниковъ, утромъ еще такой счастливый, представлялся себѣ стоящимъ передъ глубокой и темной ямой и такимъ жалкимъ, что не вѣрилось въ недавнее счастье. На стулѣ въ углу висѣлъ распяленный фракъ, добытый у знакомого помощника, вызывающе лѣзъ въ глаза своей матово-черной поверхностью и напоминалъ тѣ мысли и мечты, которыя носились въ головѣ Толпенникова какихъ-нибудь два часа тому назадъ. Онѣ были ярки, образны и наивно благородны, эти мысли и мечты. Не кургузымъ, нелѣпо комичнымъ одѣяніемъ представлялся фракъ, а чѣмъ-то въ родѣ рыцарскихъ латъ, равно какъ и самъ Толпенниковъ казался себѣ рыцаремъ какого-то новаго ордена, призваннаго блюсти правду на землѣ, защищать невинныхъ и угнетенныхъ. Самое слово „защитникъ“ до сихъ поръ вызывало въ немъ сдержанно горделивый трепетъ и представлялось большимъ, звучнымъ, точно оно состоитъ не изъ буквъ, а отлито изъ благороднаго металла. Только въ мысляхъ иногда осмѣливался Толпенниковъ примѣнять его къ себѣ и всякій разъ испытывалъ при этомъ страхъ, и, какъ влюбленный ожидаетъ перваго свиданья, такъ и онъ ожидалъ первой защиты.

Толпенниковъ не зналъ, что ему теперь дѣлать, и въ отчаяніи снова усѣлся за бумаги. Онѣ лежали все такія же, четко переписанныя, ясныя, но Толпенниковъ не понималъ ихъ и невольнымъ движеніемъ спустилъ еще ниже висѣвшую надъ столомъ электрическую лампочку. Номеръ, въ которомъ онъ жилъ, былъ малъ и грязенъ, но освѣщался электричествомъ и это особенно ставилось на видъ Толпенникову, когда два дня тому назадъ его пригласили въ контору для объясненій и настоятельно потребовали денегъ за два прожи-

тыхъ мѣсяца. Постепенно туманъ передъ глазами разсѣявался и Толпенниковъ сталъ вдумываться въ смыслъ того, что беззвучно выговаривали его зубы. И тогда на лѣвой страницѣ, внизу, онъ замѣтилъ одну пропущенную подробность, которая была въ пользу г-жи фонъ-Брезе и давала нѣсколько иное освѣщеніе дѣлу. И хотя это была подробность, благопріятное сочетаніе словъ, а не фактъ, но онъ обрадовался и сразу почувствовалъ себя бодрымъ, сообразительнымъ, какъ всегда, и виноватымъ передъ патрономъ и г-жей фонъ-Брезе.

Толпенниковъ улыбнулся, почесалъ себѣ носъ и зачѣмъ-то слегка покачалъ его двумя пальцами, поддернулъ брюки, которыя у него всегда сползали, и вышелъ прогуляться въ длинный корридоръ. Вернувшись оттуда, онъ внимательно осмотрѣлъ фракъ сверху и съ подкладки, улыбнулся и подумалъ, что фракъ великъ для его роста и широкъ. Потомъ съ нѣкоторой боязнью сѣлъ за бумаги и сталъ внимательно читать ихъ, дѣлая на поляхъ отмѣтки, сверяясь съ акцизнымъ уставомъ и часто почесывая носъ то пальцемъ, то карандашемъ. Онъ еще не пріучилъ чертъ своего лица къ серьезной неподвижности, и улыбался, и покачивалъ головой, и чмокалъ губами, маленькій, худенькій и наивно великодушный.

Къ двѣнадцати часамъ Толпенниковъ сложилъ бумаги въ портфель, зная дѣло такъ, какъ не зналъ его никогда патронъ, не понимая своихъ сомнѣній и колебаній. Невинность г-жи фонъ-Брезе была очевидна и приговоръ мирового судьи былъ ошибкой, легко понятной, такъ какъ и самъ Толпенниковъ вначалѣ ошибался. Довольный собой, довольный дѣломъ и патрономъ, онъ еще разъ осмотрѣлъ фракъ, сверху и съ подкладки, и нервно потянулся при мысли, что завтра надѣнетъ его и будетъ защищать. Доставъ изъ стола

почтовой бумаги, Толпенниновъ началъ писать отцу:

„Дорогой папаша! Ты можешь не высылать мнѣ денегъ и лучше перешли ихъ Алешѣ, который нуждается, вѣроятно, и въ обмундировкѣ и въ учебникахъ. Я получилъ отъ патрона дѣло (послѣдняя фраза была подчеркнута) очень интересное и буду завтра защищать"...

Надъ послѣднимъ словомъ Толпенниковъ остановился, и, подумавъ, отложилъ начатый листокъ въ сторону и взялъ другой. Улыбнувшись, энергично почесавъ носъ, онъ ближе нагнулся къ столу и началъ писать, не разгонистымъ почеркомъ, какъ отцу, а мелкимъ и убористымъ:

„Любимая моя Зина! Можешь ты вообразить меня во фракѣ, стоящимъ передъ судьями и защищающимъ? Одна рука на груди, другая впередъ... Нѣтъ, не могу шутить, я слишкомъ счастливъ сейчасъ и если бы только была здѣсь ты, моя родная, неизмѣнная, терпѣливая Зиночка. Сейчасъ 12 часовъ и я только что кончилъ"...

Электрическая лампочка потухла. Съ секунду краснѣла еще тонкая проволочка, а потомъ стало темно и только изъ корридора, черезъ стеклянное окно надъ дверью, лился слабый свѣтъ. Было не двѣнадцать часовъ, а часъ, когда въ номерахъ тушилось электричество.

— Чортъ бы васъ побралъ съ вашимъ электричествомъ, — обругался Толпенниковъ, осторожно, чтобы не разлить чернилъ, нащупывая письмо и кидая его въ столъ.

Улегшись, Толпенниковъ долго не засыпалъ и думалъ о генеральшѣ фонъ-Брезе, которая представлялась ему сѣдой величественной дамой, объ акцизномъ уставѣ и сѣрыхъ далекихъ глазахъ. Между глазами и уставомъ была какая-то связь и становилась все крѣпче

и загадочнѣе, и стараясь понять ее, Толпенниковъ уснулъ, маленькій, худенькій и наивно счастливый.

II.

Дѣйствительный статскій совѣтникъ въ отставкѣ, г. фонъ-Брезе, бритый какъ актеръ, величественно повелъ большимъ носомъ въ сторону Толпенникова и сухо пояснилъ, что жена его быть на судѣ не можетъ вслѣдствіе болѣзни.

— Эта гнусная исторія потрясла организмъ моей супруги—сказалъ фонъ-Брезе, смотря на кончикъ носа Толпенникова. Вы помощникъ Алексѣя Семеновича?

Толпенниковъ подумалъ, что генералъ не довѣряетъ ему и считаетъ слишкомъ молодымъ для отвѣтственнаго дѣла. Сконфуженно, но въ то же время задорно онъ сказалъ:

— Хотите довѣренность посмотрѣть?

— Ахъ, что вы!—отмахнулся рукой фонъ-Брезе, но мы говорили о генеральшѣ. Она потрясена, молодой человѣкъ. По-тря-сена. Вы понимаете...

Фонъ-Брезе отвелъ Толпенникова немного въ сторону, хотя въ этомъ не видѣлось надобности, наклонился къ самому его лицу и поднялъ палецъ.

— Вы понимаете? Полиція—утвердительно кивалъ онъ головой, поднимая кверху брови и губы, такъ что послѣднія почти коснулись красноватаго носа. На счетъ... понимаете?—онъ отвелъ назадъ руку съ растопыренными пальцами и открытой ладонью, показывая, какъ берутся взятки. Затѣмъ откачнулся назадъ и еще разъ кивнулъ головой: да-да. Представьте.

Толпенниковъ сочувственно покачалъ головой, думая „экая цаца“! Генералъ пристально и задумчиво посмотрѣлъ на носъ Толпенникова и съ внезапнымъ

приливомъ дружеской пріязни взялъ его подъ руку и еще на два шага отвелъ въ сторону.

— Я уже не разъ представлялъ ей: зачѣмъ намъ магазинъ? Какая-то та-бач-ная торговля? А?—спрашивалъ генералъ, отводя рукой въ сторону воображаемую торговлю. Но она: хочу. А?

— Да, ужъ это—неопредѣленно сочувствовалъ Толпенниковъ.

— Да? — откачнулся назадъ фонъ-Брезе. Но не угодно-ли?

Къ Толпенникову протянулась рука съ раскрытымъ серебрянымъ портсигаромъ.

— Спасибо, я не курю.

— Да? Но я закурю, если позволите.

Двумя пальцами, большимъ и указательнымъ, генералъ досталъ папиросу, постучалъ ею о крышку портсигара и закурилъ. Голубоватый дымъ тонкой струйкой поднимался вверхъ. Фонъ-Брезе плавнымъ движеніемъ руки направляетъ дымъ къ себѣ и, щурясь, нюхаетъ его.

— Мои папиросы—говоритъ онъ удовлетворенно.— Другихъ не выношу. А онъ нашелъ тамъ нѣсколько...

— Четыре тысячи, однако — вставляетъ Толпенниковъ.

— Да? Я люблю запасъ. И говоритъ: без-бан-дерольныя. Смѣшно!

Толпенникову непріятенъ генералъ и немного жаль, что приходится выступать по такому сухому дѣлу о нарушеніи акцизнаго устава. Но несправедливость—всегда несправедливость, думаетъ онъ, и горячо берется за допросъ свидѣтелей. Онъ не замѣчаетъ, что многіе изъ публики улыбаются его фраку, фалды котораго спускаются ниже подколѣннаго сгиба; по привычкѣ поддергиваетъ сползающія брюки, не думая о

неприличіи этого жеста, и смотритъ прямо въ ротъ говорящему свидѣтелю. Какъ маленькая злая ищейка, онъ тормошитъ толстаго околоточнаго надзирателя. Тотъ, не отрываясь, глядитъ на судей, бросая въ сторону адвоката отрывистыя и гулкія слова. Онъ весь полонъ скрытаго негодованія; шея его, сдавленная твердымъ воротникомъ, краснѣетъ и багровой полосой ложится на узкій серебряный галунъ, голова его неподвижно обращена къ судьямъ,—но коротенькій круглый носъ его, оттопыренныя губы, усы, все это сдвигается въ сторону ненавистнаго молокососа. Толпенниковъ слѣдитъ за глухой борьбой толстяка съ гнѣвомъ и дисциплиной и наслаждается; чисто по-студенчески онъ ненавидитъ полицію и не допускаетъ мысли о человѣчности полицейскихъ. Толстые, тонкіе,—они равны въ его глазахъ. За свидѣтелями обвиненія идетъ чередъ свидѣтелей защиты, и невинность г-жи фонъ-Брезе устанавливается съ очевидностью. Слово предоставлено защитнику. Толпенниковъ подробно и дѣльно анализируетъ свидѣтельскія показанія и очень много и горячо говоритъ о мукахъ этой женщины, надъ сѣдой головой которой нависло такое позорное обвиненіе. Искренность молодого защитника заражаетъ судей, они благосклонно смотрятъ на него и одинъ, справа, даже киваетъ въ тактъ рѣчи головой.

Пока судьи совѣщаются, Толпенниковъ выкуриваетъ съ генераломъ папиросу, о чемъ-то смѣется, кому-то пожимаетъ руку и уходитъ въ глубину залы къ окну, чтобы еще разъ пережить свою рѣчь. Она звучитъ еще въ его ушахъ, когда его настигаетъ толстякъ околоточный.

— Позвольте вамъ доложить—начинаетъ онъ вѣжливо, дотрогиваясь до плеча Толпенникова. Тотъ оборачивается, и ненавистный видъ молодого, дерзкаго лица

выводитъ околоточнаго изъ себя. Округливъ глаза, носъ и ротъ, околоточный выбрасываетъ, какъ изъ мортиры.

— Стыдно-съ!

Толпенниковъ улыбается и на выцвѣтшихъ глазахъ околоточнаго показывается какая-то муть.

— Стыдно-съ, молодой человѣкъ. Я вамъ... въ отцы гожусь.

Онъ еще хочетъ что-то сказать, но не можетъ придумать ничего достаточно сильнаго и выразительнаго.

— Стыдно-съ—повторяетъ онъ, съ ненавистью глядя на улыбающееся лицо, круто поворачивается, какъ на смотру, и отходитъ.

Какъ и ожидалъ Толпенниковъ, съѣздъ отмѣняетъ приговоръ судьи и признаетъ г-жу фонъ-Брезе по суду оправданной. Генералъ важно пожимаетъ руку защитника.

Благодарю васъ, г. Толпенниковъ.

Въ рукѣ Толпенникова что-то остается. Подчиняясь странному, плохо сознаваемому чувству необходимости принять то, что передали въ его руку, онъ нѣкоторое время держитъ руку сжатой, потомъ съ любопытствомъ открываетъ ее, и видитъ на ладони два золотыхъ, не то десяти, не то пятнадцати-рублеваго достоинства. Толпенникова непріятно передергиваетъ, онъ срывается съ мѣста и бѣжитъ по лѣстницѣ, крича:

— Эй, послушайте! Какъ васъ!.. Генералъ!

Но фонъ-Брезе нѣтъ въ прихожей, не видно его и на улицѣ. Толпенниковъ еще разъ разсматриваетъ золотые—они по пятнадцати рублей,—и словно не чувствуя уваженія къ деньгамъ, которыя достались ему такимъ непріятнымъ путемъ, кладетъ ихъ не въ портмонэ, а небрежно опускаетъ въ жилетный карманъ.

На секунду задумавшись, онъ снова идетъ наверхъ, такъ какъ ему жаль разстаться съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ онъ испыталъ такія пріятныя и горделивыя чувства. Въ залѣ онъ видитъ одного изъ свидѣтелей защиты, приказчика фонъ-Брезе. Это пестро одѣтый человѣкъ, съ острымъ лицомъ, острой рыжеватой бородкой и толстымъ перстнемъ-печаткой на указательномъ пальцѣ, покрытомъ, какъ и вся рука, частыми крупными веснушками. Острые глаза его косятъ и весь онъ дышитъ фальшью, угодничествомъ и нестерпимой фамильярностью, но Толпенниковъ чувствуетъ къ нему расположеніе и подходитъ.

— Ну, какъ?—спрашиваетъ онъ, улыбаясь.

— Ловко обработали дѣльце—одобряетъ приказчикъ, и подмаргивая въ ту сторону, куда ушелъ генералъ, добавляетъ: удралъ нашъ-то. Супругу поздравлять полетѣлъ.

— Еще бы, конечно, тяжело. Двѣ недѣли отсидѣть пришлось бы.

— Еще какъ! Ну да и то сказать, бѣда-то не велика. Она уже разъ отсиживала, да разъ штрафъ заплатила.

— Отсиживала?—не понимаетъ Толпенниковъ,

— Ну-да, отсиживала. Ее тогда Иванъ Петровичъ защищалъ, ну да пришелъ пьяный и такого нагородилъ! Нашъ-то взбѣленился, жаловаться на него хотѣлъ. Да что ужъ!—и приказчикъ махнулъ веснущатой рукой.

Толпенниковъ мучительно краснѣетъ, не рѣшаясь понять того, что такъ ясно, и вмѣстѣ съ тѣмъ понимая и ужасаясь.

— Отсиживала?—еще разъ повторяетъ онъ пошлое рѣзкое слово.—Эта почтенная дама!

— Почтенная! Изъ кухарокъ дама-то эта. На кухаркѣ нашъ женился, Палашкой звать. Вотъ и они объ этомъ знаютъ. Вѣрно, Абрамъ Петровичъ?

Абрамъ Петровичъ одѣтъ прилично, но ботинки его запылены и тамъ, гдѣ выпираетъ мизинецъ,—порваны и все его пятнистое, хотя такъ же приличное, лицо имѣетъ такой видъ, точно онъ каждую минуту собирается подойти и благородно попросить на бѣдность. Онъ протягиваетъ Толпенникову толстую потную руку и потомъ уже отвѣчаетъ на вопросъ приказчика голосомъ хриплымъ отъ водки и отъ простуды.

— Вѣрно. Сына изъ-за этой швали, извините за выраженіе, на улицу выгналъ.

— А ловко вы это на счетъ сѣдой головы подпустили!—хвалитъ приказчикъ. — А у нея голова запросто рыжая, чистый шиньонъ.

— Вѣрно,—хвалитъ Абрамъ Петровичъ.

— А папироску нашъ-то вамъ давалъ? — спрашиваетъ приказчикъ и глаза его сближаются въ готовности къ смѣху.

Толпенниковъ сердито киваетъ головой и приказчикъ смѣется. Смѣется хриплымъ басомъ и Абрамъ Петровичъ.

— Дуракъ-дуракъ, а поди какіе фокусы выкидываетъ! А самъ и курить не умѣетъ, только дымъ пущаетъ. Ну, и жохъ!—удивляется приказчикъ.

— Но какъ же вы,—говоритъ сурово Толпенниковъ, хмуря брови и подтягивая сползающія брюки, — какъ же вы сами показывали, что онъ папиросы эти для себя держитъ?

Приказчикъ и Абрамъ Петровичъ переглядываются и смѣются. Затѣмъ приказчикъ внезапно становится серьезнымъ и протягиваетъ руку:

— А засимъ до свиданья-съ. Дозвольте и напредки быть знакомымъ. Ежели когда мимо случится, такъ ужъ не обойдите. Для васъ всегда сотенка найдется. Пойдемъ, Абрамъ Петровичъ. Сѣдая голова... Ахъ ты,

Боже мой!—еще разъ напоминаетъ онъ Толпенникову его удачное выраженіе и уходитъ.

Толпенниковъ все еще стоитъ на мѣстѣ, опустивъ голову и заложивъ руки въ карманы. Когда передъ его глазами загадочная фигура Абрама Петровича, Толпенникову кажется, что онъ хочетъ чего-то попросить и вопросительно смотритъ на его грязное, осклабленное лицо.

— А я къ вамъ, господинъ Толпенниковъ, — говоритъ Абрамъ Петровичъ почти шопотомъ и наклоняясь къ помощнику.

— Если когда понадобится, такъ ужъ будьте милостивы, не откажите воспользоваться услугами, спросите только у Ивана Сазонтыча приказчика; они знаютъ, гдѣ меня найти.

— На что понадобится? — удивленно спрашиваетъ Толпенниковъ.

На лицѣ Абрама Петровича мелькаетъ удивленіе, потомъ сомнѣніе, и смѣняется понимающей примирительной улыбкой.

— Ужъ не оставьте—повторяетъ онъ. Они знаютъ. Прямо такъ и спрашивайте Абрама Петровича.

— Вонъ!—вскрикиваетъ Толпенниковъ такимъ фальцетомъ, и Абрамъ Петровичъ отходитъ, низко кланяясь, но не протягивая на этотъ разъ руки. На лѣстницѣ онъ оборачивается и еще разъ говоритъ:

— Такъ ужъ не оставьте.

Время еще раннее, и до разговора съ приказчикомъ Толпенниковъ намѣревался пойти въ совѣтъ, чтобы натолковаться между своими и подѣлиться впечатлѣніями первой защиты, но теперь ему совѣстно себя и совѣстно всего міра и кажется, что всякій, только взглянувъ на его лицо, догадается о происшедшемъ. И по улицѣ идти совѣстно и хотѣлось бы спрятать порт-

фель, чтобы никто не догадался о его званіи „защитника“. Придя домой, Толпенниковъ боязливо отложилъ въ сторону этотъ портфель, въ которомъ онъ чувствовалъ присутствіе изученнаго имъ дѣла, осторожно повѣсилъ жилетъ, не рѣшаясь достать изъ его кармана золотые и еще разъ взглянуть на нихъ, и отвернулся отъ стола, въ которомъ лежали начатыя письма къ отцу и къ Зинѣ. И все въ этой маленькой комнаткѣ казалось чуждымъ ему, странно угловатымъ и грубымъ и смотрѣло на него, какъ незнакомый, пошлый и враждебно настроенный человѣкъ. Толпенниковъ попробовалъ читать книгу, но не могъ сосредоточиться на ней и вздрагивалъ отъ непріятнаго чувства, какъ будто кто-то непріятный стоитъ у него за плечами или сейчасъ войдетъ въ дверь. И только улегшись въ постель, повернувшись къ стѣнѣ и натянувъ на голову одѣяло, онъ почувствовалъ себя спокойнѣе и пересталъ бояться міра, который вошелъ ему въ душу,—такой грязный, отвратительный и жестокій.

Вечеромъ, когда стемнѣло, Толпенниковъ пошелъ къ патрону, но тотъ не вернулся еще изъ Петербурга. Ни къ кому другому идти онъ не хотѣлъ. Близкихъ людей у него не было, и Толпенниковъ до поздней ночи шатался по бульварамъ. Дома, куда Толпенниковъ вернулся очень поздно, было все такъ же неуютно, угловато и враждебно. Раньше онъ любилъ посидѣть за самоваромъ, помечтать и попѣть тонкимъ пріятнымъ теноркомъ, разгуливая по номеру и съ любовью посматривая на полку съ книгами и на фотографіи на стѣнахъ, но теперь было противно все это и ото всего хотѣлось уйти: и отъ самовара, и отъ книгъ, и отъ фотографій.

— Ду-ракъ! — искренно и серьезно пожалѣлъ себя Толпенниковъ, ложась въ постель и сжимаясь въ ма-

ленькій круглый комокъ, какъ продрогшій ребенокъ. Но сонъ не приходилъ, не приходилъ вмѣстѣ съ нимъ и покой. Отчетливо, какъ галлюцинація, видѣлось пятнистое, приличное лицо Абрама Петровича и близко наклонялось, осклабленное, фамильярное, и оно было не одно, а со всѣхъ сторонъ назойливо лѣзли другія такія же лица и такъ же осклаблялись и подмигивали и предлагали свои услуги. И, какъ маленькому, хотѣлось отбиваться отъ этихъ призраковъ руками, плакать и просить у кого-то защиты.

На слѣдующій день Толпенниковъ засталъ Алексѣя Семеновича дома. Пріемъ кліентовъ еще не окончился, несмотря на поздній часъ, и изъ кабинета глухо доносился незнакомый голосъ, что-то разсказывавшій и о чемъ-то спрашивавшій. Въ большой пріемной чувствовалось недавнее присутствіе людей, пахло табачнымъ дымомъ, альбомы на кругломъ столѣ были разбросаны и нѣкоторые раскрыты, и кресла вокругъ стола разставлены въ безпорядкѣ. Толпенниковъ успѣлъ разсмотрѣть нѣсколько альбомовъ съ видами Швейцаріи и Парижа, и эти дурно исполненныя картинки, одинаковыя во всѣхъ пріемныхъ, докторскихъ и адвокатскихъ, наполнили его чувствомъ терпѣливой скуки и какого-то безразличія къ себѣ и къ собственному дѣлу, когда дверь изъ кабинета раскрылась и выпустила запоздавшаго кліента—невысокаго, толстаго мужчину, съ широкой русой бородой и маленькими сѣрыми глазами. Онъ еще разъ повернулся къ захлопнувшейся уже двери, точно желая сказать что-то забытое, но раздумалъ и быстро двинулся къ передней, не глядя на Толпенникова и чуть не сбивъ его.

— Что хорошенькаго скажете?—спросилъ патронъ. Онъ только что вышелъ изъ-за своего стола и, стоя возлѣ, усталымъ и медленнымъ движеніемъ подносилъ ко рту

стаканъ крѣпкаго чаю. Но, повидимому, чай былъ совсѣмъ холодный, потому что Алексѣй Семеновичъ поморщился и такъ же медленно поставилъ стаканъ на мѣсто.

— Ничего хорошаго, Алексѣй Семеновичъ.

— Проиграли?—поднялъ брови патронъ.

— Нѣтъ, не проигралъ, но...

Словно не слыша помощника, Алексѣй Семеновичъ обычнымъ движеніемъ взялъ его подъ руку и сказалъ:

— Пойдемте въ столовую. Нужно фортку открыть.

— Нѣтъ, позвольте мнѣ здѣсь сказать,—уперся Толпенниковъ.

— Здѣсь? Ну, выкладывайте,—согласился патронъ и, оставивъ руку Толпенникова, опустился на диванъ. Въ своемъ короткомъ пиджачкѣ, безъ значка, онъ казался помощнику проще и добрѣе, и вызывалъ къ откровенности. Не садясь, часто поддергивая сползающія брюки, Толпенниковъ съ волненіемъ передалъ случившееся, не умолчавъ ни объ Абрамѣ Петровичѣ, ни даже о „сѣдой головѣ“ Пелагеи фонъ-Брезе. Патронъ слушалъ молча, не поднимая глазъ и слегка покачивая ногой съ высокимъ старомоднымъ каблукомъ, и только при разсказѣ о сѣдой головѣ улыбнулся и посмотрѣлъ на помощника добрыми, но немного насмѣшливыми глазами.

— Ну?—спросилъ онъ, когда тотъ кончилъ разсказъ, и добавилъ:—вы все равно бѣгаете по комнатѣ. Позвоните, голубчикъ.

Когда явилась горничная, Алексѣй Семеновичъ спросилъ ее, давно-ли уѣхала жена, и приказалъ открыть фортки въ пріемной.

— Ну? — еще разъ спросилъ онъ помощника. — Дальше.

— Думаю выйти изъ сословія, — мрачно отвѣтилъ

Толпенниковъ. По правдѣ, онъ не думалъ выходить изъ сословія, но его обидѣло равнодушіе патрона и хотѣлось чѣмъ-нибудь особенно рѣзкимъ оттѣнить свое состояніе.

— Пустое,—отвѣтилъ Алексѣй Семеновичъ съ проблескомъ обычной усталости. — Но какой гусь этотъ фонъ-Брезе, а съ виду положительный дуракъ.

— Но вѣдь это...

— Что это? Вѣдь судьи оправдали?

— Оправдали, но...

— И никакихъ „но“. Оправдали,—значитъ, имѣли данныя оправдать. Вы-то причемъ? Вѣдь вы не искажали показаній? Не подкупали этого приказчика или кого тамъ? А относительно того, что вамъ тамъ что-то говорили, такъ кому до этого дѣло?

Патронъ помолчалъ и продолжалъ устало и равнодушно:

— Не надо вотъ было денегъ въ руки брать. Это нехорошо. И онъ нарочно въ руку сунулъ, чтобы подешевле отдѣлаться. Вы мнѣ сейчасъ деньги эти возвратите, а денька черезъ два я вамъ отдамъ, сколько стоитъ. У насъ съ нимъ свои счеты. И не надо было о „сѣдой головѣ“ говорить, вѣдь объ этомъ въ дѣлѣ ничего нѣтъ.

Толпенниковъ покраснѣлъ и мрачно отвѣтилъ:

— Самъ не знаю, какъ это меня дернуло. Но я былъ увѣренъ, что голова сѣдая.

— Ну, это не такъ важно,—улыбнулся патронъ,— хотя другой разъ будьте осторожнѣе. У васъ есть бумаги, есть свидѣтели, надъ этимъ вы и орудуйте. А отъ себя—зачѣмъ же?

— Но вѣдь въ дѣйствительности она виновна?

— Въ дѣйствительности! — нетерпѣливо сказалъ Алексѣй Семеновичъ. — Откуда мы можемъ знать, что

происходитъ въ дѣйствительности? Можетъ быть, тамъ, чортъ знаетъ что, въ этой дѣйствительности. И нѣтъ никакой дѣйствительности, а есть очевидность. А другой разъ вы только съ приказчиками не разговаривайте. Вы свободны сегодня вечеромъ?

— Да, свободенъ.

— Перепишите-ка мнѣ одну копійку. А дѣйствительность оставьте, нѣтъ никакой дѣйствительности.

Толпенниковъ переписалъ копію и не одну только, а цѣлыхъ три. И когда, согнувъ голову на бокъ и поджавъ губы, онъ трудолюбиво выводилъ послѣднюю строку, патронъ заглянулъ черезъ плечо въ бумагу и слегка потрепалъ по плечу.

— Дѣйствительность! Ахъ, чудакъ, чудакъ! На секунду выраженіе усталости исчезло съ его лица, и глаза стали мягкими, добрыми и немного печальными, какъ будто онъ снова увидѣлъ что-то давно забытое, хорошее и молодое.

ДРУГЪ.

(1899)

Когда поздней ночью онъ звонилъ у своихъ дверей, первымъ звукомъ послѣ колокольчика былъ звонкій собачій лай, въ которомъ слышалась и боязнь чужого и радость, что это идетъ свой. Потомъ доносилось шлепанье галошъ и скрипъ снимаемаго крючка.

Онъ входилъ и раздѣвался въ темнотѣ, чувствуя недалеко отъ себя молчаливую женскую фигуру. А колѣна его ласково царапали когти собаки, и горячій языкъ лизалъ застывшую руку.

— Ну, что?—спрашивалъ заспанный голосъ тономъ оффиціальнаго участія.

— Ничего. Усталъ,—коротко отвѣчалъ Владиміръ Михайловичъ и шелъ въ свою комнату. За нимъ, стуча когтями по вощеному полу, шла собака и вспрыгивала на кровать. Когда свѣтъ зажженной лампы наполнялъ комнату, взоръ Владиміра Михайловича встрѣчалъ упорный взглядъ черныхъ глазъ собаки. Они говорили: приди же, приласкай меня. И чтобы сдѣлать это желаніе болѣе понятнымъ, собака вытягивала переднія лапы, клала на нихъ бокомъ голову, а задъ ея потѣшно поднимался и хвостъ вертѣлся, какъ ручка у шарманки.

— Другъ ты мой единственный!—говорилъ Влади-

міръ Михайловичъ и гладилъ черную, блестящую шерсть. Точно отъ полноты чувства, собака опрокидывалась на спину, скалила бѣлые зубы и легонько ворчала, радостная и возбужденная. А онъ вздыхалъ, ласкалъ ее и думалъ, что нѣтъ больше на свѣтѣ никого, кто любилъ бы его.

Если Владиміръ Михайловичъ возвращался рано и не уставалъ отъ работы, онъ садился писать, и тогда собака укладывалась комочкомъ гдѣ-нибудь на стулѣ, возлѣ него, изрѣдка открывала одинъ черный глазъ и спросонья виляла хвостомъ. И когда взволнованный процессомъ творчества, измученный муками своихъ героевъ, задыхающійся отъ наплыва мыслей и образовъ онъ ходилъ по комнатѣ и курилъ папиросу за папиросой, она слѣдила за нимъ безпокойнымъ взглядомъ и сильнѣе виляла хвостомъ.

— Будемъ мы съ тобой знамениты, Васюкъ?—спрашивалъ онъ собаку, и та утвердительно махала хвостомъ.

— Будемъ тогда печенку ѣсть, ладно?

— Ладно,—отвѣчала собака и сладко потягивалась: она любила печенку.

У Владиміра Михайловича часто собирались гости. Тогда его тетка, съ которой онъ жилъ, добывала у сосѣдей посуду, поила чаемъ, ставя самоваръ за самоваромъ, ходила покупать водку и колбасу и тяжело вздыхала, доставая со дна кармана засаленный рубль. Въ накуренной комнатѣ звучали громкіе голоса. Спорили, смѣялись, говорили смѣшныя и острыя вещи, жаловались на свою судьбу и завидовали другъ другу; совѣтовали Владиміру Михайловичу бросить литературу и заняться другимъ, болѣе выгоднымъ дѣломъ. Одни говорили, что ему нужно лѣчиться, другіе чокались съ ними рюмками и говорили о вредѣ водки для его

здоровья. Онъ такой больной, постоянно нервничающій. Оттого у него припадки тоски, оттого онъ ищетъ въ жизни невозможнаго. Всѣ говорили съ нимъ на „ты“ и въ голосѣ ихъ звучало участіе, и они дружески звали его съ собой ѣхать за городъ продолжать попойку. И когда онъ, веселый, кричащій больше всѣхъ и безпричинно смѣющійся, уѣзжалъ, его провожали двѣ пары глазъ: сѣрые глаза тетки, сердитые и упрекающіе, и черные безпокойно ласковые глаза собаки.

Онъ не помнилъ, что онъ дѣлалъ, когда пилъ и когда къ утру возвращался домой выпачканный въ грязи и мѣлу и потерявшій шляпу. Передавали ему, что во время попойки онъ оскорблялъ друзей, а дома обижалъ тетку, которая плакала и говорила, что не выдержитъ такой жизни и удавится, и мучилъ собаку за то, что она не идетъ къ нему ласкаться. Когда же она, испуганная и дрожащая, скалила зубы, то билъ ее ремнемъ. Наступилъ слѣдующій день; всѣ уже кончали свою дневную работу, а онъ просыпался больной и страдающій. Сердце неровно колотилось въ груди и замирало, наполняя его страхомъ близкой смерти, руки дрожали. За стѣной, въ кухнѣ, стучала тетка и звукъ ея шаговъ разносился по пустой и холодной квартирѣ. Она не заговаривала съ Владиміромъ Михайловичемъ и молча подавала ему воду, суровая, непрощающая. И онъ молчалъ, смотрѣлъ на потолокъ, въ одно давно имъ замѣченное пятнышко и думалъ, что онъ сжигаетъ свою жизнь, и никогда у него не будетъ ни славы, ни счастья. Онъ сознался себя ничтожнымъ и слабымъ и одинокимъ до ужаса. Безконечный міръ кишѣлъ движущимися людьми и не было ни одного человѣка, который пришелъ бы къ нему и раздѣлилъ его муки,— безумно-горделивые помыслы о славѣ и убійственное сознаніе ничтожества. Дрожащей, ошибающейся рукой

онъ хватался за холодный лобъ и сжималъ вѣки, но какъ ни крѣпко онъ ихъ сжималъ, слеза просачивалась и скользила по щекѣ, еще сохранившей запахъ продажныхъ поцѣлуевъ. А когда онъ опускалъ руку, она падала на другой лобъ, шерстистый и гладкій, и затуманенный слезой взглядъ встрѣчалъ черные, ласковые глаза собаки, и ухо ловило ея тихіе вздохи. И онъ шепталъ, тронутый, утѣшенный:

— Другъ, другъ мой единственный!..

Когда онъ выздоравливалъ, къ нему приходили друзья и мягко упрекали его, давали совѣты и говорили о вредѣ водки. А тѣ изъ друзей, кого онъ оскорбилъ пьяный, переставали кланяться ему. Они понимали, что онъ не хотѣлъ имъ зла, но они не желали натыкаться на непріятность. Такъ въ борьбѣ съ самимъ собой, неизвѣстностью и одиночествомъ протекали угарныя, чадныя ночи и строго карающіе свѣтлые дни. И часто въ пустой квартирѣ гулко отдавались шаги тетки и на кровати слышался шопотъ, похожій на вздохъ:

— Другъ, другъ мой единственный!..

И, наконецъ, она пришла, эта неуловимая слава, пришла нежданная, негаданная и наполнила свѣтомъ и жизнью пустую квартиру. Шаги тетки тонули въ топотѣ дружескихъ ногъ, призракъ одиночества исчезъ и замолкъ тихій шопотъ. Исчезла и водка, этотъ зловѣщій спутникъ одинокихъ, и Владиміръ Михайловичъ болѣе не оскорблялъ ни тетки, ни друзей. Радовалась и собака. Еще звончѣе сталъ ея лай при позднихъ встрѣчахъ, когда онъ, ея единственный другъ, приходилъ добрый, веселый, смѣющійся, и она сама научилась смѣяться; верхняя губа ея приподнималась, обнажая бѣлые зубы и потѣшными складками морщился носъ. Веселая, шаловливая, она начинала играть, хва-

тала его вещи и дѣлала видъ, что хочетъ унести ихъ, а когда онъ протягивалъ руки, чтобы поймать ее, подпускала его на шагъ, и снова убѣгала, и черные глаза ея искрились лукавствомъ. Иногда онъ показывалъ собакѣ на тетку и кричалъ „куси“, и собака съ притворнымъ гнѣвомъ набрасывалась на нее, тормошила ея юбку и, задыхаясь, косилась чернымъ лукавымъ глазомъ на друга. Тонкія губы тетки кривились въ суровую улыбку, она гладила заигравшуюся собаку по блестящей головѣ и говорила:

— Умная собака, только вотъ супу не любитъ.

А по ночамъ, когда Владиміръ Михайловичъ работалъ и только дребезжаніе стеколъ отъ уличной ѣзды нарушало тишину, собака чутко дремала возлѣ него и пробуждалась при малѣйшемъ его движеніи.

— Что, братъ, печенки хочешь?—спрашивалъ онъ.

— Хочу,—утвердительно вилялъ хвостомъ Васюкъ.

Ну погоди, куплю. Что, хочешь, чтобы приласкалъ? Некогда, братъ, некогда. Спи.

Каждую ночь спрашивалъ онъ сабаку о печенкѣ, но постоянно забывалъ купить ее, такъ какъ голова его была полна планами новыхъ твореній и мыслями о женщинѣ, которую онъ полюбилъ. Разъ только вспомнилъ онъ о печенкѣ; это было вечеромъ, и онъ проходилъ мимо мясной лавки, а подъ руку съ нимъ шла красивая женщина и плотно прижимала свой локоть къ его локтю. Онъ шутливо разсказалъ ей о своей собакѣ, хвалилъ ея умъ и понятливость. Немного рисуясь, онъ передалъ о томъ, что были ужасныя, тяжелыя минуты, когда онъ считалъ собаку единственнымъ своимъ другомъ, и шутя разсказалъ о своемъ обѣщаніи купить другу печенки, когда будетъ счастливъ... Онъ плотнѣе прижалъ къ себѣ руку дѣвушки.

— Художникъ!—смѣясь, воскликнула она,—вы даже

камни заставите говорить; а я очень не люблю собакъ: отъ нихъ такъ легко заразиться.

Владиміръ Михайловичъ согласился, что отъ собаки легко можно заразиться, и промолчалъ о томъ, что онъ иногда цѣловалъ блестящую, черную морду.

Однажды днемъ Васюкъ игралъ больше обыкновеннаго, а вечеромъ, когда Владиміръ Михайловичъ пришелъ домой, не явился встрѣчать его, и тетка сказала, что собака больна. Владиміръ Михайловичъ встревожился и пошелъ въ кухню, гдѣ на тоненькой подстилкѣ лежала собака. Носъ ея былъ сухой и горячій и глаза помутнѣли. Она пошевелила хвостомъ и печально посмотрѣла на друга.

— Что, мальчикъ, боленъ? Бѣдный ты мой.

Хвостъ слабо шевельнулся и черные глаза стали влажными.

— Ну, лежи, лежи.

„Надо бы къ ветеринару отвезти, а мнѣ завтра некогда. Ну, да такъ пройдетъ",—думалъ Владиміръ Михайловичъ и забылъ о собакѣ, мечтая о томъ счастьѣ, какое можетъ дать ему красивая дѣвушка. Весь слѣдующій день его не было дома, а когда онъ вернулся, рука его долго шарила, ища звонка, а найдя, долго недоумѣвала, что дѣлать съ этой деревяшкой.

— Ахъ да, нужно же позвонить,—засмѣялся онъ и запѣлъ: отворите!

Одиноко звякнулъ колокольчикъ, зашлепали галоши и скрипнулъ снимаемый крючекъ. Напѣвая, Владиміръ Михайловичъ прошелъ въ комнату, долго ходилъ, прежде чѣмъ догадался, что ему нужно зажечь лампу, потомъ раздѣлся, но еще долго держалъ въ рукахъ снятый сапогъ и смотрѣлъ на него такъ, какъ будто это была красивая дѣвушка, которая сегодня сказала такъ просто и сердечно: да, я люблю васъ. И улегшись,

онъ все продолжалъ видѣть ея живое лицо, пока рядомъ съ нимъ не встала черная, блестящая морда собаки, и острой болью кольнулъ въ сердце вопросъ: а гдѣ же Васюкъ? Стало совѣстно, что онъ забылъ больную собаку, но не особенно: вѣдь не разъ Васюкъ бывалъ боленъ, и ничего же. А завтра можно пригласить ветеринара. Но во всякомъ случаѣ не нужно думать о собакѣ и о своей неблагодарности—это ничему не помогаетъ и уменьшаетъ счастье.

Съ утра собакѣ стало худо. Ее мучила рвота, и, воспитанная въ правилахъ строгаго приличія, она тяжело поднималась съ подстилки и шла на дворъ, шатаясь, какъ пьяная. Ея маленькое черное тѣло лоснилось, какъ всегда, но голова была безсильно опущена и посѣрѣвшіе глаза смотрѣли печально и удивленно. Сперва Владиміръ Михайловичъ самъ вмѣстѣ съ теткой раскрывалъ собакѣ ротъ съ пожелтѣвшими деснами, и вливалъ лѣкарство, но она такъ мучилась, такъ страдала, что ему стало тяжело смотрѣть на нее, и онъ оставилъ ее на попеченіе тетки. Когда же изъ-за стѣны доходилъ до него слабый безпомощный стонъ, онъ закрывалъ уши руками и удивлялся, до чего онъ любитъ эту бѣдную собаку.

Вечеромъ онъ ушелъ. Когда передъ тѣмъ онъ заглянулъ въ кухню, тетка стояла на колѣняхъ и гладила сухой рукой шелковистую горячую голову. Вытянувъ ноги, какъ палки, собака лежала тяжелой и неподвижной, и только наклонившись къ самой ея мордѣ, можно было услышать тихіе и частые стоны. Глаза ея, совсѣмъ посѣрѣвшіе, устремились на вошедшаго, и когда онъ осторожно провелъ по лбу, стоны сдѣлались явственнѣе и жалобнѣе.

— Что, братъ, плохо дѣло? Ну, погоди, выздоровѣешь, печенки куплю.

— Супъ ѣсть заставлю,—шутливо пригрозила тетка.

Собака закрыла глаза, и Владиміръ Михайловичъ, ободренный шуткой, торопливо ушелъ и на улицѣ нанялъ извозчика, такъ какъ боялся опоздать на свиданіе съ Натальей Лаврентьевной.

Въ эту осеннюю ночь такъ свѣжъ и чистъ былъ воздухъ, такъ много звѣздъ сверкало на темномъ небѣ. Онѣ падали, оставляя огнистый слѣдъ, и вспыхивали, и голубымъ свѣтомъ озаряли красивое женское лицо, и отражались въ темныхъ глазахъ—точно свѣтлякъ появлялся на днѣ чернаго глубокаго колодца. И жадныя губы беззвучно цѣловали и глаза эти, и свѣжія, какъ воздухъ ночи, уста, и холодную щеку. Ликующіе, дрожащіе любовью голоса, сплетаясь, шептали о радости и жизни.

Подъѣзжая къ дому, Владиміръ Михайловичъ вспомнилъ о собакѣ, и грудь его заныла отъ темнаго предчувствія. Когда тетка отворила дверь, онъ спросилъ:

— Ну, что Васюкъ?

— Околѣлъ. Черезъ часъ послѣ твоего ухода.

Околѣвшую собаку уже вынесли и выбросили куда-то, и подстилка была убрана. Но Владиміръ Михайловичъ и не хотѣлъ видѣть трупа: это было бы слишкомъ тяжелое зрѣлище. Когда онъ улегся спать и въ пустой квартирѣ замокли всѣ звуки, онъ заплакалъ сдерживая себя. Безмолвно кривились его губы и слезы набухали подъ закрытыми вѣками и быстро скатывались на грудь. Ему было стыдно, что онъ цѣловалъ женщину въ тотъ мигъ, когда здѣсь, на полу, одиноко умиралъ тотъ, кто былъ его другомъ. И онъ боялся, что подумаетъ тетка о немъ, серьезномъ человѣкѣ, услышавъ, что онъ плачетъ о собакѣ.

Съ тѣхъ поръ прошло много времени. Слава ушла отъ Владиміра Михайловича такъ же, какъ и пришла—

загадочная и жестокая. Онъ обманулъ надежды, которыя возлагали на него, и всѣ были злы на этотъ обманъ и выместили его негодующими рѣчами и холодными насмѣшками. А потомъ, точно крышка гроба, опустилось на него мертвое, тяжелое забвеніе.

Женщина покинула его: она также считала себя обманутой.

Проходили угарныя, чадныя ночи и безпощадно карающіе бѣлые дни, и часто, чаще, чѣмъ прежде гулко раздавались въ пустой квартирѣ шаги тетки, а онъ лежалъ на своей кровати, смотрѣлъ въ знакомое пятнышко на потолкѣ и шепталъ:

— Другъ, другъ мой единственный...

И безсильно падала на пустое мѣсто дрожащая рука.

МЕЛЬКОМЪ.

(1899)

По одному непріятному и скучному дѣлу я былъ вызванъ изъ Москвы и освободился только къ десяти часамъ вечера, развинченный и злой. Другого дѣла у меня не было, но я торопливо шелъ на станцію, по привычкѣ человѣка, у котораго лежитъ въ боковомъ карманѣ записная книжка, а въ ней противъ каждаго дня отмѣчены десятки мѣстъ, куда нужно поспѣть, и ругалъ, ругалъ... право, не знаю, кого. Весь свѣтъ ругалъ: и тѣхъ, кто вызвалъ меня по этому глупому дѣлу, и себя за то, что поѣхалъ, и собакъ, существованіе которыхъ въ этой мѣстности я предполагалъ, и дождливое лѣто, и ночной мракъ, который уже царилъ всюду, особенно сгущаясь въ узенькихъ путаныхъ переулкахъ, пролегавшихъ между дачами. По серединѣ еще свѣтлѣла дорога, но по краямъ, гдѣ подъ тѣнью высокихъ деревьевъ проходила пѣшеходная тропинка, было такъ же черно, какъ и у меня на душѣ. По времени свѣту полагалось больше,—это происходило въ послѣднихъ числахъ іюня,—но передъ тѣмъ только что пронеслась сильная гроза, съ проливнымъ дождемъ и вѣтромъ, и посѣрѣвшія тучи еще не успѣли разсѣяться, точно имъ было такъ же трудно и непріятно двигаться въ тепломъ и сы-

ромъ воздухѣ, какъ и мнѣ. Минутами онѣ спохватывались, какъ пьяница, который вспоминаетъ, что въ одномъ изъ кармановъ у него еще завалялся непропитый пятакъ, и возвратившись, съ трескомъ бросаетъ его удивленному цѣловальнику,—и посылали на землю рѣдкія, запоздавшія капли, лѣниво ударявшіяся о листья и траву и наполнявшія окрестность тихимъ шуршаніемъ. Деревья не шевелились, и только, когда я съ усиленной бранью налеталъ плечомъ на темный стволъ сосны или задѣвалъ ногой кустарникъ, на меня сыпались частыя, теплыя брызги. У меня уже начинала являться пріятная догадка о томъ, что вмѣсто станціи я иду къ чорту на кулички, когда деревья внезапно раздвинулись, точно провалились, и въ нѣсколькихъ шагахъ на просвѣтлѣвшемъ пространствѣ тускло блеснули мокрые рельсы.

Маленькая, крытая платформочка, задавленная окружающимъ лѣсомъ и ежеминутно пугаемая громыхающими поѣздами, робко прижималась къ землѣ. На ней не было даже кассы, и въ продолжительной агоніи кончался холостякъ-фонарь, не только не разсѣивая тьмы, но скорѣе увеличивая ее. На стѣнѣ висѣло большое, оборванное по краямъ и никогда не читаемое росписаніе какихъ-то поѣздовъ съ мудреными линіями и черными ободами, а въ углу стояла единственная лавка, на которую я плотно усѣлся. До поѣзда оставалось еще болѣе часу, и я приготовился терпѣливо ждать. Для этихъ случаевъ у меня всегда бывала припасена газета или книга, но читать было темно да и не хотѣлось. Эти чужіе и выдуманные люди, о которыхъ будетъ говорить газета или книга, давно уже вызывали во мнѣ скуку и зависть. Что мнѣ до того, что тамъ гдѣ-то гремятъ витіи, кипитъ жизнью шумная толпа и крики побѣды, и яростные вопли побѣжденныхъ под-

нимаются къ небу,—когда вокругъ меня спитъ самый воздухъ, и самъ я кисну и буду киснуть въ этой неподвижной духотѣ? А въ книгѣ еще хуже: сочиненные Петры будутъ любить и цѣловать выдуманныхъ Марій, во имя проклятаго реализма порокъ будетъ торжествовать, а слюнявая добродѣтель ныть и киснуть, киснуть и ныть! Да и не все ли равно, быстро и медленно пройдетъ время? За этимъ часомъ пройдутъ другіе, и ихъ тоже нужно будетъ убивать,—такъ пусть они умираютъ сами, а я буду только подсчитывать трупы.

Увлеченный нытьемъ, я не замѣтилъ, какъ на платформу вышли изъ разныхъ концовъ двѣ пары. Первую составляли два подвыпившіе господина. Одинъ изъ нихъ былъ высокій худощавый старикъ съ желтымъ лицомъ и рѣденькой сѣдой бороденкой, отъ тонкаго и широкаго рта спускавшейся клочками на гусиную шею. Изъ-подъ котелка, оставлявшаго въ тѣни верхнюю часть лица, спускался тонкій и длинный носъ, на концѣ острый, какъ у покойника. Спутникъ его обладалъ широкимъ и краснымъ лицомъ, подобнымъ ломтю зрѣлаго арбуза, при чемъ роль зеренъ выполняли маленькіе черные глазки,—стриженой круглой головой, на которой торчалъ бѣлый картузъ. Надъ пухлыми губами чернѣли маленькіе усики. Отъ всей его молодой, толстой фигурки несло нестерпимымъ блаженствомъ и какой-то обидной кротостью. Старикъ усѣлся возлѣ меня и заговорилъ высокимъ хриплымъ фальцетомъ, которому онъ старался придать язвительность и иронію.

— Будьте, Семенъ Семенычъ, солидарнѣе! Васъ немного намочило, вы и починяйтесь.

— Но чѣмъ же я починюсь, Василь Игнатычъ? Буфета нѣтъ.

— Это дѣло ваше. Толците и отверзится.

— Чему отверзаться-то? Стѣна.

Молодой человѣкъ въ подтвержденіе своихъ словъ стукнулъ кулакомъ въ тонкую стѣну, издавшую звукъ пустого пространства, и откачнулся назадъ, но сдѣлавъ при этомъ такой видъ, какъ будто ему давно уже хотѣлось откачнуться, и онъ только пользуется удобнымъ случаемъ.

— Но зачѣмъ утруждаете вы меня вашими гнусными воплями? — спросилъ старикъ. Весь онъ былъ преисполненъ вѣжливости, ироніи и яда, которымъ особую силу придавали частые знаки препинанія.

— Сердце у меня золотое, съ хорошимъ человѣкомъ поговорить желательно. Покуримъ, старина?

— Это дѣло ваше. А только я не старина, я Василь Игнатычъ, и всякой пьяной свиньѣ не товарищъ.

— А сами-то вы не пили?—оскорбился тотъ.

— Это дѣло наше.

Другая пара стояла между тѣмъ въ нерѣшимости.

— Уйдемъ, Саша, тутъ пьяные.

— Ничего, они тихіе, сядемъ вонъ тамъ въ углу.

Высокая женская фигура въ сѣромъ клеенчатомъ плащѣ медленно тронулась, и за ней послѣдовалъ тотъ, кого называли Саша. Когда они проходили мимо фонаря, свѣтъ упалъ на красивое женское лицо и юношу съ длинными волосами и въ синей съ косымъ воротомъ рубашкѣ. Видомъ своимъ онъ напоминалъ ителлигентнаго рабочаго или студента, снявшаго форму. Дѣвушка держалась спокойно и говорила рѣшительно, мало придавая значенія тому, что ее услышатъ. Голосъ ея—чистый и мягкій—звучалъ лаской въ самомъ простомъ словѣ. Такія женщины, съ ласковымъ голосомъ и увѣренными движеніями, особенно хорошо ухаживаютъ за больными.

Разостлавъ на полу клеенчатый плащъ, они усѣлись, тѣсно прижавшись другъ къ другу, и изъ-

за лохматой головы на плечо легла тонкая бѣлая рука.

Милый, тебѣ не холодно?

— Конечно, нѣтъ,—отвѣтилъ онъ съ тѣмъ пренебреженіемъ, какимъ мужчины отвѣчаютъ на женскую заботливость.

А мнѣ уже становилось холодно, и я зябко ежился въ своемъ одинокомъ и жесткомъ углу.

— А какъ насъ знатно вымочило!—продолжалъ тотъ же ласковый голосъ со скрытымъ смѣхомъ.—И какъ страшно въ лѣсу, когда гроза.

— Ну, что тамъ страшнаго. Скорѣе — пріятно. А твои тамъ, дома не будутъ безпокоиться о тебѣ? Запропала невѣдомо куда.

— Пусть ихъ,—отвѣтила дѣвушка и счастливо разсмѣялась, но тотчасъ же перешла въ серьезный тонъ:— а странно, правда, что время такъ долго тянется безъ тебя. Ты когда былъ здѣсь?

— Вчера.

— Вчера?—протянулъ голосъ.—И то вѣдь вчера. Вотъ потѣха-то! Я думала, что они врутъ.

— Кто они?

— Да вотъ тѣ, что романы пишутъ.

— Кстати, кончила ты Каутскаго? У меня просили его.

Отвѣта я не слыхалъ. Уже давно доносился издали гулъ, тихій и неотзывчивый въ сѣромъ воздухѣ, поглощающемъ звуки. То шелъ не то пассажирскій, не то курьерскій поѣздъ, не останавливающійся на этой платформѣ. Постепенно гулъ возрасталъ, и изъ-за стѣны, закрывавшей отъ меня правую сторону пути, внезапно вырвалось черное и огненное чудовище и промчалось, какъ вихрь, съ громомъ и лязгомъ таща за собой тяжелые вагоны. Освѣщенныя окна сливались въ одну блестящую полосу съ мелькающими силуэтами головъ.

Съ низенькой платформы, стоявшей почти на одномъ уровнѣ съ рельсами, видно было, какъ торопливо вертятся колеса, кажущіяся легкими и прозрачными.

Наступила минутная тишина, нарушенная блаженнымъ молодымъ человѣкомъ, въ которомъ этотъ пронесшійся ураганъ, видимо, пробудилъ новыя силы. Отчаянно фальшивымъ голосомъ онъ запѣлъ:

— Блѣдный мѣсяцъ... плыветъ надъ рѣ-ѣ-кою...

— Врешь—комментировалъ старикъ съ язвительностью.—Возьмите глаза въ зубы, и вы увидите тучи.

...Все въ а-объятьяхъ... ночной тишины...

— Хороша тишина! Оретъ, какъ пришпандоренный.

...Ничего мнѣ на свѣтѣ... не надо-о-о...

— И опять врете. Пол-бутылки надо.

...Только видѣть... тебя одное!..

— Эту рожу-то? Тьфу,—съ омерзѣніемъ плюнулъ старикъ.

— Послушайте! Почему вы говорите, что у нея рожа? Вы сами видѣли, какая у нея прелестная личность.

— Къ вашей пьяной рожѣ никакая личность не подойдетъ.

Молодой человѣкъ задумался и рѣшительно произнесъ:

— За эти слова я больше съ вами не знакомъ.

— Дѣло ваше.

Съ другой стороны слышалось:

— Ты понюхай, Саша, какъ хорошо пахнетъ: листьями и еще чѣмъ-то.

— Да ужъ нюхалъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, еще.

Юноша съ шипѣніемъ потянулъ воздухъ, и оба разсмѣялись. На блаженнаго молодого человѣка молчаніе дѣйствовало удручающе и онъ заговорилъ, подражая ироническому тону старика.

— А вотъ съ какимъ поѣздомъ мы поѣдемъ?

— Ни съ какимъ.

— Н-ну?—изумился молодой человѣкъ и икнулъ.— Почему же это, хотѣлъ бы я знать?

— Потому что не пустятъ. Скажутъ: куда, пьяная морда, лѣзешь?

— Это кто же морда - то? Скажемъ: двѣ пьяныя морды.

— Да еще по шеѣ накладутъ,—ехидничалъ старикъ

— О?

— Да протоколъ составятъ.

— О?—все больше таращились глаза молодого человѣка.

— Да въ титы. Посиди, голубчикъ, охладись, а то чувствителенъ больно.

Молодой человѣкъ задумался и торжественно провозгласилъ:

— Я съ вами больше не знакомъ, потому что вы вредный человѣкъ.

Несмотря на то, что эту торжественную формулу онъ заключилъ новой звучной икотой, видно было, что онъ огорчился и весь какъ-то потускнѣлъ, точно по его блаженству прошлись сапожной щеткой. Я понялъ теперь и причину этого омраченнаго блаженства: оно было тѣмъ отпечаткомъ, который накладываютъ на человѣка ласки и поцѣлуи любимой женщины. Но на что злился старикъ?

— Какой мрачный господинъ,—сказала шопотомъ дѣвушка, очевидно намекая на меня. Мнѣ было пріятно, что я замѣченъ и что, главное, замѣчена моя мрачность. Пусть хоть пожалѣютъ меня, эти милые люди,— меня, у котораго нѣтъ любви.

— Бабушку схоронилъ,—предположилъ юноша.

Это предположеніе было поразительно глупо. Кто

бываетъ такъ мраченъ, схоронивъ бабушку, и почему именно бабушку, а не дѣдушку?

— Ха-ха-ха!—звонко разсмѣялась дѣвушка, но сейчасъ же, съ своимъ обычнымъ переходомъ къ милой серьезности, добавила раскаивающимся голосомъ: — быть можетъ, онъ боленъ, а мы смѣемся.

Это была эпитафія, съ которой меня снова опустили въ пучину небытія, откуда извлекли на одну минуту, чтобы моя мрачность ярче оттѣнила ихъ свѣтлое счастье. И снова повелся ими серьезный, дѣловой разговоръ о заграницѣ, о медицинскомъ институтѣ, о правилахъ пріема въ него, о книжкахъ прочитанныхъ и тѣхъ, которыя нужно еще прочесть, а въ этотъ разговоръ врывалась шаловливымъ лучомъ милая и пустая болтовня, легкая и красивая, словно бѣлая пѣна на поверхности золотистаго крѣпкаго вина. Весь міръ казался имъ пустякомъ, и каждый пустякъ былъ цѣлымъ міромъ. Чувствовалось то благоговѣйное вниманіе, съ которымъ эта высокая, красивая дѣвушка ловила каждое слово, которое скупо, какъ драгоцѣнность, выпускалъ длинноволосый юноша. Какимъ благодарнымъ смѣхомъ отвѣчала она, когда это слово оказывалось умнымъ и острымъ! Разсыпь сейчасъ передъ ней Цицеронъ всѣ самые пышные цвѣты изъ своего неувядаемаго вѣнка, блистай передъ ней Гейне всѣми перлами язвительной насмѣшки и мистически-страстной нѣжности, плачь и хмурься передъ нею Данте, соберись тутъ, наконецъ, всѣ великіе умы и сердца и положи къ ногамъ ея дары свои, она, эта красивая дѣвушка, не обернула бы къ нимъ головы и жаднымъ ухомъ ловила бы каждое слово длинноволосаго молодца. Она смѣется, счастливая и благодарная, точно все это: и ея возлюбленный, и смѣшные пьяные, и сумрачный господинъ, схоронившій свою бабушку, су-

ществуютъ лишь для полноты ея счастья. Мы не были живые люди,—мы были лишь тѣни, картинки.

— Какъ быстро бѣжитъ время!—жаловалась она.

А я не зналъ, какъ убить это время!

— Можетъ быть, мои часы спѣшатъ?

Маленькіе золотые часики сблизились съ большими серебряными часами и обѣ головы склонились надъ ними. Но, вѣроятно, кромѣ часовъ, сблизилось что-нибудь другое, потому что слишкомъ уже долго не опредѣлялся настоящій часъ.

— Кажется, вѣрно? — смущенно сказалъ женскій голосъ съ легкой дрожью.

— Вѣрно!—авторитетно сказалъ юноша.

Вѣрно! Какъ слѣпы эти счастливые люди. Невѣрно! Тысячу разъ невѣрно! И проклянете тотъ день, когда ваши часы пойдутъ такъ правильно, что ни въ одной убитой минутѣ вы не ошибетесь, и маленькіе часики далеко отъ васъ будутъ отбивать такія же грустныя и пустыя секунды.

Тучи уже проходили, и на западѣ, прямо противъ платформы свѣтлой полосой проступило чистое, прозрачное небо. На немъ чернѣли, какъ вырѣзанные изъ плотной бумаги, силуэты разбросанныхъ деревьевъ. Свѣжѣе и суше сталъ воздухъ, на ближайшей дачѣ глухо зарокоталъ рояль, и къ нему присоединились согласные стройные голоса.

— Пойдемъ слушать,—быстро вскочила дѣвушка и потащила за рукавъ неуклюже поднимавшагося юношу.

Пойдемъ и мы,—пусть до конца оттаиваетъ застывшее сердце. Пѣли хорошо, какъ рѣдко поютъ на дачахъ, гдѣ каждая безголосая собака считаетъ себя обязанной къ вытью. И пѣсня была грустная и нѣжная. Мягкій, красивый баритонъ гудѣлъ сдержанно и взволнованно, какъ будто подтверждая то, на что

страстно жаловался высокій и звучный теноръ. А жаловался онъ на то, что дни и ночи думаетъ все о ней одной.

— Объ одной тебѣ думу думаю, — плакалъ теноръ.

— Думу думаю,—грустно соглашался баритонъ.

— Объ одной тебѣ, моя душечка,—звенѣлъ слезами теноръ.

— Душечка,—мягко подтверждалъ баритонъ.

— И умру я, жизнь проклинаючи, объ одной тебѣ вспоминаючи...

— Объ одной тебѣ вспоминаючи, — съ глубокою тоскою подтвердилъ баритонъ, и все стихло. Впереди меня молча и неподвижно стояла парочка, и когда пѣсня кончилась, разомъ вздохнула—и поцѣловалась. Я отправился на платформу, откуда послышался отчаянно-фальшивый голосъ, беззаботно обходившійся всего двумя нотами, одинаково скверными: простымъ крикомъ и дикимъ крикомъ. Молодой человѣкъ съ золотымъ сердцемъ не могъ остаться нечувствительнымъ къ любовному призыву и отвѣчалъ, какъ умѣлъ...

Ничего мнѣ... на свѣтѣ... не нада-а...
Только видѣть тебя одное...

— Врете! — шипѣлъ старикъ, пытаясь заглушить кричащаго.—Дубину хорошую надо!

Бѣдный старикъ! Теперь я понялъ почему онъ такъ злился. Онъ завидовалъ, какъ и я.

Потрещалъ звонокъ, извѣщающій о выходѣ поѣзда, и вскорѣ послышался тотъ же ровный и тихій гулъ. Сейчасъ онъ унесетъ меня отсюда, и навѣки исчезнетъ для меня эта низенькая и темная платформочка, и только въ воспоминаніи увижу я милую дѣвушку. Какъ песчинка, скроется она отъ меня въ морѣ человѣческихъ жизней и пойдетъ своею далекой дорогой къ жизни и счастью.

Снова изъ-за стѣны вырвалось черное чудовище и, сдержанное могучей властью, остановило, вздрагивая, свой стремительный бѣгъ. Находя другъ на друга и треща и скрипя тормазами, проползали вагоны и остановились съ глухимъ стукомъ. Стало тихо, и только шипѣлъ воздухъ, выходя изъ тормазныхъ трубъ.

Пьяныхъ, дѣйствительно, на поѣздъ не пустили, и старикъ съ злорадствомъ говорилъ:

— Что? Поѣхали?

— Нич-чево. Поѣдемъ на слѣдующемъ.

— А на слѣдующемъ и по шеѣ накладутъ.

Я стоялъ на площадкѣ вагона, противъ длинноволосаго юноши, пристально смотрѣвшаго на высокую, стройную фигуру, такимъ же продолжительнымъ взглядомъ впившуюся въ него. Поѣздъ дернулся и плавно пошелъ, отрывисто стуча и покачиваясь на стыкахъ рельсъ.

— До свиданья, Саша,—сказала дѣвушка.

— До свиданья,—отвѣтилъ онъ.

— Прощай,—тихо молвилъ я, склоняя голову.

— До завтра!—донеслось уже издали и глухо.

— До завтра,—крикнулъ онъ.

„Навсегда“,—отвѣтилъ тихо я. „Навсегда“—прощались со мной черные силуэты деревьевъ и убѣгали назадъ. „Навсегда“,—сказала платформа и скрылась за поворотомъ.

Однако, пойти въ вагонъ, а то становится холодновато: мечты мечтами, а насморкъ насморкомъ. Да заглянуть заодно и въ записную книжку: куда и куда бѣжать мнѣ завтра спозаранку.

ПРАЗДНИКЪ.

(1900)

I.

Съ половины Великаго поста Качеринъ почувствовалъ, что въ міръ надвигается что-то крупное, свѣтлое и немного страшное въ своей торжественности. И хотя оно называлось старымъ словомъ „праздникъ“ и для всѣхъ другихъ было просто и понятно, Качерину оно казалось новымъ и загадочнымъ,—такимъ новымъ, какъ сознаніе своего существованія, и такимъ же загадочнымъ, какъ это существованіе. Послѣдній годъ Качерину казалось, что онъ только-что появился на свѣтъ, и все удивляло и интересовало его, а то, что было раньше и называлось дѣтствомъ, представлялось смѣшнымъ, веселымъ и къ нему не относящимся. И онъ помнилъ моментъ, когда началась его жизнь. Онъ сидѣлъ въ своемъ классѣ на урокѣ и скучалъ, когда внезапно, съ удивительной ясностью, ему представилось, что вотъ этотъ, который сидитъ на третьей партѣ, подперъ голову рукой и скучаетъ, есть онъ, Николай Николаевичъ Качеринъ, а вотъ эти—тотъ, что бормочетъ съ каѳедры, и другіе, разсѣвшіеся по партамъ,—совсѣмъ иные люди и иной міръ. Представленіе это было ярко, сильно и мгновенно, и потомъ Качеринъ уже не

могъ вызвать его, хотя часто дѣлалъ къ тому попытки: садился въ ту же позу и подпиралъ голову рукой. Но зато все стало новымъ и полнымъ загадочности: товарищи, отецъ и мать, книги и онъ самъ.

Качеринъ былъ ученикомъ седьмого класса гимназіи и одни изъ знакомыхъ, старые, называли его просто „Коля“, а всѣ новые звали Николаемъ Николаевичемъ. Онъ былъ невысокаго роста, тоненькій и хрупкій, съ очень нѣжнымъ цвѣтомъ лица и вѣжливой тихой рѣчью. Усики у него только-что стали пробиваться и темной пушистой дорожкой проходили надъ свѣжими и красными губами. Родители Качерина были очень богатые люди и имѣли на одной изъ дальнихъ улицъ города свой домъ, при которомъ находился большой, въ двѣ десятины садъ, громадные сараи и конюшни, и даже колодецъ, изъ котораго вся почти улица брала для себя воду.

У Качерина было много пріятелей и одинъ другъ, Меркуловъ, котораго онъ любилъ горячо и нѣжно и каждую недѣлю отсылалъ ему по большому, мелко-исписанному письму. Меркуловъ былъ старше его двумя годами и съ осени находился въ юнкерскомъ училищѣ, откуда пріѣзжалъ только на большіе праздники. Имѣлись у Качерина и враги, по крайней мѣрѣ — одинъ врагъ—реалистъ, съ которымъ онъ однажды подрался еще маленькій, и съ тѣхъ поръ косился при встрѣчѣ и одно время даже носилъ въ карманѣ кастетъ. Была у него и возлюбленная—молодая, красивая и веселая горничная, однажды овладѣвшая имъ. Въ гимназіи, дома и у знакомыхъ всѣ считали его очень счастливымъ юношей, но самъ онъ находилъ себя глубоко несчастнымъ. И причиной несчастія было то, что онъ сознавалъ себя порочнымъ и лживымъ, а жизнь свою никому и ни на что не нужной. И много неразрѣши-

мыхъ вопросовъ приходило ему въ голову и выталкивало оттуда латынь и математику: нужно-ли ему жить и зачѣмъ? Какъ сдѣлать, чтобы быть довольнымъ собой и чтобы всѣ любили его? За послѣднюю учебную четверть онъ получилъ двѣ двойки и это грозило ему оставленіемъ въ классѣ на другой годъ. И то, что онъ такъ плохо учился и скрывалъ это отъ родителей, которые съ своей стороны добродушно хвалили его, дѣлало его окончательно негоднымъ въ его глазахъ. А если бы еще всѣ, хвалившіе его, знали, гдѣ онъ бываетъ съ товарищами и что онъ дѣлаетъ тамъ!

И надвигавшееся на міръ что-то крупное, свѣтлое и немного страшное, называвшееся старымъ именемъ „праздникъ", какъ будто несло съ собой и отвѣтъ. И Качеринъ думалъ, что не можетъ быть печальнымъ этотъ отвѣтъ и что обязательно явится нѣкто и скажетъ, какъ нужно жить и для чего нужно жить. Будетъ-ли это Меркуловъ, который пріѣдетъ къ Святой, или кто-нибудь другой, а, можетъ быть, даже и не кто-нибудь, а что-нибудь—Качеринъ не зналъ. Но онъ ждалъ.

И праздникъ наступилъ.

II.

Праздничное и новое началось съ первыхъ дней Страстной недѣли, но Качеринъ не сразу почувствовалъ его. Онъ ходилъ въ гимназическую церковь, видѣлъ тамъ товарищей и учителей и все это было будничное и старое. Надзиратель, носившій странное названіе Глиста, поймалъ его, когда онъ курилъ, и хотѣлъ жаловаться инспектору. Все было скучно и сѣро, и всѣ лица казались тусклыми и на нихъ не было видно того, что замѣчалось раньше,—того же ожиданія какой-

то необычной радости, какъ и у него. Быть можетъ, на всѣхъ вліяла дурная погода: на вербное воскресенье шелъ снѣгъ, а потомъ три дня стояли холодъ и слякоть и нельзя было открыть ни одного окна. Но все же въ воздухѣ носилось что-то раздражающее. На улицахъ экипажей и людей стало больше, чѣмъ всегда, и двигались они быстрѣе и говорили громче, и всѣ обязательно толковали не о текущемъ днѣ, а о томъ, что они будутъ дѣлать тогда, на праздникахъ. Настоящее точно провалилось куда-то и люди думали объ одномъ будущемъ.

И когда въ пятницу появилось солнце и сразу нагрѣло и подсушило землю, надвигающійся праздникъ овладѣлъ всѣмъ живущимъ и Качеринъ почувствовалъ его во всемъ. Но это все было только ожиданіемъ, и раздражало, и мучало. Качеринъ пошелъ въ конюшню,— тамъ кучеръ и дворникъ мыли экипажи и чистили лошадей, и были злы и неразговорчивы. Онъ нѣсколько разъ заглядывалъ на кухню—тамъ происходило что-то необыкновенное. И всегда въ будни Качерины ѣли очень много и хорошо, но теперь все готовили и готовили, и ни до чего изъ приготовляемаго нельзя было касаться, такъ какъ оно предназначалось для праздника. И мать, и отецъ уѣзжали на старенькой пролеткѣ и привозили все новые кульки, и опять уѣзжали, и по всему дому разносили раздражающій, необычный запахъ ванили, свѣжаго тѣста и яицъ. Всюду передъ иконами горѣли лампадки, и нянька ругалась съ маленькими дѣтьми и не пускала ихъ въ залъ и гостиную, гдѣ полы были начищены и уже все убрано. Завтрака совсѣмъ не было, а обѣдъ подали такой плохой, какъ будто ѣсть теперь совсѣмъ было не нужно. Горничная Даша столкнулась съ Качеринымъ въ буфетной, когда тамъ никого не было, и хотя поцѣло-

вала его, но быстро и небрежно. Волосы у нея были не причесаны и отъ голыхъ рукъ шелъ тотъ же раздражающій запахъ ванили.

— Выйди въ садъ,—сказалъ Качеринъ.

— И ни-ни-ни!—замотала головой Даша.—Вотъ!—растопырила она руки, показывая, сколько у нея дѣла.

Качеринъ вышелъ въ садъ, и садъ показался ему полнымъ того же страстнаго ожиданія. Около террасы дорожки были уже вычищены и посыпаны желтымъ пескомъ, но дальше въ глубинѣ сада, было сыро и запущено, какъ это бываетъ послѣ зимы. На дорожкахъ лежалъ, прилипая къ землѣ, прошлогодній листъ, темный и промоченный насквозь; въ углахъ у заборовъ бѣлѣлъ ноздреватый снѣгъ и изъ-подъ него сочились струйки воды, чистой и прозрачной, какъ слеза. Мѣстами темнозелеными пучками сидѣла молодая крапива и недалеко отъ нея выглядывалъ на свѣтъ остренькій стебелекъ травы, одинокій и пугливый. Нагрѣтыя солнцемъ скамейки жгли руку, а весь неподвижный воздухъ казался до густоты насыщеннымъ солнечнымъ теплomъ, ароматомъ земли и невидимой молодой зелени. Радостно и тихо было въ саду, и отчетливо доносилось съ улицы скрипѣніе ворота, поднимающаго изъ колодца бадью. Но Качеринъ не могъ наслаждаться этимъ покоемъ, и ему казалось, что сейчасъ и нельзя дѣлать этого, а нужно ждать того, что называется „праздникомъ“. И онъ переходилъ отъ одной скамейки къ другой, присаживался ненадолго и снова шелъ. Такъ онъ обошелъ весь садъ, чего-то ожидая и ища, опять побылъ въ конюшняхъ и нѣсколько разъ выглянулъ на улицу, точно праздникъ долженъ былъ притти именно оттуда. И до поздней ночи онъ ходилъ по дому и по двору и всѣмъ мѣшалъ, и всѣхъ молча допрашивалъ: скоро ли, наконецъ, придетъ онъ, вашъ праздникъ?

Въ субботу днемъ мать сказала ему:

— Пріѣхалъ твой Меркуловъ, сейчасъ видѣли его на Московской. Обѣщалъ вечеромъ притти.

Качеринъ вспыхнулъ и улыбнулся.

— И я рада,—отвѣтила на его улыбку мать.—Скучать и мѣшаться не будешь.

Все кругомъ стало теперь ясно и понятно для Качерина и онъ терпѣливо сталъ ожидать, зная, кого онъ теперь ждетъ: Меркулова. Онъ думалъ о томъ, что онъ будетъ разсказывать своему другу, и ему чудилось, что одного простого разсказа достаточно для того, чтобы распутать и разрѣшить узелъ, въ который завязалась его жизнь и который минуту тому назадъ представлялся неразрѣшимымъ. И онъ сдѣлалъ приготовленія для пріема Меркулова: добылъ черезъ Дашу бутылку краснаго вина и двѣ рюмки и все это поставилъ на окнѣ въ своей комнатѣ. Въ эту минуту онъ забылъ, что однимъ изъ пороковъ, внушавшихъ ему отвращеніе къ себѣ, была пріобрѣтенная въ этомъ году привычка къ вину.

Наступалъ вечеръ и большой домъ началъ успокаиваться. Рѣже хлопала дверь изъ кухни и умолкли въ дѣтской ворчливые звуки нянькиныхъ нотацій и звонкіе голоса дѣтей. Качеринъ прошелся по чистымъ и торжественно молчаливымъ комнатамъ, сумеречно освѣщеннымъ вздрагивающимъ огнемъ лампадъ. Бѣлыя кисейныя занавѣси у оконъ также, казалось, вздрагивали, и было все немного и страшно, и весело, полно тихаго и свѣтлаго ожиданія,—такъ, какъ и должно быть въ такой большой и хорошій праздникъ.

Сейчасъ придетъ Меркуловъ. Что-нибудь задержало его.

Тихо было на дворѣ и, въ саду, куда прошелся Качеринъ. Въ конюшнѣ громко стукнула копытомъ ло-

шадь, и онъ вздрогнулъ отъ этого звука и подумалъ: сейчасъ придетъ Меркуловъ. У раскрытыхъ дверей сарая горѣлъ фонарь и кучеръ Евменъ мазалъ чѣмъ-то свои сапоги.

— Скоро и къ утрени, а?—ласково спросилъ онъ, узнавъ барчука въ смутно темнѣвшей тоненькой фигуркѣ и добродушно подмигнулъ:—а Дашку съ куличами уже услали!

Онъ зналъ о любви Качерина къ Дашѣ, какъ знали это и всѣ въ домѣ, кромѣ родителей, и покровительствовалъ ей.

Почему же не идетъ Меркуловъ?

Еще разъ Качеринъ прошелся по всѣмъ мѣстамъ, гдѣ онъ уже былъ въ этотъ вечеръ и, стыдясь самого себя, отправился къ калиткѣ. Онъ былъ увѣренъ, что когда откроетъ ее и выглянетъ на улицу, увидитъ подходящаго Меркулова и услышитъ его милый голосъ: „Здравствуй, Коля“. Осторожно, медленно Качеринъ открылъ скрипнувшую калитку, выглянулъ, потомъ вышелъ на улицу и сѣлъ на холодныя ступени каменнаго крыльца. Безлюдно и тихо было на улицѣ. Издалека послышался звукъ экипажа и Качеринъ приподнялся. Ближе. Всѣми своими желѣзными частями забренчала разбитая пролетка, и уже по одному звуку онъ догадался, что это возвращался одинъ, безъ сѣдока, запоздавшій извозчикъ. Слышно стало, какъ ухаютъ колеса въ промытыхъ водой колдобинахъ дороги и расплескивается подъ копытами жидкая грязь— и вновь настала глубокая тишина апрѣльской темной ночи. Долго еще сидѣлъ Качеринъ и много разъ обманывался, думая, что вотъ, наконецъ, идетъ Меркуловъ.

Не пришелъ Меркуловъ.

Словами не могъ опредѣлить Качеринъ того чувства, которое охватило его, когда онъ, нахолодавшійся,

вернулся въ свою чистую и свѣтлую комнату. Онъ задыхался отъ гнѣва, тоски и слезъ, комкомъ собравшихся въ горлѣ. Онъ мысленно произносилъ упреки, которые онъ сдѣлалъ бы теперь, если бы пришелъ Меркуловъ, но они не складывались въ фразы и переходили въ дикій и неосмысленный крикъ:

— Подлецъ! подлецъ!

Развѣ стоитъ послѣ этого жить? Полгода не видались они; полгода днемъ и ночью думалъ онъ о той минутѣ, когда увидитъ своего друга и все разскажетъ ему, какъ тяжело и мучительно жить, когда нѣтъ смысла въ жизни, когда нѣтъ души кругомъ, съ которой можно было бы подѣлиться своимъ горемъ. Полгода не видѣлись—и онъ не могъ притти и остался съ другими пошлыми людьми, которые интересны ему, дороги и милы! И Качерину кажется, что все страстное ожиданіе, которое такъ долго томило его, которое онъ видѣлъ начертаннымъ на всѣхъ лицахъ и вещахъ, относилось къ одному Меркулову. Одинъ онъ, и только онъ, несъ съ собой отвѣтъ на всѣ мучительные вопросы и обѣщалъ свѣтъ и радость, и успокоеніе. О, если бы онъ пришелъ!

Подлецъ!

Качеринъ ставитъ на столъ бутылку съ краснымъ виномъ и двѣ рюмки и съ искаженной усмѣшкой смотритъ на нихъ. Изъ той рюмки долженъ былъ пить онъ. Усмѣхаясь, и качая головой, Качеринъ наливаетъ обѣ рюмки, беретъ свою, чокается и пьетъ.

— За... твое здоровье!—говоритъ онъ вслухъ и не замѣчаетъ этого.

Смотри же ты, оставшійся съ пошлыми людьми, какъ гибнетъ твой другъ, который такъ любилъ тебя. Смотри, какъ въ одиночку, передъ тѣнью бывшаго, напивается онъ и падаетъ все ниже и ниже. Стоитъ-ли

жить, когда такъ ничтожны и подлы люди? Стоитъ-ли думать о себѣ, о своемъ достоинствѣ и жизни, когда ложь и обманъ царятъ надъ міромъ. Пусть гибнетъ все!

Уже цѣлыхъ двѣ рюмки выпилъ Качеринъ и не почувствовалъ хмѣля. Онъ ходилъ по комнатѣ, садился и вновь ходилъ, и хватался руками за грудь и голову. Ему чудилось, что сейчасъ въ нихъ разорвется что-то и кровь потечетъ изъ глазъ, вмѣсто безцвѣтныхъ слезъ. И то проклиналъ онъ, то молилъ, то о мести думалъ, то о смерти, и увѣренъ былъ, что никто на свѣтѣ не терпѣлъ такихъ мученій, какъ онъ, и ни къ кому не была такъ безжалостна жизнь и люди. И когда онъ вспоминалъ о свѣтлыхъ минутахъ ожиданія и о томъ, какъ долго и терпѣливо онъ ждалъ, ему хотѣлось нанести себѣ самое тяжелое и позорное оскорбленіе.

Въ дверь комнаты послышался стукъ.

— Коля, а ты развѣ въ церковь не пойдешь?— спросилъ голосъ матери.

Качеринъ поспѣшно схватилъ бутылку съ виномъ и рюмки и на цыпочкахъ отнесъ ихъ къ окну. Потомъ, усиленно стуча ногами, подошелъ къ двери и открылъ ее.

— А Меркуловъ-то твой не пришелъ,—сказала мать, оглядывая комнату.—Я думала, ты съ нимъ сидишь.

— Вѣроятно, задержалъ кто-нибудь,—отвѣчалъ Качеринъ равнодушно и беззаботно.

— Должно быть. У него такъ много знакомыхъ. А мы съ отцомъ уѣзжаемъ.

Мать еще разъ оглядѣла комнату и Качерину показалось, что она особенно долго смотрѣла на занавѣси окна, за которыми стояла бутылка, и вышла.

Качеринъ чувствовалъ, что въ жизни для него все уже кончилось и теперь безразлично, останется-ли онъ

дома или пойдетъ въ церковь. И ему захотѣлось пойти, чтобы увидѣть, какъ веселы и счастливы всѣ люди и какъ несчастенъ только онъ одинъ. Онъ нарочно будетъ смѣяться и шутить, и никто не догадается, что этотъ юноша, такой молодой, такой хорошій и веселый, думаетъ о смерти и только одной ея жаждетъ. Въ зеркало взглянули на него большіе глаза съ темными кругами и блѣдное, страдальческое лицо. Качеринъ нахмурилъ брови, потомъ горько улыбнулся и подумалъ, что онъ сейчасъ рисуется.

— И пусть рисуюсь. Вѣдь я негодяй,—съ усмѣшкой передернулъ онъ плечами.

Совсѣмъ близокъ былъ праздникъ, большой и загадочный, и Качеринъ снова ощутилъ замирающее чувство ожиданія, когда вышелъ изъ дому. Отовсюду въ церковь шли люди и топотъ безчисленныхъ ногъ отдавался въ тихой улицѣ и казалось, что умерли всѣ остальные звуки. Медленно и грузно шмурыгали ногами старухи, и пріостанавливались и вздыхали; частымъ мелкимъ топотомъ отдавалась походка дѣтей, и твердо и ровно стучали по камнямъ ноги взрослыхъ. И необыкновенная поспѣшность чувствовалась въ стремительномъ движеніи толпы впередъ, къ чему-то неизвѣстному, но радостному. Даже разговоровъ слышно не было, точно люди боялись потерять хоть одну минуту и опоздать, и Качеринъ невольно ускорилъ шаги и чѣмъ больше обгонялъ другихъ, тѣмъ сильнѣе торопился.

Но вотъ и гимназія. Въ большой залѣ, въ которой гимназисты гуляли во время перемѣнъ и свободныхъ уроковъ, рядами стояли куличи и около каждаго была зажженная свѣча. Отсюда не было слышно церковной службы, но прислуга, стоявшая у куличей, крестилась. По корридорамъ двигалась густая и пестрая толпа гимна-

зистовъ въ мундирахъ и барышень въ бѣлыхъ и цвѣтныхъ платьяхъ, и такъ странно было видѣть этихъ чужихъ веселыхъ, болтливыхъ людей въ корридорахъ, гдѣ раньше было все такъ строго и чинно, и ходили учителя во фракахъ и съ журналами. И всѣ гулявшіе смѣялись, говорили, и на всѣхъ лицахъ сіяла радость— повидимому, праздникъ для нихъ уже наступилъ. Какъ будто уже случилось что-то необыкновенно-радостное, или оно происходитъ сейчасъ и люди присматриваются. Высокая плотина, за которой люди копили для себя веселье, оставаясь въ ожиданіи его въ обмелѣвшемъ руслѣ жизни, казалось, дала уже трещины, и съ минуты на минуту готовилась рухнуть. Качеринъ чувствовалъ, какъ все выше и выше поднимаются вокругъ него волны свѣтлой радости и люди захлебываются въ нихъ. Онъ прислушивался къ разговорамъ; онъ вглядывался въ лица и допрашивалъ смѣющіеся глаза— и было во всѣхъ въ нихъ что-то новое, незнакомое и чуждое. Старыя знакомыя пошлости звучали страннымъ весельемъ и даже какъ будто бы умомъ. Люди встрѣчались, улыбались, говорили „здравствуйте“, и оно звучало, какъ поцѣлуй. При тепломъ сіяніи свѣчей, лившемся и сверху, и снизу, и съ боковъ разглаживались морщины на лицахъ и они становились неузнаваемыми, и въ глазахъ блестѣлъ новый огонекъ: то-ли отблескъ свѣчей, то-ли внутренняго свѣта. Все выше и выше поднимались волны бурнаго и громкаго веселья и смыкались надъ головой Качерина, но ни одна капля его не входила въ его грудь и не освѣжала пересохшія отъ жажды уста. И какъ тогда, въ классѣ, на мигъ блеснуло сознаніе одиночества и какъ молніей освѣтило черную пропасть, отдѣлявшую его, этого уныло блуждающаго по корридорамъ человѣка отъ всего міра и отъ людей.

— Праздникъ... Какъ страшно это — праздникъ,— шепталъ Качеринъ, сторонясь отъ толкавшихъ его веселыхъ, довольныхъ людей, которые такъ ласково глядѣли на него и такъ далеко были отъ него своими душами. И съ ужасомъ, который такъ легко сообщался его уму, Качеринъ съ поразительной ясностью представился самому себѣ въ видѣ какого-то отверженца, Каина, на которомъ лежитъ печать проклятія. Весь міръ живыхъ людей и неживыхъ предметовъ говорилъ на одномъ веселомъ, звучномъ языкѣ. Качеринъ одинъ не понималъ этого языка и мучился отъ дикаго сознанія одиночества.

И Качеринъ ушелъ изъ сверкающаго огнями зданія гимназіи, ища покоя въ темныхъ улицахъ. Но куда ни шелъ онъ, вездѣ встрѣчали его сіяющія церкви, и около нихъ шумно толпился народъ, а въ стекла оконъ онъ видѣлъ молодыя и старыя лица безъ морщинъ, и головы, медленно склонявшіяся послѣ крестнаго знаменія. Ни звука не доносилось изъ-за толстыхъ стеколъ, и эта нѣмая вереница свѣтлыхъ лицъ, трепетавшихъ подъ наплывомъ одного и того же глубокаго блаженнаго чувства единенія между собой и Богомъ, наводила страхъ на молодого отверженца. Такъ переходилъ онъ отъ одной церкви къ другой и всюду заглядывалъ въ окна и видѣлъ однѣ и тѣ же мѣрно склонявшіяся головы и беззвучно шепчущія губы. И все страннѣе становилось Качерину. Ему чудилось, что это все одна и та же церковь съ одними и тѣми же людьми выростаетъ у него передъ глазами и загораживаетъ дорогу, и гремитъ всѣми своими горящими окнами, всѣми своими колоколами грозными, могучими:

— Проклятый! Проклятый!

И когда Качеринъ вспоминалъ свое недавнее горе отъ неприхода и измѣны Меркулова, онъ понималъ,

какъ оно ничтожно и слабо передъ этимъ страхомъ одиночества и заброшенности, охватившимъ его душу. И еще болѣе загадочнымъ и страшнымъ становился праздникъ, который онъ, наконецъ, видѣлъ всюду и котораго не чувствовалъ и не понималъ. Смолкъ грозно-веселый говоръ колоколовъ, съ самыхъ отдаленныхъ концовъ темнаго города посылавшихъ ему проклятіе и насмѣшку, и Качеринъ совершенно машинально за толпой мѣщанъ полѣзъ на какую-то колокольню. Непроглядный мракъ охватилъ его на переходахъ крутыхъ и узенькихъ лѣстницъ. Впереди скрипѣли ступени подъ тяжелыми шагами идущихъ и Качеринъ, одной рукой держась за скользкія перила, другую протягивалъ впередъ и думалъ, какъ глухо здѣсь и таинственно и непохоже на то, что недалеко внизу молится тысячная толпа и поютъ священники и пѣвчіе.

Но вотъ голову его охватило нѣжнымъ холодкомъ весенней ночи и возлѣ себя онъ увидѣлъ мѣдныя, молчаливо отдыхавшія чудовища, а внизу крыши домовъ, плоскія, какъ будто лежащія на мостовой. На желѣзныхъ откосахъ горѣли плошки и пламя отъ фителей сгибалось отъ неслышнаго, только ими ощутимаго вѣтерка. И куда не хваталъ взоръ, всюду онъ видѣлъ такія же мирно молчащія колокольни и огоньки плошекъ, взобравшихся такъ высоко, какъ звѣзды. И здѣсь былъ праздникъ, но другой, чѣмъ внизу—кроткій, торжественный и нѣжный, какъ ласка весенняго воздуха. Онъ не мучилъ Качерина, не дразнилъ его своимъ яркимъ блескомъ и шумнымъ весельемъ, а входилъ въ его грудь, ласковый и тихій, и что-то теплое переливалось въ сердцѣ. И когда Качеринъ прикоснулся рукой къ холодному краю колокола, голосъ котораго такимъ страшнымъ и жестокимъ казался снизу, онъ зазвенѣлъ тихо и немного грустно. Точно

и его мѣдную грудь утомили бурные звуки громкаго ликованія.

Задумчивый и смягченный Качеринъ спустился съ колокольни и вошелъ внутрь церкви, которая стала близкой ему и дорогой, такъ какъ одна она изъ всѣхъ церквей такъ дружески и хорошо встрѣтила его. Вѣроятно, то былъ бѣдный приходъ, или всѣ хорошо одѣтые, богатые люди стояли ближе къ алтарю и къ Богу, какъ думали они, только въ тѣсной толпѣ молящихся не было раздражающей пестроты и яркости праздничныхъ одеждъ и лишь на лицахъ ихъ свѣтлѣлъ праздникъ, такой же кроткій и тихій, какъ и наверху. Пробираясь осторожно къ стѣнѣ, Качеринъ увидѣлъ дѣвушку его лѣтъ, въ коричневомъ форменномъ платьѣ гимназистки, и остановился немного сзади нея. Она долго не замѣчала его пристальнаго взгляда, но потомъ обернулась и кивнула головой, такъ какъ они были знакомы, и улыбнулась ласково и привѣтливо. Ни смущенія, ни любопытства не прочелъ онъ во взорѣ ея ясныхъ глазъ и улыбка ея была такъ же проста, довѣрчива и мила, какъ мило и просто было все ея молодое красивое лицо. Довѣрчивость и простота читались въ медленномъ поднятіи густыхъ рѣсницъ, въ прозрачной и чистой краскѣ щекъ, а особенно говорили о нихъ, казалось Качерину, простенькія и наивно милыя колечки темныхъ волосъ, поднимавшихся отъ бѣлой шеи. И какъ будто такъ и нужно было случиться, какъ оно случилось: чтобы онъ пришелъ сюда и сталъ здѣсь возлѣ нея, и иначе не могло быть. Кто-то вздохнулъ сзади Качерина глубоко и продолжительно, чей-то молитвенный шопотъ проникалъ въ его ухо, а онъ смотрѣлъ на золоченый иконостасъ, задернутый синими клубами дыма и тускло сверкавшій, и на милыя колечки волосъ, и на бѣлую нѣжную руку, неподвижно

державшую свѣчу, и не понималъ, что такое жгучее поднимается въ немъ. Чья-то рука осторожно коснулась его плеча и протянулась впередъ съ бѣленькой свѣчкой, обвитой тоненькой полоской золота.

— Спасителю!—тихо шепнулъ незнакомый голосъ.

Качеринъ также осторожно коснулся плеча дѣвушки и шепнулъ, протягивая свѣчу:

— Спасителю!

Она не разслышала, такъ какъ голосъ его былъ глухъ и прерывался, вопросительно ласково подняла густыя рѣсницы и ближе наклонила ухо. И такъ много было трогательной довѣрчивости въ этомъ простомъ движеніи, и съ такой непостижимой, чудной силой оно разрушило стѣну, за которой, чуждая міру и людямъ, мучительно содрагалась одинокая душа. Волны дивнаго веселья, прозрачныя, свѣтлыя, подхватили ее и понесли, счастливую въ своей безпомощности. Передавъ свѣчу дрожащей рукой, Качеринъ упалъ на колѣни—и міръ утратилъ для него свою реальность. Онъ не понималъ, гдѣ онъ находится, кто стоитъ возлѣ него и что поютъ гдѣ-то тамъ и откуда льется на него такъ много свѣта. Онъ не зналъ, о чемъ плачетъ онъ такими горькими и такими счастливыми слезами, и стыдливо скрывалъ ихъ, по-дѣтски закрывая лицо руками. Такъ хорошо и уютно было ему внизу, у людскихъ ногъ, закрытому со всѣхъ сторонъ. Въ одинъ могучій и стройный аккордъ слилось все, что видѣли его глаза, ощущала душа: и она, эта дѣвушка, такая милая и чистая, къ которой страшно коснуться, какъ къ святынѣ, и жгучая печаль о себѣ, порочномъ и гадкомъ, и страстная разрывающая сердце мольба о новой, чистой и свѣтлой жизни. Не было радости въ этой дивной пѣснѣ пробудившейся души, но всю радость, какая существуетъ въ безконечномъ мірѣ, можно

было отдать за одинъ ея звукъ, чистый и печальный. И плакалъ Качеринъ и каждая дрожащая слеза гранила чистую печаль, и сверкала она въ душѣ, какъ драгоцѣнный алмазъ. Съ боязливой нѣжностью Качеринъ прижался губами къ коричневому платью и тоненькая полоска его, сжатая между его губами и осторожной рукой, не была грубымъ и пыльнымъ кускомъ дешевой матеріи, а была она тѣмъ чистымъ, тѣмъ свѣтлымъ, ради котораго только и стоитъ жить на свѣтѣ.

Наступилъ праздникъ и для Качерина.

ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ ДЛЯ ВОСКРЕСШИХЪ.

(1900)

Не случалось ли вамъ гулять по кладбищамъ?

Есть своя, очень своеобразная и жуткая поэзія въ этихъ огороженныхъ, тихихъ и заросшихъ сочной зеленью уголкахъ, такихъ маленькихъ и такихъ жадныхъ.

День изо-дня несутъ въ нихъ новыхъ мертвецовъ, и уже вотъ весь живой, огромный и шумный городъ перенесенъ туда, и уже народившійся новый ждетъ своей очереди — а они стоятъ, все такіе же маленькіе, тихіе и жадные. Особенный въ нихъ воздухъ, особенная тишина, и другой тамъ и лепетъ деревьевъ—элегическій, задумчивый, нѣжный. Словно, не могутъ позабыть эти бѣлыя березки всѣхъ тѣхъ заплаканныхъ глазъ, которые отыскивали небо между ихъ зеленѣющими вѣтвями, и словно не вѣтеръ, а глубокіе вздохи продолжаютъ колебать воздухъ и свѣжую листву.

Тихо, задумчиво бредете по кладбищу и вы. Ухо ваше воспринимаетъ тихіе отголоски глубокихъ стоновъ и слезъ, а глаза останавливаются на богатыхъ памятникахъ, скромныхъ деревянныхъ крестахъ и нѣмыхъ безвѣстныхъ могилахъ, укрывшихъ собой людей, которые нѣмы были всю жизнь, безвѣстны и незамѣтны. И надписи на памятникахъ читаете вы, и встаютъ въ

вашемъ воображеніи всѣ эти исчезнувшіе изъ міра люди. Видите вы ихъ молодыми, смѣющимися, любящими; видите вы ихъ бодрыми, говорливыми, дерзко увѣренными въ безконечности жизни.

И они умерли, эти люди.

* * *

Но развѣ нужно выходить изъ дому, чтобы побывать на кладбищѣ? Развѣ не достаточно для этого, чтобы мракъ ночи охватилъ васъ и поглотилъ дневные звуки.

Сколько памятниковъ богатыхъ и пышныхъ! Сколько нѣмыхъ, безвѣстныхъ мѣстъ!

Но развѣ нужна ночь, чтобы побыть на кладбищѣ? Развѣ не достаточно для этого дня — безпокойнаго, шумнаго дня, которому довлѣетъ злоба его?

Загляните въ душу свою, и будетъ ли тогда день или ночь, вы найдете тамъ кладбище. Маленькое, жадное, такъ много поглотившее. И тихій, грустный шепотъ услышите вы — отраженіе былыхъ тяжелыхъ стоновъ, когда дорогъ былъ мертвецъ, котораго опускали въ могилу, и вы не успѣли ни разлюбить его, ни позабыть; и памятники увидите вы, и надписи, которыя на половину смыты слезами, и тихія, глухія могилки— маленькіе, зловѣщіе бугорки, подъ которыми скрыто то, что было живо, хотя вы не знали его жизни и не замѣтили смерти. А, можетъ быть, это было самое лучшее въ вашей душѣ...

Но зачѣмъ говорю я: загляните. Развѣ и такъ не заглядывали вы въ ваше кладбище каждый день, сколько есть этихъ дней въ длинномъ, тяжеломъ году? Быть можетъ, еще только вчера вы вспоминали дорогихъ покойниковъ и плакали надъ ними; быть можетъ, еще только вчера вы похоронили кого-нибудь, долго и тяжело болѣвшаго и забытаго еще при жизни.

Вотъ подъ тяжелымъ мраморомъ, окруженная частой чугунной рѣшеткой, покоится любовь къ людямъ и сестра ея, вѣра въ нихъ. Какъ онѣ были красивы и чудно хороши, эти сестры! Какимъ яркимъ огнемъ горѣли ихъ глаза, какой дивной мощью владѣли ихъ нѣжныя, бѣлыя руки!

Съ какой лаской подносили эти бѣлыя руки холодное питье къ воспаленнымъ отъ жажды устамъ и кормили алчущихъ; съ какой милой осторожностью касались онѣ язвъ болящаго и врачевали ихъ!

И онѣ умерли, эти сестры. Отъ простуды умерли онѣ, какъ сказано на памятникѣ. Не выдержали леденящаго вѣтра, которымъ охватила ихъ жизнь.

А вотъ дальше покосившійся крестъ знаменуетъ мѣсто, гдѣ зарытъ въ землю талантъ. Какой онъ былъ бодрый, шумный, веселый; за все брался, все хотѣлъ сдѣлать и былъ увѣренъ, что покоритъ міръ.

И умеръ—какъ то незамѣтно и тихо. Пошелъ однажды на люди, долго пропадалъ тамъ, и вернулся разбитый, печальный. Долго плакалъ, долго порывался что-то сказать—и такъ, не сказавши, и умеръ.

Вотъ длинный рядъ маленькихъ, осѣвшихъ бугорковъ. Кто тамъ?

Ахъ, да. Это дѣти. Маленькія, рѣзвыя, шаловливыя надежды. Ихъ было такъ много, и такъ весело и людно было отъ нихъ на душѣ—но одна за одной умирали онѣ.

Какъ много было ихъ, и какъ весело было съ ними на душѣ!

Тихо на кладбищѣ, и печально шелестятъ листьями бѣлыя березки.

* * *

Пусть же воскреснутъ мертвецы! Раскройтесь, угрюмыя могилы, разрушьтесь вы, тяжелые памятники, и разступитесь о желѣзныя рѣшетки!

Хоть на день одинъ, хоть на мигъ одинъ дайте свободу тѣмъ, кого вы душите своей тяжестью и тьмой!

Вы думаете, они умерли? О, нѣтъ, они живы. Они молчали, но они живы.

Живы!

Дайте же имъ увидѣть сіяніе голубого, безоблачнаго неба, вздохнуть чистымъ воздухомъ весны, упиться тепломъ и любовью.

Приди ко мнѣ, мой уснувшій талантъ. Что такъ смѣшно протираешь ты глаза—тебя ослѣпило солнце? Не правда ли, какъ ярко свѣтитъ оно? Ты смѣешься? Ахъ, смѣйся, смѣйся—такъ мало смѣху у людей. Буду съ тобой смѣяться и я. Вонъ летитъ ласточка—полетимъ за нею! Ты отяжелѣлъ въ могилѣ? И что за странный ужасъ вижу я въ твоихъ глазахъ — словно отраженіе могильной тьмы? Нѣтъ, нѣтъ, не надо. Не плачь. Не плачь, говорю я тебѣ!

Вѣдь такъ прекрасна жизнь для воскресшихъ!

А вы, мои маленькія надежды! Какія милыя и смѣшныя личики у васъ. Кто ты, потѣшный, толстый карапузъ, я не узнаю тебя? И чему ты смѣешься? Или сама могила не устрашила тебя? Тише, мои дѣти, тише. Зачѣмъ ты обижаешь ее — ты видишь, какая она маленькая, блѣдненькая и слабая? Живите въ мирѣ — и не кружите меня. Развѣ не знаете вы, что я тоже былъ въ могилѣ и теперь кружится моя голова отъ солнца, отъ воздуха, отъ радости.

Ахъ, какъ прекрасна жизнь для воскресшихъ!

Пришли и вы, величавыя, чудныя сестры. Дайте поцѣловать ваши бѣлыя, нѣжныя руки. Что я вижу? Вы несете хлѣбъ? Васъ, нѣжныхъ, женственныхъ и слабыхъ не испугалъ могильный мракъ, и тамъ, подъ этой тяжелой громадой вы думали о хлѣбѣ для голодныхъ? Дайте поцѣловать мнѣ ваши ножки. Я знаю,

куда пойдутъ онѣ сейчасъ, ваши легкія быстрыя ножки, и знаю, что тамъ, гдѣ пройдутъ онѣ, выростутъ цвѣты—дивные, благоухающіе цвѣты. Вы зовете съ собой? Пойдемте.

Сюда, мой воскресшій талантъ—что зазѣвался тамъ на бѣгущія облачка? Сюда, мои маленькія, шаловливыя надежды.

Стойте!..

Я слышу музыку. Да не кричи же ты такъ, карапузъ! Откуда эти чудные звуки? Тихіе, стройные, безумно радостные и печальные. О вѣчной жизни говорятъ они.

... Нѣтъ, не пугайтесь. Это сейчасъ пройдетъ. Вѣдь отъ радости я плачу!

Ахъ, какъ прекрасна жизнь для воскресшихъ!

ГОСТИНЕЦЪ.

(1901)

I.

— Такъ ты приходи!—въ третій разъ попросилъ Сениста, и въ третій разъ Сазонка торопливо отвѣтилъ:

— Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не притти, конечно, приду.

И снова они замолчали. Сениста лежалъ на спинѣ, до подбородка укрытый сѣрымъ больничнымъ одѣяломъ и упорно смотрѣлъ на Сазонку; ему хотѣлось, чтобы Сазонка подольше не уходилъ изъ больницы и чтобы своимъ отвѣтнымъ взглядомъ онъ еще разъ подтвердилъ обѣщаніе не оставлять его въ жертву одиночеству, болѣзни и страху. Сазонкѣ же хотѣлось уйти, но онъ не зналъ, какъ сдѣлать это безъ обиды для мальчика, шмурыгалъ носомъ, почти сползалъ со стула и опять садился плотно и рѣшительно, какъ будто навсегда. Онъ бы еще посидѣлъ, если бы было о чемъ говорить, но говорить было не о чемъ, и мысли приходили глупыя, отъ которыхъ становилось смѣшно и стыдно. Такъ его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству—Семеномъ Ерофеевичемъ, что было отчаянно нелѣпо: Сениста былъ мальчишка-под-

мастерье, а Сазонка былъ солиднымъ мастеромъ и пьяницей, и Сазонкой звался только по привычкѣ. И еще двухъ недѣль не прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ далъ Сенистѣ послѣдній подзатыльникъ, и это было очень дурно, но и объ этомъ говорить тоже нельзя.

Сазонка рѣшительно началъ сползать со стула, но не доведя дѣла до половины, такъ же рѣшительно всползъ назадъ и сказалъ не то въ видѣ укоризны, не то утѣшенія:

— Такъ вотъ какія дѣла. Болитъ, а?

Сениста утвердительно качнулъ головой и тихо отвѣтилъ:

— Ну, ступай. А то онъ бранить будетъ.

— Это вѣрно,—обрадовался Сазонка предлогу.—Онъ и то приказывалъ: ты, говоритъ, поскорѣе. Отвезешь— и той же минутой назадъ. И чтобы водки ни-ни. Вотъ чортъ!

Но вмѣстѣ съ сознаніемъ, что онъ можетъ теперь уйти каждую минуту, въ сердце Сазонки вошла острая жалость къ большеголовому Сенистѣ. Къ жалости призывала вся необычная обстановка: тѣсный рядъ кроватей съ блѣдными хмурыми людьми; воздухъ, до послѣдней частицы испорченный запахомъ лѣкарствъ и испареніями больного человѣческаго тѣла; чувство собственной силы и здоровья. И уже не избѣгая просительнаго взгляда, Сазонка наклонился къ Сенистѣ и твердо повторилъ:

— Ты Семенъ... Сеня, не бойся. Приду. Какъ ослобонюсь, такъ и къ тебѣ. Развѣ мы не люди? Господи! Тоже и у насъ понятіе есть. Милый! Вѣришь мнѣ аль нѣтъ?

И съ улыбкой на почернѣвшихъ, запекшихся губахъ Сениста отвѣчалъ:

— Вѣрю.

— Вотъ!—торжествовалъ Сазонка. Теперь ему было легко и пріятно, и онъ могъ уже поговорить о подзатыльникѣ, случайно данномъ двѣ недѣли назадъ. И онъ осторожно намекнулъ, касаясь пальцемъ Сенина плеча:—а ежели тебя по головѣ кто билъ, такъ развѣ это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стриженая.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростомъ онъ былъ очень высокъ, волосы его, всѣ въ мелкихъ кудряшкахъ, расчесанные частой гребенкой, подымались пышной и веселой шапкой, и сѣрые припухшіе глаза искрились и безотчетно улыбались.

— Ну, прощевай!—сказалъ онъ, но не тронулся съ мѣста. Онъ нарочно сказалъ „прощевай“, а не прощай потому что такъ выходило душевнѣе, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сдѣлать что-то еще болѣе душевное и хорошее, такое, послѣ котораго Сенистѣ весело было бы лежать въ больницѣ, а ему легко было бы уйти. И онъ неловко топтался на мѣстѣ смѣшной въ своемъ дѣтскомъ смущеніи, когда Сениста опять вывелъ его изъ затрудненія:

— Прощай!—сказалъ онъ своимъ дѣтскимъ, тоненькимъ голоскомъ, за который его дразнили „гуслями“, и совсѣмъ просто, какъ взрослый, высвободилъ руку изъ-подъ одѣяла и, какъ равный, протянулъ ее Сазонкѣ. И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полнаго спокойствія, почтительно охватилъ тонкіе пальчики своей здоровой лапищей, подержалъ ихъ и со вздохомъ выпустилъ. Было что-то печальное и загадочное въ прикосновеніи тонкихъ горячихъ пальчиковъ: какъ будто Сениста былъ не только равнымъ всѣмъ людямъ на свѣтѣ, но и выше всѣхъ и всѣхъ свободнѣе, и происходило это оттого, что при-

надлежалъ онъ теперь невѣдомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеномъ Ерофеевичемъ.

— Такъ приходи же,—въ четвертый разъ попросилъ Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на мигъ осѣнило его своими безшумными крылами. Онъ снова сталъ мальчикомъ больнымъ и страдающимъ, и снова стало жаль его,—очень жаль.

Когда Сазонка вышелъ изъ больницы, за нимъ долго еще гнался запахъ лѣкарствъ и просящій голосъ:

— Приходи же!

И разводя руками, Сазонка отвѣчалъ.

— Милый! Да развѣ мы не люди?

II.

Подходила Пасха, и портновской работы было такъ много, что только одинъ разъ въ воскресенье вечеромъ Сазонкѣ удалось напиться, да и то не до-пьяна. Цѣлые дни, по весеннему свѣтлые и длинные, отъ пѣтуховъ до пѣтуховъ, онъ сидѣлъ на подмосткахъ у своего окна, по-турецки поджавъ подъ себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. Съ утра окно находилось въ тѣни, и въ разошедшіеся пазы тянуло холодкомъ, но къ полудню солнце прорѣзало узенькую желтую полоску, въ которой свѣтящимися точками играла приподнятая пыль. А черезъ полчаса уже весь подоконникъ съ набросанными на немъ обрѣзками матерій и ножницами горѣлъ ослѣпительнымъ свѣтомъ, и становилось такъ жарко, что нужно было, какъ лѣтомъ, распахнуть окно. И вмѣстѣ съ волной свѣжаго, крѣпкаго воздуха, пропитаннаго запахомъ прѣющаго навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почекъ, въ окно влетала шальная, еще слабосильная муха и приносился

разноголосый шумъ улицы. Внизу у заваленки рылись куры и блаженно кудахтали, нѣжась въ круглыхъ ямкахъ; на противоположной, уже просохшей сторонѣ улицы играли въ бабки ребята, и ихъ пестрый, звонкій крикъ и удары чугунныхъ плитъ о костяшки звучали задоромъ и свѣжестью. Ѣзды по улицѣ, находившейся на окраинѣ Орла, было совсѣмъ мало, и только изрѣдка, шажкомъ проѣзжалъ пригородній мужикъ; телѣга подпрыгивала въ глубокихъ колеяхъ, еще полныхъ жидкой грязи, и всѣ части ея стучали деревяннымъ стукомъ, напоминающимъ лѣто и просторъ полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревенѣвшіе пальцы не держали иглы, онъ босикомъ и безъ подпояски, какъ былъ, выскакивалъ на улицу, гигантскими скачками перелеталъ лужи и присоединялся къ играющимъ ребятамъ.

— Ну-ка, дай ударить,—просилъ онъ, и десятокъ грязныхъ рукъ протягивалъ ему плиты, и десятокъ голосовъ просилъ:

— За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбиралъ плиту поувѣсистѣе, засучивалъ рукавъ и, принявъ позу атлета, мечущаго дискъ, измѣрялъ прищуреннымъ глазомъ разстояніе. Съ легкимъ свистомъ плита вырывалась изъ его руки и, волнообразно подскакивая, скользящимъ ударомъ врывалась въ средину длиннаго кона, и пестрымъ дождемъ разсыпались бабки, и такимъ же пестрымъ крикомъ отвѣчали на ударъ ребята. Послѣ нѣсколькихъ ударовъ Сазонка отдыхалъ и говорилъ ребятамъ:

— А Сениста-то еще въ больницѣ, ребята.

Но, занятые своимъ интереснымъ дѣломъ, ребята принимали извѣстіе холодно и равнодушно.

— Надобно ему гостинца отнести. Вотъ ужо отнесу,— продолжалъ Сазонка.

На слово „гостинецъ“ отозвались многіе. Мишка Поросенокъ поддергивалъ одной рукой штанишки—другая держала въ подолѣ рубахи бабки—и серьезно совѣтовалъ:

— Ты ему гривенникъ дай.

Гривенникъ была та сумма, которую обѣщалъ дѣдъ самому Мишкѣ и выше ея не шло его представленіе о человѣческомъ счастьѣ. Но долго разговаривать о гостинцѣ не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался къ себѣ и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало блѣдно-желтымъ, какъ у больного, и веснушки у глазъ и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и когда хозяинъ, Гавріилъ Ивановичъ, смотрѣлъ на нихъ, ему непремѣнно представлялся уютный красный кабачокъ и водка, и онъ ожесточенно сплевывалъ и ругался.

Въ головѣ Сазонки было смутно и тяжело, и по цѣлымъ часамъ онъ неуклюже ворочалъ какую-нибудь одну мысль: о новыхъ сапогахъ или гармоникѣ. Но чаще всего онъ думалъ о Сенистѣ и о гостинцѣ, который онъ ему отнесетъ. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивалъ хозяинъ—и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки; какъ онъ приходитъ къ Сенистѣ въ больницу и подаетъ ему гостинецъ, завернутый въ ситцевый каемчатый платокъ. Часто въ тяжелой дремѣ онъ забывалъ, кто такой Сениста и не могъ вспомнить его лица, но каемчатый платокъ, который нужно еще купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на немъ не совсѣмъ крѣпко завязаны. И всѣмъ: хозяину, хозяйкѣ, заказчикамъ и ребятамъ Сазонка говорилъ, что пойдетъ къ мальчику непремѣнно на первый день Пасхи.

— Ужъ такъ нужно,—твердилъ онъ.—Причешусь, и той же минутой къ нему. На, милый, получай! Но, говоря это, онъ видѣлъ другую картину: распахнутыя двери краснаго кабачка и въ темной глубинѣ ихъ залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознаніе своей слабости, съ которой онъ не можетъ бо ротся, и хотѣлось кричать громко и настойчиво.

— Къ Сенистѣ пойду! Къ Сенистѣ.

А голову наполняла сѣрая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платокъ выдѣлялся изъ нея. Но не радость въ немъ была, а суровый урокъ и грозное предостереженіе.

III.

И на первый день Пасхи, и на второй Сазонка былъ пьянъ, дрался, былъ избитъ и ночевалъ въ участкѣ. И только на четвертый день удалось ему выбраться къ Сенистѣ.

Улица, залитая солнечнымъ свѣтомъ, пестрѣла яркими пятнами кумачевыхъ рубахъ и веселымъ оскаломъ бѣлыхъ зубовъ, грызущихъ подсолнухи; играли вразбродъ гармоники, стучали чугунныя плиты о костяшки, и голосисто оралъ пѣтухъ, вызывая на бой сосѣдскаго пѣтуха. Но Сазонка не глядѣлъ по сторонамъ. Лицо его, съ подбитымъ глазомъ и разсѣченной губой, было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а какъ-то растерянно торчали отдѣльными космами. Было совѣстно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что предстанется онъ Сенистѣ не во всей своей красѣ—въ красной шерстяной рубахѣ и жилеткѣ,—а пропившійся, паскудный, воняющій перегорѣвшей водкой. Но чѣмъ ближе подходилъ онъ къ больницѣ, тѣмъ легче ему становилось, и глаза чаще опускались внизъ, направо, гдѣ

бережно висѣлъ въ рукѣ узелокъ съ гостинцемъ. И лицо Сенисты видѣлось теперь совсѣмъ живо и ясно съ запекшимися губами и просящимъ взглядомъ.

— Милый, да развѣ? Ахъ, Господи!—говорилъ Сазонка и крупно надбавлялъ шагу. Вотъ и больница—желтое, громадное зданіе, съ черными рамами оконъ, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вотъ и длинный корридоръ, и запахъ лѣкарствъ, и неопредѣленное чувство жути и тоски. Вотъ и палата, и постель Сенисты..

Но гдѣ же самъ Сениста?

— Вамъ кого?—спросила вошедшая слѣдомъ сидѣлка.

— Мальчикъ тутъ одинъ лежалъ. Семенъ. Семенъ Ерофеевъ. Вотъ на этомъ мѣстѣ,—Сазонка указалъ пальцемъ на пустую постель.

— Такъ нужно допрежде спрашивать, а то ломитеся зря,—грубо сказала сидѣлка. И не Семенъ Ерофеевъ, а Семенъ Пустошкинъ.

— Ерофеевъ—это по отечеству. Родителя звали Ерофеемъ, такъ вотъ онъ и выходитъ—Ерофеичъ,—объяснилъ Сазонка, медленно и страшно блѣднѣя.

— Померъ вашъ Ерофеичъ. А только мы этого не знаемъ: по отчеству. По нашему—Семенъ Пустошкинъ. Померъ, говорю.

— Вотъ какъ-съ!—благопристойно удивился Сазонка, блѣдный настолько, что веснушки выступали рѣзко, какъ чернильныя брызги.—Когда же-съ?

— Вчера послѣ вечеренъ.

— А мнѣ можно...—запинаясь, попросилъ Сазонка.

— Отчего нельзя?—равнодушно отвѣтила сидѣлка.—Спросите, гдѣ мертвецкая, вамъ покажутъ. Да вы не убивайтесь! Кволый онъ былъ, не жилецъ.

Языкъ Сазонки разспрашивалъ дорогу вѣжливо и обстоятельно, ноги твердо несли его въ указываемомъ

направленіи, но глаза ничего не видѣли. И видѣть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они установились въ мертвое лицо Сенисты. Тогда же ощутился и страшный холодъ, стоявшій въ мертвецкой, и все кругомъ стало видно: покрытыя сырыми пятнами стѣны, окно, занесенное паутиной; какъ бы ни свѣтило солнце, небо черезъ это окно всегда казалось сѣрымъ и холоднымъ, какъ осенью. Гдѣ-то съ перерывами безпокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадетъ одна—капъ!—и долго послѣ того въ воздухѣ носится жалобный, звенящій звукъ.

Сазонка отступилъ на шагъ назадъ и громко сказалъ:

— Прощевай, Семенъ Ерофеичъ.

Затѣмъ опустился на колѣни, коснулся лбомъ сырого пола и поднялся.

— Прости меня, Семенъ Ерофеичъ,—такъ-же раздѣльно и громко выговорилъ онъ и снова упалъ на колѣни и долго прижимался лбомъ, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было такъ тихо, какъ бываетъ только тамъ, гдѣ лежитъ мертвецъ. И черезъ равные промежутки падали въ жестяной тазъ капельки, падали и плакали—тихо, нѣжно.

IV.

Тотчасъ за больницей городъ кончался, и начиналось поле, и Сазонка побрелъ въ поле. Ровное, не нарушаемое ни деревомъ, ни строеніемъ, оно привольно раскидывалось вширь, и самый вѣтерокъ казался его свободнымъ и теплымъ дыханіемъ. Сазонка сперва шелъ по просохшей дорогѣ, потомъ свернулъ влѣво и прямикомъ по пару и прошлогоднему жнитву направился къ рѣкѣ. Мѣстами земля была еще сыровата,

и тамъ послѣ его прохода оставались слѣды его ногъ съ темными углубленіями каблуковъ.

На берегу Сазонка улегся въ небольшой покрытой травой ложбинкѣ, гдѣ воздухъ былъ неподвиженъ и тепелъ, какъ въ парникѣ, и закрылъ глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытыя вѣки теплой и красной волной; высоко въ воздушной синевѣ звенѣлъ жаворонокъ, и было пріятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и рѣчка струилась узенькимъ ручейкомъ, далеко на противоположномъ низкомъ берегу, оставивъ слѣды своего буйства: огромныя, ноздреватыя льдины. Онѣ кучками лежали другъ на другѣ и бѣлыми треугольниками подымались вверхъ навстрѣчу огненнымъ безпощаднымъ лучамъ, которые шагъ за шагомъ точили и сверлили ихъ. Въ полудремѣ Сазонка откинулъ руку—подъ нее попало что-то твердое, обернутое матеріей.

Гостинецъ.

Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнулъ:

— Господи! Да что же это?

Онъ совершенно забылъ про узелокъ и испуганными глазами смотрѣлъ на него: ему чудилось, что узелокъ самъ своей волей пришелъ сюда и легъ рядомъ, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядѣлъ—глядѣлъ, не отрываясь—и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнѣвъ подымались въ немъ. Онъ глядѣлъ на каемчатый платокъ—и видѣлъ, какъ на первый день, и на второй, и на третій Сениста ждалъ его и оборачивался къ двери, а онъ не приходилъ. Умеръ одинокій, забытый—какъ щенокъ, выброшенный въ помойку. Только бы на день раньше—и потухающими глазами онъ увидѣлъ бы гостинецъ, и возрадовался бы дѣтскимъ своимъ сердцемъ, и безъ боли, безъ ужа-

сающей тоски одиночества, полетѣла бы его душа къ высокому небу.

Сазонка плакалъ, впиваясь руками въ свои пышные волосы и катаясь по землѣ. Плакалъ и, подымая руки къ небу, жалко оправдывался:

— Господи! Да развѣ мы не люди?

И прямо разсѣченной губой онъ упалъ на землю— и затихъ въ порывѣ нѣмого горя. Лицо его мягко и нѣжно щекотала молодая трава; густой, успокаивающій запахъ подымался отъ сырой земли, и была въ ней могучая сила и страстный призывъ къ жизни. Какъ вѣковѣчная мать земля принимала въ свои объятія грѣшнаго сына и тепломъ, любовью и надеждой поила его страдающее сердце.

А далеко въ городѣ нестройно гудѣли веселые праздничные колокола.

КУСАКА.

(1901)

I.

Она никому не принадлежала; у нея не было собственнаго имени, и никто не могъ бы сказать, гдѣ находилась она во всю долгую морозную зиму и чѣмъ кормилась. Отъ теплыхъ избъ ее отгоняли дворовыя собаки, такія же голодныя, какъ и она, но гордыя и сильныя своею принадлежностью къ дому; когда, гонимая голодомъ или инстинктивною потребностью въ общеніи, она показывалась на улицѣ,—ребята бросали въ нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя отъ страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась въ глубинѣ большого сада, въ одномъ ей извѣстномъ мѣстѣ. Тамъ она зализывала ушибы и раны и въ одиночествѣ копила страхъ и злобу.

Только одинъ разъ ее пожалѣли и приласкали. Это былъ пропойца мужикъ, возвращавшійся изъ кабака. Онъ всѣхъ любилъ и всѣхъ жалѣлъ и что-то говорилъ себѣ подъ носъ о добрыхъ людяхъ и своихъ надеждахъ на добрыхъ людей; пожалѣлъ онъ и собаку гряз-

ную и некрасивую, на которую случайно упалъ его пьяный и безцѣльный взглядъ.

— Жучка!—позвалъ онъ ее именемъ, общимъ всѣмъ собакамъ.—Жучка! поди сюда, не бойся!

Жучкѣ очень хотѣлось подойти; она виляла хвостомъ, но не рѣшалась. Мужикъ похлопалъ себя рукой по колѣнкѣ и убѣдительно повторилъ:

— Да пойди, дура! Ей-Богу, не трону!

Но пока собака колебалась, все яростнѣе размахивая хвостомъ и маленькими шажками подвигаясь впередъ, настроеніе пьянаго человѣка измѣнилось. Онъ вспомнилъ всѣ обиды, нанесенныя ему добрыми людьми, почувствовалъ скуку и тупую злобу, и, когда Жучка легла передъ нимъ на спину, съ размаху ткнулъ ее въ бокъ носкомъ тяжелаго сапога.

— У-у, мразь! Тоже лѣзетъ!

Собака завизжала. Больше отъ неожиданности и обиды, чѣмъ отъ боли, а мужикъ, шатаясь, побрелъ домой, гдѣ долго и больно билъ жену и на кусочки изорвалъ новый платокъ, который на прошлой недѣлѣ купилъ ей въ подарокъ.

Съ тѣхъ поръ собака не довѣряла людямъ, которые хотѣли ее приласкать, и, поджавъ хвостъ, убѣгала, а иногда со злобою набрасывалась на нихъ и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась подъ террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и безкорыстно сторожила ее: выбѣгала по ночамъ на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое мѣсто, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало нѣкоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черныя окна пустой дачи угрюмо глядѣли на обледенѣвшій неподвижный садъ. Иногда въ нихъ какъ будто вспыхивалъ

голубоватый огонекъ: то отражалась на стеклѣ упавшая звѣзда, или остророгій мѣсяцъ посылалъ свой робкій лучъ.

II.

Наступила весна, и тихая дача огласилась громкимъ говоромъ, скрипомъ колесъ и грузнымъ топотомъ людей, переносящихъ тяжести. Пріѣхали изъ города дачники, цѣлая веселая ватага взрослыхъ, подростковъ и дѣтей, опьяненныхъ воздухомъ, теплomъ и свѣтомъ; кто-то кричалъ, кто-то пѣлъ, смѣялся высокимъ женскимъ голосомъ.

Первой, съ кѣмъ познакомилась собака, была хорошенькая дѣвушка въ коричневомъ форменномъ платьѣ, выбѣжавшая въ садъ. Жадно и нетерпѣливо, желая охватить и сжать въ своихъ объятіяхъ все видимое, она посмотрѣла на ясное небо, на красноватые сучья вишенъ и быстро легла на траву, лицомъ къ горячему солнцу. Потомъ такъ же внезапно вскочила и, обнявъ себя руками, цѣлуя свѣжими устами весенній воздухъ, выразительно и серьезно сказала:

— Вотъ весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И въ ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцѣпилась зубами въ раздувавшійся подолъ платья, рванула и такъ же беззвучно скрылась въ густыхъ кустахъ крыжовника и смородины.

— Ай, злая собака!—убѣгая, крикнула дѣвушка, и долго еще слышался ея взволнованный голосъ:—Мама, дѣти! не ходите въ садъ: тамъ собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..

Ночью собака подкралась къ заснувшей дачѣ и безшумно улеглась на свое мѣсто подъ террасой. Пахло людьми, и въ открытыя окна приносились тихіе зву-

ки кроткаго дыханія. Люди спали, были безпомощны и не страшны, и сабака ревниво сторожила ихъ: спала однимъ глазомъ и при каждомъ шорохѣ вытягивала голову съ двумя неподвижными огоньками фосфорически свѣтящихся глазъ. А тревожныхъ звуковъ было такъ много въ чуткой весенней ночи: въ травѣ шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось къ самому лоснящемуся носу собаки; хрустѣла прошлогодняя вѣтка подъ заснувшей птицей, и на близкомъ шоссе грохотала телѣга, и скрипѣли нагруженные возы. И далеко окрестъ въ неподвижномъ воздухѣ разстилался запахъ душистаго, свѣжаго дегтя и манилъ въ свѣтлѣющую даль.

Пріѣхавшіе дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко отъ города, дышали хорошимъ воздухомъ, видѣли вокругъ себя все зеленымъ, голубымъ и беззлобнымъ, дѣлало ихъ еще добрѣе. Тепломъ входило въ нихъ солнце и выходило смѣхомъ и расположеніемъ ко всему живущему. Сперва они хотѣли прогнать напугавшую ихъ собаку и даже застрѣлить ее изъ револьвера, если не уберется; но потомъ привыкли къ ея лаю по ночамъ и иногда по утрамъ вспоминали:

— А гдѣ же наша Кусака?

И это новое имя „Кусака“ такъ и осталось за ней. Случалось, что и днемъ замѣчали въ кустахъ темное тѣло, безслѣдно пропадавшее при первомъ движеніи руки, бросавшей хлѣбъ,—словно это былъ не хлѣбъ, а камень,—и скоро всѣ привыкли къ Кусакѣ, называли ее „своей“ собакой и шутили по поводу ея дикости и безпричиннаго страха. Съ каждымъ днемъ Кусака на одинъ шагъ уменьшала пространство, отдѣлявшее ее отъ людей; присмотрѣлась къ ихъ лицамъ и усвоила ихъ привычки: за полчаса до обѣда уже стояла въ ку-

стахъ и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее въ счастливый кругъ отдыхающихъ и веселящихся людей.

— Кусачка, поди ко мнѣ,—звала она къ себѣ.—Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебѣ дамъ, хочешь? Ну, пойди же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря такъ ласково, какъ это можно было при красивомъ голосѣ и красивомъ лицѣ, Леля подвигалась къ собакѣ и сама боялась: вдругъ укуситъ.

— Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенькій носикъ и такіе выразительные глазки. Ты не вѣришь мнѣ, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нея былъ такой хорошенькій носикъ и такіе выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцѣловавъ горячо, до красноты щекъ, все ея молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй разъ въ своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная навѣрно, ударятъ ее или приласкаютъ. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерѣшительно къ шершавой головѣ и, словно это было знакомъ неотразимой власти, свободно и смѣло забѣгала по всему шерстистому тѣлу, тормоша, лаская и щекоча.

— Мама, дѣти! глядите: я ласкаю Кусаку, — закричала Леля.

Когда прибѣжали дѣти, шумныя, звонкоголосыя, быстрыя и свѣтлыя какъ капельки разбѣжавшейся ртути, Кусака замерла отъ страха и безпомощнаго ожиданія: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударитъ ее, она уже не въ силахъ будетъ впиться въ тѣло обидчика своими острыми зубами: у нея отняли ея не-

примиримую злобу. И когда всѣ наперерывъ стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждомъ прикосновеніи ласкающей руки, и ей больно было отъ непривычной ласки, словно отъ удара.

III.

Всею своею собачьею душой расцвѣла Кусака. У нея было имя, на которое она стремглавъ неслась изъ зеленой глубины сада; она принадлежала людямъ и могла имъ служить. Развѣ не достаточно этого для счастья сабаки?

Съ привычкою къ умѣренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ѣла очень мало, но и это малое измѣнило ее до неузнаваемости; длинная шерсть, прежде висѣвшая рыжими, сухими космами и и на брюхѣ вѣчно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернѣла и стала лосниться, какъ атласъ. И когда она отъ нечего дѣлать выбѣгала къ воротамъ, становилась у порога и важно осматривала улицу вверхъ и внизъ, никому уже не приходило въ голову дразнить ее или бросить камнемъ.

Но такою гордою и независимою она бывала только наединѣ. Страхъ не совсѣмъ еще выпарился огнемъ ласкъ изъ ея сердца, и всякій разъ при видѣ людей, при ихъ приближеніи она терялась и ждала побоевъ. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудомъ, котораго она не могла понять, и на которое она не могла отвѣтить. Она не умѣла ласкаться. Другія собаки умѣютъ становиться на заднія лапки, тереться у ногъ и даже улыбаться и тѣмъ выражаютъ свои чувства, но она не умѣла.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было

мало, это не могло выразить ея восторга, благодарности и любви, — и съ внезапнымъ наитіемъ Кусака начала дѣлать то, что, быть можетъ, когда-нибудь она видѣла у другихъ собакъ, но уже давно забыла. Она нелѣпо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертѣлась вокругъ самой себя, и ея тѣло, бывшее всегда такимъ гибкимъ и ловкимъ, становилось неповоротливымъ, смѣшнымъ и жалкимъ.

— Мама, дѣти! смотрите, Кусака играетъ!—кричала Леля и, задыхаясь отъ смѣха, просила:

— Еще, Кусачка, еще! Вотъ такъ! Вотъ такъ...

И всѣ собирались и хохотали, а Кусака вертѣлась, кувыркалась и падала, и никто не видѣлъ въ ея глазахъ странной мольбы. И какъ прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видѣть ея отчаянный страхъ, такъ теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать въ ней приливъ любви, безконечно смѣшной въ своихъ неуклюжихъ и нелѣпыхъ проявленіяхъ. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь изъ подростковъ или дѣтей не кричалъ:

— Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертѣлась, кувыркалась и падала при несмолкаемомъ веселомъ хохотѣ. Ее хвалили при ней и за глаза, и жалѣли только объ одномъ, что при постороннихъ людяхъ, приходившихъ въ гости, она не хочетъ показать своихъ штукъ и убѣгаетъ въ садъ или прячется подъ террасой.

Постепенно Кусака привыкла къ тому, что о пищѣ не нужно заботиться, такъ какъ въ опредѣленный часъ кухарка дастъ ей помоевъ и костей, увѣренно и спокойно ложилась на свое мѣсто подъ террасой и уже искала и просила ласкъ. И отяжелѣла она: рѣдко бѣгала съ дачи, и когда маленькія дѣти звали ее съ собою въ лѣсъ, уклончиво виляла хвостомъ и неза-

мѣтно исчезала. Но по ночамъ все такъ же громокъ и бдителенъ былъ ея сторожевой лай.

IV.

Желтыми огнями загорѣлась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустѣть дачи и умолкать, какъ будто непрерывный дождь и вѣтеръ гасили ихъ, точно свѣчи, одну за другой.

— Какъ же намъ быть съ Кусакой?—въ раздумьѣ спрашивала Леля. Она сидѣла, охвативъ руками колѣна, и печально глядѣла въ окно, по которому скатывались блестящія капли начавшагося дождя.

— Что у тебя за поза, Леля! ну, кто такъ сидитъ?—сказала мать и добавила:—А Кусаку придется оставить. Богъ съ ней!

— Жа-а-лко,—протянула Леля.

— Ну, что подѣлаешь? Двора у насъ нѣтъ, а въ комнатахъ ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

— Жа-а-лко,—повторила Леля, готовая заплакать. Уже приподнялись, какъ крылья ласточки, ея темныя брови, и жалко сморщился хорошенькій носикъ, когда мать сказала:

— Догаевы давно уже предлагали мнѣ щеночка. Говорятъ, очень породистый и уже служитъ. Ты слышишь меня? А эта что—дворняжка!

— Жа-а-лко,—повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипѣли возы и застонали подъ тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора, и совсѣмъ не слышно было смѣха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя бѣду, Кусака убѣжала на край сада и оттуда, сквозь порѣдѣвшіе кусты, неотступно глядѣла на видимый ей уголокъ террасы и на сновавшія по немъ фигуры въ красныхъ рубахахъ.

— Ты здѣсь, моя бѣдная Кусачка,—сказала вышедшая Леля. Она уже была одѣта по-дорожному—въ то коричневое платье, кусокъ отъ котораго оторвала Кусака, и черную кофточку.—Пойдемъ со мной!

И онѣ вышли на шоссе. Дождь то принимался итти, то утихалъ, и все пространство между почернѣвшею землей и небомъ было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, какъ тяжелы они и непроницаемы для свѣта отъ насытившей ихъ воды, и какъ скучно солнцу за этою плотною стѣной.

Налѣво отъ шоссе тянулось потемнѣвшее жнивье, и только на бугристомъ и близкомъ горизонтѣ одинокими купами поднимались невысокіе разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возлѣ нея трактиръ съ желѣзной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенскаго дурачка, Илюшу.

— Дайте копеечку,—гнусавилъ протяжно дурачокъ, и злые, насмѣшливые голоса наперебой отвѣчали ему:

— А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они безъ веселья хохотали.

Прорвался солнечный лучъ, желтый и анемичный, какъ будто солнце было неизлѣчимо больнымъ; шире и печальнѣе стала туманная осенняя даль.

— Скучно, Кусачка!—тихо проронила Леля, и не оглядываясь, пошла назадъ. И только на вокзалѣ она вспомнила, что не простилась съ Кусакой.

V.

Кусака долго металась по слѣдамъ уѣхавшихъ людей, добѣжала до станціи и—промокшая, грязная—вернулась на дачу. Тамъ она продѣлала еще одну но-

вую штуку, которой никто, однако, не видалъ: первый разъ взошла на террасу и, приподнявшись на заднія лапы, заглянула въ стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но въ комнатахъ было пусто, и никто не отвѣтилъ Кусакѣ.

Поднялся частый дождь, и отовсюду сталъ надвигаться мракъ осенней длинной ночи. Быстро и глухо онъ заполнилъ пустую дачу; безшумно выползалъ онъ изъ кустовъ и вмѣстѣ съ дождемъ лился съ непривѣтнаго неба. На террасѣ, съ которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свѣтъ долго еще боролся съ тьмою и печально озарялъ слѣды грязныхъ ногъ, но скоро уступилъ и онъ.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнѣній, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, какъ отчаяніе, нотой ворвался этотъ вой въ монотонный, угрюмо покорный шумъ дождя, прорѣзалъ тьму и, замирая, понесся надъ темнымъ и обнаженнымъ полемъ.

Собака выла—ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышалъ этотъ вой, казалось, что это стонетъ и рвется къ свѣту сама безпросвѣтно-темная ночь, и хотѣлось въ тепло, къ яркому огню, къ любящему женскому сердцу.

Собака выла.

КНИГА.

(1901)

I.

Докторъ приложилъ трубку къ голой груди больного и сталъ слушать: большое, непомѣрно разросшееся сердце неровно и глухо колотилось о ребра, всхлипывало, какъ бы плача, и скрипѣло. И это была такая полная и зловѣщая картина близкой смерти, что докторъ подумалъ: „однако!“, а вслухъ сказалъ:

— Вы должны избѣгать волненій. Вы занимаетесь, вѣроятно, какимъ-нибудь изнурительнымъ трудомъ?

— Я писатель—отвѣтилъ больной и улыбнулся.— Скажите, это опасно?

Докторъ приподнялъ плечо и развелъ руками.

— Опасно, какъ и всякая болѣзнь.—Лѣтъ еще пятнадцать—двадцать—проживете. Вамъ этого хватитъ?— пошутилъ онъ и, съ уваженіемъ къ литературѣ, помогъ больному надѣть рубашку. Когда рубашка была надѣта, лицо писателя стало слегка синеватымъ, и нельзя было понять, молодъ онъ или уже совсѣмъ старикъ. Губы его продолжали улыбаться, ласково и недовѣрчиво.

— Благодарю на добромъ словѣ—сказалъ онъ. Виновато отведя глаза отъ доктора, онъ долго искалъ глазами, куда положить деньги за визитъ, и, наконецъ,

нашелъ: на письменномъ столѣ, между чернильницей и боченкомъ для ручекъ, было уютное, скромное мѣстечко. И туда положилъ онъ трехрублевую зелененькую бумажку, старую, выцвѣтшую, взлохматившуюся на сгибахъ.

„Теперь ихъ новыхъ, кажется, не дѣлаютъ“—подумалъ докторъ про зелененькую бумажку и почему-то грустно покачалъ головой.

Черезъ пять минутъ докторъ выслушивалъ слѣдующаго, а писатель шелъ по улицѣ, щурился отъ весенняго солнца и думалъ: почему всѣ рыжіе люди весною ходятъ по тѣневой сторонѣ, а лѣтомъ, когда жарко, по солнечной? Докторъ тоже рыжій. Еслибы онъ сказалъ пять или десять лѣтъ, а то двадцать—значитъ, я умру скоро. Немного страшно. Даже очень страшно, но...

Онъ заглянулъ къ себѣ въ сердце и счастливо улыбнулся.

Какъ свѣтитъ солнце! Какъ будто оно молодое, и ему хочется смѣяться и сойти на землю.

II.

Рукопись была толстая; листовъ въ ней было много; по каждому листу шли маленькія убористыя строчки, и каждая изъ нихъ была частицею души писателя. Костлявою рукою онъ благоговѣйно перебиралъ страницы, и бѣлый отсвѣтъ отъ бумаги падалъ на его лицо, какъ сіяніе, а возлѣ на колѣняхъ стояла жена, беззвучно цѣловала другую костлявую и тонкую руку и плакала.

— Не плачь, родная — просилъ онъ — плакать не нужно, плакать не о чемъ.

— Твое сердце... И я останусь одна во всемъ мірѣ. Одна, о Боже!

Писатель погладилъ рукою склонившуюся къ его колѣнямъ голову и сказалъ:

— Смотри.

Слезы мѣшали глядѣть ей, и частыя строки рукописи двигались волнами, ломались и расплывались въ ея глазахъ.

— Смотри!—повторилъ онъ.—Вотъ мое сердце. И оно навсегда останется съ тобою.

Это было такъ жалко, когда умирающій человѣкъ думалъ жить въ своей книгѣ, что еще чаще и крупнѣе стали слезы его жены. Ей нужно было живое сердце, а не мертвая книга, которую читаютъ всѣ: чужіе, равнодушные и нелюбящіе.

III.

Книгу стали печатать. Называлась она „Въ защиту обездоленныхъ“.

Наборщики разорвали рукопись по клочкамъ и каждый набиралъ только свой клочекъ, который начинался иногда съ половины слова и не имѣлъ смысла. Такъ въ словѣ „любовь“—„лю“ осталось у одного, а „бовь“ досталось другому, но это не имѣло значенія, такъ какъ они никогда не читали того, что набираютъ.

— Чтобъ ему пусто было, этому писакѣ! Вотъ анафемскій почеркъ!—сказалъ одинъ и, морщась отъ гнѣва и нетерпѣнія, закрылъ глаза рукою. Пальцы руки были черны отъ свинцовой пыли, на молодомъ лицѣ лежали темныя свинцовыя тѣни и, когда рабочій отхаркнулся и плюнулъ, слюна его была окрашена въ тотъ же темный и мертвенный цвѣтъ.

Другой наборщикъ, тоже молодой—тутъ старыхъ не было — вылавливалъ съ быстротою и ловкостью обезъяны нужныя буквы и тихонько пѣлъ:

„Эхъ судьба ль ты моя черная,
„Ты какъ ноша мнѣ чугунная“...

Дальше словъ пѣсни онъ не зналъ и мотивъ у него былъ свой однообразный и безхитростно-печальный, какъ шорохъ вѣтра въ осенней листвѣ.

Остальные молчали, кашляли и выплевывали темную слюну. Надъ каждымъ горѣла электрическая лампочка, а тамъ дальше, за стѣною изъ проволочной сѣтки, вырисовывались темные силуэты отдыхающихъ машинъ. Онѣ выжидательно вытягивали узловатыя черныя руки и тяжелыми, угрюмыми массами давили асфальтовый полъ. Ихъ было много, и пугливо прижималась къ нимъ молчаливая тьма, полная скрытой энергіи, затаеннаго говора и силы.

IV.

Книги пестрыми рядами стояли на полкахъ и за ними не видно было стѣнъ; книги высокими грудами лежали на полу; и позади магазина, въ двухъ темныхъ комнатахъ, лежали все книги, книги. И казалось, что безмолвно содрагается и рвется наружу скованная ими человѣческая мысль, и никогда не было въ этомъ царствѣ книгъ настоящей тишины и настоящаго покоя.

Сѣдобородый господинъ съ благороднымъ выраженіемъ лица почтительно говорилъ съ кѣмъ-то по телефону, шопотомъ выругался „идіоты!“ и крикнулъ.

— Мишка!—и, когда мальчикъ вошелъ, сдѣлалъ лицо неблагороднымъ и свирѣпымъ и погрозилъ пальцемъ:—тебѣ сколько разъ кричать? мерзавецъ!

Мальчикъ испуганно моргалъ глазами, и сѣдобородый господинъ успокоился. Ногой и рукой онъ выдвинулъ тяжелую связку книгъ, хотѣлъ поднять ее одною рукою—но сразу не могъ и кинулъ ее обратно на полъ.

— Вотъ отнеси къ Егору Ивановичу.

Мальчикъ взялъ обѣими руками за связку и не поднялъ.

— Живо!—крикнулъ господинъ.

Мальчикъ поднялъ и понесъ.

V.

На тротуарѣ Мишка толкалъ прохожихъ, и его погнали на середину улицы, гдѣ снѣгъ былъ коричневый и вязкій, какъ песокъ. Тяжелая кипа давила ему спину, и онъ шатался; извозчики кричали на него, и когда онъ вспомнилъ, сколько еще ему идти, онъ испугался и подумалъ, что сейчасъ умретъ. Онъ спустилъ связку съ плечъ и, глядя на нее, заплакалъ.

— Ты чего плачешь?—спросилъ прохожій.

Мишка плакалъ. Скоро собралась толпа, пришелъ сердитый городовой съ саблей и пистолетомъ, взялъ Мишку и книги и все вмѣстѣ повезъ на извозчикѣ въ участокъ.

— Что тамъ?—спросилъ дежурный околоточный надзиратель, отрываясь отъ бумаги, которую онъ составлялъ.

— Неподсильная ноша, ваше благородіе—отвѣтилъ сердитый городовой и ткнулъ Мишку впередъ.

Околоточный вытянулъ вверхъ одну руку, такъ что суставъ хрустнулъ и потомъ другую; потомъ поочередно вытянулъ ноги въ широкихъ, лакированныхъ сапогахъ. Глядя бокомъ, сверху внизъ, на мальчика, онъ выбросилъ рядъ вопросовъ:

— Кто? Откуда? Званіе? По какому дѣлу?

И Мишка далъ рядъ отвѣтовъ.

— Мишка. Крестьянинъ. Двѣнадцать лѣтъ. Хозяинъ послалъ.

Околоточный подошелъ къ связкѣ, все еще потягиваясь на ходу, отставляя ноги назадъ и выпячивая грудь, густо вздохнулъ и слегка приподнялъ книги.

— Ого!—сказалъ онъ съ удовольствіемъ. Оберточная бумага на краю оборвалась; околоточный отогнулъ ее и прочелъ заглавіе: „Въ защиту обездоленныхъ“.

— Ну-ка, ты — позвалъ онъ Мишку пальцемъ.— Прочти.

Мишка моргнулъ глазами и отвѣтилъ:

— Я неграмотный.

Околоточный засмѣялся:

— Ха-ха-ха!

Пришелъ небритый паспортистъ, дыхнулъ на Мишку водкой и лукомъ и тоже засмѣялся:

— Ха-ха-ха!

А потомъ составили протоколъ, и Мишка поставилъ подъ нимъ крестикъ.

ВЕСНОЙ.

(1902)

I.

Когда стемнѣло и въ комнатахъ зажгли огонь, онъ досталъ изъ-подъ кровати толстые непромокаемые сапоги и сталъ надѣвать ихъ. Отъ воды кожа съежилась и затвердѣла, сапогъ съ трудомъ входилъ на ногу, и съ гримасой злости и отвращенія Павелъ притопнулъ ногой. Потомъ, точно ослабѣвъ отъ сдѣланнаго усилія или вспомнивъ что-то важное, чего нельзя забывать ни на минуту, онъ безсильно бросилъ руки на постель, сгорбился, такъ что голова вошла въ плечи, какъ у больного или старика, и задумался. Въ домѣ ходили, разговаривали, весело стучали чайной посудой, и маленькая Катя, оставленная, очевидно, нянькой и добравшаяся до рояля, выстукивала все одну и ту же звонкую и веселую нотку,—а онъ сидѣлъ неподвижно, съ одной обутой ногой, смотрѣлъ въ полъ и думалъ о томъ важномъ и страшномъ, о чемъ нельзя забывать ни на минуту. И дышалъ онъ такъ тихо, что можно было стать рядомъ и не догадаться, что тутъ есть живой человѣкъ.

Мать увидѣла его, когда онъ проходилъ черезъ столовую, и тревожно спросила:

— Ты куда, Павликъ?

Павелъ, не оборачиваясь, отвѣтилъ:

— Къ товарищу.

Говорилъ онъ басомъ, и былъ длинный, съ узкими, покатыми плечами, не похожій ни на толстаго, коротко-шеяго отца, ни на малорослую мать. И когда онъ скрылся въ кухнѣ, черезъ которую ходили, обыкновенно, домашніе, мать подумала, что и на этотъ разъ онъ не поцѣловалъ ее, уходя, и что теперь онъ никого не цѣлуетъ: ни мать, ни отца, ни сестеръ. Два раза онъ возвращался домой пьяный, и въ столѣ у него, подъ тетрадями, она подсмотрѣла большой страшный револьверъ и предполагала, что у Павла романъ съ какой-нибудь дурной дѣвушкой, изъ-за которой онъ можетъ надѣлать бѣды. Отецъ его тоже хотѣлъ застрѣлиться, когда былъ женихомъ, и не застрѣлился только потому, что нигдѣ не могъ достать револьвера, и она отговорила его. „Всѣ они хотятъ стрѣляться“,—подумала она съ невольной улыбкой, но все-таки рѣшила завтра же украсть опасное оружіе и передать отцу. Пусть съ нимъ и разговариваетъ.

Ночь была черна отъ низкаго, покрытаго тучами неба и отъ черной земли, которая вся за послѣдніе дни пропиталась дождевой водой, и когда свѣтъ изъ окна падалъ на протоптанную среди грязи тропинку, она лоснилась, какъ черный атласъ. Фонарей на этой захолустной улицѣ не было, и Павелъ шагалъ наудачу; разъ онъ больно ударился колѣнкой о столбикъ и брезгливо сморщился: ненужная и вздорная боль мѣшала думать. Кругомъ находились сады и пахло такъ хорошо, какъ пахнетъ во время дождя въ лѣсу: сыростью, березовымъ листомъ и какими-то цвѣтами, которые только и пахнутъ въ сырую погоду. Низкія и плотныя тучи пригнетали душистый воздухъ къ землѣ,

и онъ былъ густой и теплый, какъ липовый медъ, и груди дѣлалось отъ него широко и больно. И ощущая эту странную, задумчивую и нѣжную боль, похожую на далекую пѣсню безъ словъ, Павелъ не могъ понять ее, какъ не могъ онъ понять ни весны, ни жизни, ни самого себя.

Казалось, что теплѣе не можетъ быть, но когда Павелъ вышелъ на берегъ рѣки и уже не видно было силуэтовъ домовъ и огоньковъ въ окнахъ, тьма стала глубокой и тяжелой и такъ близко надвигалась сверху и съ боковъ, точно хотѣла задушить. И грязь стала глубже и лужи чаще, и уже не пахло садами, а только широкой невидимой водой и тучами. Сапоги шлепали, и этотъ тупой, одинокій звукъ, раздававшійся за спиной и таинственно умолкавшій, когда Павелъ останавливался, навелъ на него страхъ. Нащупавъ въ карманѣ револьверъ, Павелъ положилъ на него руку и такъ, оглядываясь и прислушиваясь, дошелъ до желѣзнодорожной насыпи и по скользкимъ ступенькамъ взобрался на нее.

На мосту никого не было, и Павелъ тихо, стараясь не скрипѣть ногами по песку, чтобы не услыхалъ сторожъ, прошелъ мимо освѣщенной будки и скрылся во тьмѣ глубокой выемки, похожей на днище огромнаго длиннаго гроба. И тишина тутъ была такая, какъ въ гробу, и воздухъ неподвижный, сдавленный, какъ будто имъ никогда не дышалъ. За поворотомъ были сложены негодныя шпалы, на которыхъ часто сидѣлъ Павелъ, и теперь онъ ощупью нашелъ сырыя, исщепленныя полѣнья и сѣлъ, спустивъ ноги. И опять спина его сгорбилась и все тѣло охватило страшное безсиліе и покой, которымъ нельзя было вѣрить: гдѣ-то въ глубинѣ билось что-то тревожное, зловѣщее и требующее рѣшительнаго, смѣлаго и ужаснаго поступка.

— Вотъ тутъ я и лягу,—подумалъ Павелъ, вглядываясь въ невидимые рельсы.

Онъ уже цѣлую недѣлю ходилъ сюда и присматривался, и тутъ нравилось ему, такъ какъ все—и воздухъ и могильная тишина говорили о смерти и приближали къ ней. Когда онъ такъ сидѣлъ, тяжело, всѣмъ тѣломъ, и стѣны выемки охватывали его, ему казалось, что онъ уже наполовину умеръ и нужно сдѣлать немного, чтобы умереть совсѣмъ. Каждую весну, вотъ уже три года, онъ думалъ о смерти, а въ эту весну рѣшилъ, что умереть пора. Онъ ни въ кого не былъ влюбленъ, у него не было никакого горя и ему очень хотѣлось жить, но все въ мірѣ казалось ему ненужнымъ, безсмысленнымъ и оттого противнымъ до отвращенія, до брезгливыхъ судорогъ въ лицѣ.

И бывало это весной. Зимой онъ не замѣчалъ жизни и жилъ просто, какъ и всѣ, но когда сходилъ снѣгъ и земля становилась прекрасной, и обнажалось во всей загадочной красотѣ сіяющее небо, онъ чувствовалъ себя, какъ птица, у которой обрубили крылья и которую сдѣлали неуклюжимъ, медленно ползающимъ человѣкомъ. И крылатая душа трепетала и билась, какъ въ клѣткѣ, и непонятна и враждебна была вся эта красота міра, которая зоветъ куда-то, но не говоритъ куда. Потерявшійся, онъ шелъ къ людямъ съ безмолвнымъ вопросомъ—и всѣ людскія лица казались ему плоскими и тупыми, какъ у звѣрей, а рѣчи ихъ ненужными, вздорными и лишенными смысла, какъ бредъ или мычаніе животнаго. У нихъ въ домѣ была корова съ большими глупыми глазами, и ему казалось, что мать его, которую онъ любилъ, похожа на эту корову, и отъ этихъ дурныхъ мыслей онъ презиралъ себя.

Далеко за поворотомъ послышался гулъ, который

онъ ощутилъ скорѣе вздрогнувшимъ тѣломъ, чѣмъ слухомъ. Послышался и угасъ, будто свинцовый воздухъ и тьма задушили его. Блеснули мокрые рельсы и изъ-за черной стѣны медленно выплылъ огненный глазъ, одинокій и зловѣщій. Онъ сталъ прямо противъ Павла, и не видно было, подвигается онъ или нѣтъ, и хотѣлось, чтобы онъ закрылся или погасъ, но онъ смотрѣлъ, не мигая, зловѣщій и пристальный и становился все больше, все ярче и злѣе. Сердце Павла поднялось высоко, къ самому горлу—и упало, разбившись на тысячу короткихъ быстрыхъ толчковъ, отъ которыхъ пересохло во рту. Впившись пальцами въ сырыя бревна, онъ наполовину сдвинулся съ нихъ и вытянулъ ногу, касаясь носкомъ земли. И поза его была такая, какъ у человѣка, который хочетъ сдѣлать быстрый и рѣшительный прыжекъ, и когда свѣтъ фонаря упалъ на его глаза, они были расширены и въ нихъ былъ ужасъ. Медленно, какъ больной или усталый, прошелъ мимо Павла слабо освѣщенный паровозъ, а за нимъ, какъ тѣни, потянулись вагоны, грузно постукивая и колыхаясь. И чувствовалось, какъ тяжела ихъ угрюмая масса и какъ безпощадно дробили бы они тѣло попавшее подъ колеса.

Поѣздъ прошелъ, а Павлу все еще чудилось, что смерть еще тутъ, еще не ушла, и со страхомъ, которому онъ не могъ найти объясненія, онъ быстро соскользнулъ со шпалъ и пошелъ. На мосту онъ увидѣлъ сторожа и сказалъ ему:

— Добрый вечеръ!

Сторожъ освѣтилъ его фонаремъ, повернулся, ничего не сказалъ и ушелъ въ будку. И опять Павлу стало тяжело, и безнадежно спокойно. Онъ долго стоялъ, облокотившись на тонкія, желѣзныя перила, всматривался въ ровную тьму, такую же безнадежную и

ровную, какъ его тоска. И, покачавъ головой, онъ громко сказалъ:

— Завтра.

Когда Павелъ подходилъ къ дому, короткая майская ночь уже подходила къ концу, а у параднаго стояли два экипажа и окна были освѣщены. Отъ крыльца двинулась къ нему темная фигура, и встревоженный Павелъ узналъ дворника Василія.

— Что случилось?—спросилъ, зная навѣрное, что что-то случилось и что случившееся ужасно. Что съ мамой?

— Сергѣй Васильевичъ были въ клубѣ... Маменька велѣли подождать васъ тутъ.

— Что съ отцомъ?

Но онъ ужъ зналъ что. Вездѣ, въ кухнѣ, столовой и спальнѣ былъ яркій свѣтъ, рѣжущій глаза, и ходили люди. У няньки сѣдые волосы выбились изъ-подъ платка и она походила на вѣдьму, но глаза краснѣли отъ слезъ и голосъ былъ жалостливый и добрый. Павелъ оттолкнулъ ее, потомъ еще кого-то, кто цѣплялся за него и мѣшалъ пройти, и сразу оказался въ кабинетѣ. Все стояло тамъ, какъ всегда, и голая женщина улыбалась со стѣны, а на полу, посрединѣ комнаты лежалъ отецъ въ бѣлой ночной сорочкѣ, разорванной у ворота. Весь свѣтъ отъ лампы и свѣчей падалъ, казалось, только на него и оттого онъ былъ большой и страшный, и лица его не могъ узнать Павелъ. Оно желтѣло прозрачной и страшной желтизной и глаза закатились, бѣлки стали огромные и необыкновенные, какъ у слѣпого. Изъ-подъ простыни высунулась рука и одинъ толстый палецъ на ней, съ большимъ золотымъ перстнемъ, слабо шевелился, сгибаясь и разгибаясь, и точно пытаясь что-то сказать. Павелъ сталъ на колѣни, дрожащими губами поцѣловалъ еще живой, шевелившійся палецъ и, всхлипнувъ, сказалъ:

— Зачѣмъ на полу? Зачѣмъ на полу?

Кто-то изъ темноты отвѣтилъ:

— Вы не плачьте. Онъ еще останется живъ. Онъ былъ въ клубѣ и съ нимъ сдѣлался ударъ, но онъ еще останется живъ.

Изъ сосѣдней комнаты послышался вопль, хриплый, клокочущій и неудержимый, какъ хлынувшая черезъ плотину вода. Пронзительнымъ звукомъ онъ пронесся по комнатамъ, наполнилъ ихъ, и перешелъ въ жалобныя слова:

Го-лубчикъ мой... Сере-женька!...

Умирающій тихо шевелилъ пальцемъ, и хотя лицо было все-таки желто и неподвижно, казалось, что онъ слышитъ зовущій его голосъ, но не хочетъ почему-то отвѣчать. И Павелъ дико закричалъ:

— Папа! Да папа же!

II.

Теперь Павелъ былъ старшимъ въ домѣ и ему пришлось заказывать гробъ, ѣздить въ церковь за покровомъ и нанимать пѣвчихъ. Днемъ онъ немного заснулъ на дѣтской постели и ему приснилось, что онъ цѣлуетъ голую женщину, ту самую, что виситъ въ кабинетѣ. Сонъ былъ противный, но онъ скоро забылъ о немъ и все ходилъ, и все распоряжался, и такъ наступила ночь.

Все въ домѣ успокоилось. Мать, съ которой на панихидахъ три раза дѣлалось дурно, уснула съ маленькой Катей; Андрей и Шура тоже спали, наплакавшись за день, и только возилась въ кухнѣ прислуга, да въ дальней комнатѣ собравшіеся родственники пили чай. Когда вошелъ Павелъ, дядя Егоръ доказывалъ, что въ такія ночи нужно пить чай съ ромомъ или съ коньякомъ.

— Въ домѣ всегда нужно имѣть коньякъ, — говорилъ онъ,—потому что коньякъ очень хорошо дѣйствуетъ на организмъ. Простудишься ли, ноги ли промочишь, или какая непріятность сейчасъ выпилъ коньяку и испариной все выйдетъ. Павликъ, ты не хочешь стаканчикъ съ коньячкомъ? Выпей.

Лицо у дяди Егора было плоское и красное, и Павелъ подумалъ, что лучше было бы, если бы умеръ дядя Егоръ, а не отецъ. И онъ сурово отвѣтилъ:

— Не хочу.

Если посмотрѣть со двора на домъ, то сразу можно было подумать, что въ домѣ большой и веселый праздникъ: всѣ окна были освѣщены и цѣлые снопы свѣта падали отъ нихъ на землю. Но было что-то жуткое и необыкновенное въ этомъ домѣ, горѣвшемъ всѣми своими окнами среди темной ночи, и чувствовалось, что тамъ, въ одной изъ комнатъ его, лежитъ нѣмой и холодный мертвецъ. Онъ лежитъ, нѣмой неподвижный, и господствуетъ надъ всѣмъ домомъ, и все, что есть вокругъ, принадлежитъ ему и служитъ для него.

Павелъ ходилъ по двору взадъ и впередъ и повторялъ все одни и тѣ же слова, которыя остались у него въ памяти отъ панихиды:

— Со святыми упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Онъ повторялъ ихъ десятки и сотни разъ, то нѣжно, то съ безнадежнымъ отчаяніемъ, и каждое слово выговаривалъ ясно и глубоко, но вкладывалъ въ него совсѣмъ особенный смыслъ.

И всѣ эти слова значили одно: смерть. И всѣ мысли, какія были у Павла, значили одно: смерть. Изъ сада шелъ густой и сильный запахъ травы, деревьевъ и распустившагося жасмина, и запахъ этотъ значилъ все то же: смерть. И непонятно было, зачѣмъ этотъ

сладкій и веселый запахъ, когда умеръ человѣкъ, обонявшій его; зачѣмъ эти звѣзды и мягкая теплая тьма; зачѣмъ этотъ свѣтъ въ окнахъ, когда человѣкъ умеръ и лежитъ нѣмой и холодный, какъ глыба бездушнаго льда.

Въ темномъ сараѣ Павелъ нашелъ прислоненную къ стѣнѣ крышку широкаго гроба. Подъ ней будетъ лежать отецъ, и Павелъ забрался подъ нее и всталъ, стараясь быть неподвижнымъ и не дышать, какъ мертвецъ. Онъ думалъ, что такъ онъ скорѣе пойметъ, что такое смерть. Но отъ крышки шелъ пріятный запахъ свѣжаго теса, и было въ немъ, какъ въ запахѣ листвы, что-то противорѣчащее смерти, еще болѣе загадочное, чѣмъ она, и настойчиво зовущее. Павелъ закрывалъ глаза и думалъ, что и онъ будетъ также лежать и будетъ мертвъ, но сердце его громко стучало, и ему было жаль отца, а пріятный запахъ дерева обвѣвалъ его тонкой, живой и неразрывной паутинкой. И онъ не могъ представить, что будетъ когда-нибудь мертвъ. Когда онъ вышелъ изъ сарая, еще сильнѣе пахнуло ароматомъ цвѣтущаго сада, и откуда-то издалека пронеслась тихая, но торжествующая, опьяненная жизнью и любовью пѣснь соловья. И со всей острой жалостью измученнаго сердца, со всей неразгаданной страстной тоской, со всей прелестью майской ночи—жизнь была такъ прекрасна, что хотѣлось умереть — чтобы жить вѣчно.

Шатаясь, Павелъ дошелъ до забора, припалъ къ нему головой и долго плакалъ, повторяя запавшія въ память слова:

— Со святыми... упокой...

Но теперь они уже не значили: смерть.

На утро опять начались хлопоты. Пришелъ фотографъ, чтобы снять портретъ съ мертваго Сергѣя Ва-

сильевича, и было уже пора, такъ какъ покойникъ началъ портиться. Гробъ вынесли на террасу, гдѣ было свѣтлѣе, и фотографъ, остробородый и быстрый человѣкъ въ пиджачкѣ, долго приспособлялъ аппаратъ. Голова мертвеца лежала неудобно, и фотографу, видимо, хотѣлось сказать: потрудитесь немного повернуть ее и улыбнитесь—и съ снисходительной почтительностью, стараясь выказать свое пониманіе, что онъ имѣетъ дѣло съ мертвецомъ, онъ осторожно двумя пальцами повернулъ ее. Голова покачнулась и опять стала на свое мѣсто, но фотографъ сдѣлалъ видъ, что доволенъ.

— Такъ будетъ хорошо—сказалъ онъ.

Дядя Егоръ посмотрѣлъ сбоку и подтвердилъ:

— Да, хорошо.

Но тутъ вошла мать Павла. Никого не видя, сразу ставшая сѣдой и старой, она медленно со старческой дрожью въ ногахъ поднялась по ступенькамъ, тихо подошла къ гробу и руками впередъ упала на него.

— Мама! Мама!—просилъ Павелъ, стараясь отвести ее. Но она отпихивалась локтями, цѣплялась, тащила за собой тяжелый покровъ и говорила:

— Пусти... Пусти!.. Это я ему.

И въ рукѣ у нея Павелъ увидѣлъ скомканные, жалкіе цвѣты: голубенькій колокольчикъ и одуванчики. Они были, какъ она ихъ сорвала, съ листьями и травой, и держала она ихъ такъ крѣпко, что изъ одуванчика выступилъ бѣлый, какъ молоко, сокъ.

— Сестра!—сказалъ дядя Егоръ—успокойся.

Павелъ оттолкнулъ его плечомъ и кротко сказалъ:

— Положи, мама.

И живые цвѣты легли на грудь мертвеца. Когда мать и Павелъ ушли, фотографъ придалъ цвѣтамъ живописное положеніе, и дядя Егоръ похвалилъ его.

—Трудное ваше дѣло—фотографія. Требуетъ большого искусства.

— Да-съ. Съ живыми-то ничего, но мертвые... и щелкнулъ аппаратомъ.

Потомъ опять начались панихиды и „со святыми упокой“. Пріѣзжали знакомые Сергѣя Васильевича и сослуживцы, которыхъ Павелъ водилъ курить въ садъ, и всѣ они предлагали ему папиросу, какъ равному. И все въ домѣ пропиталось запахомъ ладона и еще какимъ-то другимъ тяжкимъ и зловѣщимъ запахомъ. Подъ столомъ, на которомъ лежалъ покойникъ, уже стояла кадка со льдомъ, а къ вечеру пришлось заложить у покойника носъ и уши ватой и положить вату на ротъ. И видны были только лобъ, гладкій, какъ изъ кости, и страшно крѣпко закрытые глаза, какъ будто человѣкъ этотъ закрылъ ихъ и рѣшилъ никогда уже не открывать. И хотя покойникъ сталъ страшнѣе, чѣмъ былъ, и дьячекъ жаловался, что въ комнатѣ съ нимъ трудно быть, въ эту ночь всѣ спали спокойнѣе и крѣпче, такъ какъ привыкли къ его присутствію.

На третье утро Сергѣя Васильевича похоронили. Опять Павелъ распоряжался, отгонялъ любопытныхъ, мѣшавшихъ пронести въ двери гробъ, помогалъ выводить изъ церкви мать, съ которой часто дѣлалась дурнота, и вмѣстѣ съ дядей Егоромъ приглашалъ всѣхъ послѣ погребенія къ закускѣ. Онъ кланялся, слабо улыбался, считалъ на рукѣ мелочь, которую принесла ему какая-то старушка, и время бѣжало такъ быстро, и событія шли такъ скоро одно за другимъ, внѣ его воли, что онъ не успѣвалъ ни думать, ни вспоминать. Потомъ онъ шелъ за высокимъ катафалкомъ и глядѣлъ, не отрываясь, на стриженый затылокъ отца. Отъ неровностей дороги и толчковъ голова слегка покачивалась, а сверху и съ боковъ все горѣло отъ яркаго

майскаго солнца, и пыль подъ ногами свѣтилась и жгла обувь. Сзади стучали колеса и слышались частые возгласы дяди Егора:

— Сестра! успокойся.

Павелъ слышалъ ихъ и понималъ, что мать его опять плачетъ, но охваченный страннымъ, тупымъ равнодушіемъ не оборачивался. И отъ всѣхъ похоронъ у него остались въ памяти только стриженый, покачивающійся затылокъ отца, да бѣлые отъ пыли сапоги.

Съ кладбища его вмѣстѣ съ какимъ-то господиномъ повезъ быстрый и веселый извозчикъ, подымавшій цѣлыя тучи пыли. Пролетка прыгала и плавно покачивалась, по сторонамъ за низенькими заборами подымались густые и свѣжіе сады, и все это было такъ красиво и пріятно послѣ медленнаго и однообразнаго движенія за катафалкомъ, что Павелъ глубоко вздохнулъ и попросилъ у спутника папиросу. Въ комнатахъ всѣ окна были раскрыты настежъ, всюду стояли цвѣты, и нельзя было подумать, что совсѣмъ недавно здѣсь стоялъ покойникъ. И обѣдали долго и шумно. Дядя Егоръ всѣхъ угощалъ, ловко наливалъ рюмки и не принималъ никакихъ отговорокъ.

— Надо помянуть покойника—убѣдительно говорилъ онъ.—Батюшка, пожалуйте! О. діаконъ, а что же ваша рюмка-то?

Когда всѣ посторонніе разъѣхались, Павелъ пошелъ въ садъ и долго ходилъ по его тѣнистымъ дорожкамъ и съ изумленіемъ глядѣлъ по сторонамъ. Ему казалось, что долго, очень долго онъ лежалъ въ тѣсномъ и узкомъ гробу, не дышалъ, не видѣлъ солнца и не зналъ всей этой пышной, расточительной красоты.

Земля творила. Такъ густо, что не проникалъ взглядъ, зеленѣли пушистые, гладкіе, широкіе и острые листья. Всѣ были молодые, радостные, полные могучей силой

и жизнью. Казалось, можно было уловить глазомъ, какъ они растутъ и дышатъ, какъ изъ влажной и теплой земли тянется къ солнцу трава. И все въ саду было полно густымъ гудѣніемъ, полнымъ заботы и страстной радости жизни. Оно было вверху, и внизу, не видно было, кто гудитъ и поетъ, и чудилось, что это поетъ трава, цвѣты и высокое синее небо. Казалось, что можно было слышать траву и обонять душистое знойное жужжанье, такъ все, запахъ, звукъ и краска неразрывно сливались въ одну дивную гармонію творчества и жизни.

Въ углу, подъ солнцемъ, Павелъ увидѣлъ березку, на его глазахъ посаженную отцомъ. Онъ помнилъ, какъ тогда чернѣла разрытая земля и тамъ была березка, а теперь она стояла стройная, высокая и легко, безъ усилія, простирались въ воздухѣ ея сердцевидные листья, окрашенные нѣжной молодой зеленью. И Павлу стало жаль отца, и стройная березка сдѣлалась ему родной и милой, какъ будто въ ней еще не умеръ и никогда не умретъ духъ того, кто далъ ей эту зеленую, веселую жизнь.

— Павликъ, гдѣ ты?—звали его.

Отъ дома разбитой походкой шла мать, и за ней, держась за подолъ, переваливался Шурка.

— Какъ я устала—сказала она, садясь на скамейку: — побудь со мной, Павликъ.

— Хорошо, мамочка.

Внезапно мать встала и упала на колѣни передъ Павломъ, потащивъ за собой и крѣпко державшагося Шурку. И плача тихими слезами горя, прижимаясь лицомъ къ рукѣ сына, проговорила:

— Павля! милый... Ты одинъ теперь у насъ... Ты одинъ наша защита.

И Шурка серьезно проговорилъ:

— Павля! А Павля?

Павелъ гладилъ рукой сѣдую, вздрагивающую голову, и далекимъ чернымъ сномъ пробѣжала передъ нимъ мрачная желѣзнодорожная вѣтка и одинокій зловѣщій глазъ. Онъ гладилъ вздрагивающую голову, смотрѣлъ на сморщившагося Шурку, и видѣлъ, какіе всѣ они маленькіе, и жалкіе, и одинокіе, и какъ они нуждаются въ защитѣ и любви. И онъ почувствовалъ себя сильнымъ и крѣпкимъ, и голосъ его былъ полный и громкій, когда онъ сказалъ:

— Да, мама. Я буду жить.

ГОРОДЪ.

(1902)

Это былъ огромный городъ, въ которомъ жили они: чиновникъ коммерческаго банка Петровъ и тотъ, другой, безъ имени и фамиліи.

Встрѣчались они разъ въ годъ—на Пасху, когда оба дѣлали визитъ въ одинъ и тотъ же домъ господъ Василевскихъ. Петровъ дѣлалъ визиты и на Рождество, но, вѣроятно, тотъ, другой, съ которымъ онъ встрѣчался, пріѣзжалъ на Рождество не въ тѣ часы, и они не видѣли другъ друга. Первые два-три раза Петровъ не замѣчалъ его среди другихъ гостей, но на четвертый годъ лицо его показалось ему уже знакомымъ и они поздоровались съ улыбкой,—а на пятый годъ Петровъ предложилъ ему чокнуться:

— За ваше здоровье!—сказалъ онъ привѣтливо и протянулъ рюмку.

— За ваше здоровье!—отвѣтилъ, улыбаясь, тотъ и протянулъ свою рюмку.

Но имени его Петровъ не подумалъ узнать, а когда вышелъ на улицу, то совсѣмъ забылъ о его существованіи и весь годъ не вспоминалъ о немъ. Каждый день онъ ходилъ въ банкъ, гдѣ служилъ уже десять лѣтъ, зимой изрѣдка бывалъ въ театрѣ, а лѣтомъ ѣздилъ къ

знакомымъ на дачу, и два раза былъ боленъ инфлуэнцой—второй разъ передъ самой Пасхой. И уже всходя по лѣстницѣ къ Василевскимъ, во фракѣ и съ складнымъ цилиндромъ подъ мышкой, онъ впомнилъ, что увидитъ тамъ того, другого, и очень удивился, что совсѣмъ не можетъ представить себѣ его лица и фигуры. Самъ Петровъ былъ низенькаго роста, немного сутулый, такъ что многіе принимали его за горбатаго, и глаза у него были большіе черные съ желтоватыми бѣлками. Въ остальномъ онъ не отличался отъ всѣхъ другихъ, которые два раза въ годъ бывали съ визитами у господъ Василевскихъ, и когда они забывали его фамилію, то называли его просто „горбатенькій“.

Тотъ, другой, былъ уже тамъ и собирался уѣзжать, но, увидѣвъ Петрова, улыбнулся привѣтливо и остался. Онъ тоже былъ во фракѣ и тоже съ складнымъ цилиндромъ, и больше ничего не успѣлъ разсмотрѣть Петровъ, такъ какъ занялся разговоромъ, ѣдой и чаемъ. Но выходили они вмѣстѣ, помогали другъ другу одѣваться, какъ друзья; вѣжливо уступали дорогу и оба дали швейцару по полтиннику. На улицѣ они немного остановились и тотъ, другой, сказалъ:

— Дань! Ничего не подѣлаешь.

— Ничего не подѣлаешь—отвѣтилъ Петровъ: дань!

И такъ какъ говорить было больше не о чемъ, они ласково улыбнулись и Петровъ спросилъ.

— Вамъ куда?

— Мнѣ налѣво, А вамъ?

— Мнѣ направо.

На извозчикѣ Петровъ вспомнилъ, что онъ опять не успѣлъ ни спросить объ имени, ни разсмотрѣть его. Онъ обернулся: взадъ и впередъ двигались экипажи, тротуары чернѣли отъ идущаго народа и въ этой сплошной движущейся массѣ того, другого, нельзя

было найти, какъ нельзя найти песчинку среди другихъ песчинокъ. И опять Петровъ забылъ его и весь годъ не вспоминалъ.

Жилъ онъ много лѣтъ въ однѣхъ и тѣхъ же меблированныхъ комнатахъ и тамъ его очень не любили, такъ какъ онъ былъ угрюмъ и раздражителенъ, и тоже называли „горбачемъ“. Онъ часто сидѣлъ у себя въ номерѣ одинъ, и неизвѣстно, что дѣлалъ, потому что ни книжку, ни письмо корридорный Ѳедотъ не считалъ за дѣло. По ночамъ Петровъ иногда выходилъ гулять, и швейцаръ Иванъ не понималъ этихъ прогулокъ, такъ какъ возвращался Петровъ всегда трезвый и всегда одинъ—безъ женщины.

А Петровъ ходилъ гулять ночью потому, что очень боялся города, въ которомъ жилъ, и больше всего боялся его днемъ, когда улицы полны народа.

Городъ былъ громаденъ и многолюденъ, и было въ этомъ многолюдіи и громадности что-то упорное, непобѣдимое и равнодушно-жестокое. Колоссальной тяжестью своихъ каменныхъ раздутыхъ домовъ онъ давилъ землю, на которой стоялъ, и улицы между домами были узкія, кривыя и глубокія, какъ трещины въ скалѣ. И казалось, что всѣ онѣ охвачены паническимъ страхомъ и отъ центра стараются выбѣжать на открытое поле, но не могутъ найти дороги, и путаются, и клубятся, какъ змѣи, и перерѣзаютъ другъ друга, и въ безнадежномъ отчаяніи устремляются назадъ. Можно было по цѣлымъ часамъ ходить по этимъ улицамъ, изломаннымъ, задохнувшимся, замершимъ въ страшной судорогѣ, и все не выйти изъ линіи толстыхъ каменныхъ домовъ. Высокіе и низкіе, то краснѣющіе холодной и жидкой кровью свѣжаго кирпича, то окрашенные темной и свѣтлой краской, они съ непоколебимой твердостью стояли по сторонамъ, равнодушно встрѣ-

чали и провожали, тѣснились густой толпой и впереди и сзади, теряли физіономію и дѣлались похожи одинъ на другой—и идущему человѣку становилось страшно: будто онъ замеръ неподвижно на одномъ мѣстѣ, а дома идутъ мимо него безконечной и грозной вереницей.

Однажды Петровъ шелъ спокойно по улицѣ—и вдругъ почувствовалъ, какая толща каменныхъ домовъ отдѣляетъ его отъ широкаго, свободнаго поля, гдѣ легко дышетъ подъ солнцемъ свободная земля и далеко окрестъ видитъ человѣческій глазъ. И ему почудилось, что онъ задыхается и слѣпнетъ, и захотѣлось бѣжать, чтобы вырваться изъ каменныхъ объятій—и было страшно подумать, что какъ бы скоро онъ ни бѣжалъ, его будутъ провожать по сторонамъ все дома, дома, и онъ успѣетъ задохнуться, прежде чѣмъ выбѣжать за городъ. Петровъ спрятался въ первый ресторанъ, какой попался ему по дорогѣ, но и тамъ ему долго еще казалось, что онъ задыхается, и онъ пилъ холодную воду и протиралъ платкомъ глаза.

Но всего ужаснѣе было то, что во всѣхъ домахъ жили люди, и по всѣмъ улицамъ двигались люди. Ихъ было множество, и всѣ они были незнакомые и чужіе, и всѣ они жили своей особенной скрытой для глазъ жизнью, непрерывно рождались и умирали, и не было начала и конца этому потоку. Когда Петровъ шелъ на службу или гулять, онъ видѣлъ уже знакомые и приглядѣвшіеся дома и все представлялось ему знакомымъ и простымъ, но стоило, хотя бы на мигъ, остановить вниманіе на какомъ-нибудь лицѣ—и все рѣзко и грозно мѣнялось. Съ чувствомъ страха и безсилія Петровъ вглядывался во всѣ лица и понималъ, что видитъ ихъ первый разъ, что вчера онъ видѣлъ другихъ людей, а завтра увидитъ третьихъ, и такъ все-

гда, каждый день, каждую минуту онъ видитъ новыя и незнакомыя лица. Вонъ толстый господинъ, на котораго глядѣлъ Петровъ, скрылся за угломъ—и никогда больше Петровъ не увидитъ его. Никогда. И если захочетъ найти его, то можетъ искать всю жизнь, и не найдетъ.

И Петровъ боялся огромнаго, равнодушнаго города.

Въ этотъ годъ у Петрова опять была инфлуэнца, очень сильная съ осложненіемъ и очень часто являлся насморкъ. Кромѣ того, докторъ нашелъ у него катарръ желудка, и когда наступила новая Пасха и Петровъ поѣхалъ къ господамъ Василевскимъ, онъ думалъ дорогой о томъ, что онъ будетъ тамъ ѣсть. И увидѣвъ того, другого, обрадовался и сообщилъ ему:

— А у меня, батенька, катарръ.

Тотъ, другой, съ жалостью покачалъ головой и отвѣтилъ:

— Скажите, пожалуста!

И опять Петровъ не узналъ, какъ его зовутъ, но началъ считать его хорошимъ своимъ знакомымъ и съ пріятнымъ чувствомъ вспоминалъ о немъ. „Тотъ“,— называлъ онъ его, но когда хотѣлъ вспомнить его лицо, то ему представлялись только фракъ, бѣлый жилетъ и улыбка, и такъ какъ лицо совсѣмъ не вспоминалось, то выходило, будто улыбаются фракъ и жилетъ. Лѣтомъ Петровъ очень часто ѣздилъ на одну дачу, носилъ красный галстухъ, фабрилъ усики и говорилъ Ѳедоту, что съ осени переѣдетъ на другую квартиру, а потомъ пересталъ ѣздить на дачу и на цѣлый мѣсяцъ запилъ. Пилъ онъ нелѣпо, со слезами и скандалами: разъ выбилъ у себя въ номерѣ стекло, а другой разъ напугалъ какую-то даму: вошелъ къ ней вечеромъ въ номеръ, сталъ на колѣни и предложилъ быть его женой. Незнакомая дама была проститутка и

сперва внимательно слушала его и даже смѣялась, но когда онъ заговорилъ о своемъ одиночествѣ и заплакалъ, приняла его за сумасшедшаго и начала визжать отъ страха. Петрова вывели; онъ упирался, дергалъ Ѳедота за волосы и кричалъ:

— Всѣ мы люди! Всѣ братья!

Его уже рѣшили выселить, но онъ пересталъ пить, и снова по ночамъ швейцаръ ругался, отворяя и затворяя за нимъ дверь. Къ Новому году Петрову прибавили жалованья: 100 рублей въ годъ, и онъ переселился въ сосѣдній номеръ, который былъ на пять рублей дороже и выходилъ окнами во дворъ. Петровъ думалъ, что здѣсь онъ не будетъ слышать грохота уличной ѣзды и можетъ хоть забывать о томъ, какое множество незнакомыхъ и чужихъ людей окружаетъ его и живетъ возлѣ своей особенной жизнью.

И зимой было въ номерѣ тихо, но когда наступила весна и съ улицъ скололи снѣгъ, опять начался грохотъ ѣзды и двойныя стѣны не спасали отъ него. Днемъ, пока Петровъ былъ чѣмъ-нибудь занятъ, самъ двигался и шумѣлъ, онъ не замѣчалъ грохота, хотя тотъ не прекращался ни на минуту, но приходила ночь, въ домѣ все успокаивалось, и грохочущая улица властно врывалась въ темную комнату и отнимала у нея покой и уединенность. Слышны были дребезжанье и разбитый стукъ отдѣльныхъ экипажей; не громкій и жидкій стукъ зарождался гдѣ-то далеко, разрастался все ярче и громче и постепенно затихалъ, а на смѣну ему являлся новый и такъ безъ перерыва. Иногда четко и въ тактъ стучали однѣ подковы лошадей и не слышно было колесъ—это проѣзжала коляска на резиновыхъ шинахъ и часто стукъ отдѣльныхъ экипажей сливался въ мощный и страшный грохотъ, отъ котораго начинали подергиваться слабой дрожью каменныя стѣны и

звякали склянки въ шкафу. И все это были люди. Они сидѣли въ пролеткахъ и экипажахъ, ѣхали неизвѣстно откуда и куда, исчезали въ невѣдомой глубинѣ огромнаго города, и на смѣну имъ являлись новые, другіе люди, и не было конца этому непрерывному и страшному въ своей непрерывности движенію. И каждый проѣхавшій человѣкъ былъ отдѣльный міръ, съ своими законами и цѣлями жизни, съ своей женщиной, которую онъ любилъ, съ своей особенной радостью и горемъ,—и каждый былъ, какъ призракъ, который являлся на мигъ и неразгаданный, не узнанный исчезалъ. И чѣмъ больше было людей, которые не знали другъ друга, тѣмъ ужаснѣе становилось одиночество каждаго. И въ эти черныя, грохочущія ночи Петрову часто хотѣлось закричать отъ страха, забиться куда-нибудь въ глубокій подвалъ и быть тамъ совсѣмъ одному. Тогда можно думать только о тѣхъ, кого знаешь, и не чувствовать себя такимъ безпредѣльно одинокимъ, среди множества чужихъ людей.

На Пасху того, другого, у Василевскихъ не было, и Петровъ замѣтилъ это только къ концу визита, когда началъ прощаться и не встрѣтилъ знакомой улыбки. И сердцу его стало безпокойно, и ему вдругъ, до боли, захотѣлось увидѣть того, другого, и что-то сказать ему о своемъ одиночествѣ и о своихъ ночахъ. Но онъ помнилъ очень мало о человѣкѣ, котораго искалъ: только то, что онъ среднихъ лѣтъ, кажется блондинъ и всегда одѣтъ во фракъ, и по этимъ признакамъ господа Василевскіе не могли догадаться, о комъ идетъ рѣчь.

— У насъ на праздники бываетъ такъ много народа, что мы не всѣхъ знаемъ по фамиліямъ—сказала Василевская.—Впрочемъ... не Семеновъ ли это?

И она по пальцамъ перечислила нѣсколько фами-

лій: Смирновъ, Антоновъ, Никифоровъ; потомъ безъ фамилій: лысый, который служитъ гдѣ-то, кажется въ почтамтѣ; бѣлокуренькій; совсѣмъ сѣдой. И всѣ они были не тѣмъ, про котораго спрашивалъ Петровъ, но могли быть и тѣмъ. Такъ его и не нашли.

Въ этотъ годъ въ жизни Петрова ничего не произошло и только глаза стали портиться, такъ что пришлось носить очки. По ночамъ, если была хорошая погода, онъ ходилъ гулять и выбиралъ для прогулки тихіе и пустынные переулки. Но и тамъ встрѣчались люди, которыхъ онъ раньше не видалъ, а потомъ никогда не увидитъ, а по бокамъ глухой стѣной высились дома и внутри ихъ все было полно незнакомыми чужими людьми, которые спали, разговаривали, ссорились; кто-нибудь умиралъ за этими стѣнами, а рядомъ съ нимъ новый человѣкъ рождался на свѣтъ, чтобы затеряться на время въ его движущейся безконечности, а потомъ навсегда умереть. Чтобы утѣшить себя, Петровъ перечислялъ всѣхъ своихъ знакомыхъ, и ихъ близкія, изученныя лица были, какъ стѣна, которая отдѣляетъ его отъ безконечности. Онъ старался припомнить всѣхъ: знакомыхъ швейцаровъ, лавочниковъ и извозчиковъ, даже-случайно запомнившихся прохожихъ, и вначалѣ ему казалось, что онъ знаетъ очень много людей, но когда началъ считать, то выходило ужасно мало: за всю жизнь онъ узналъ всего 250 человѣкъ, включая сюда и того и другого. И это было все, что было близкаго и знакомаго ему въ мірѣ. Быть можетъ, существовали еще люди, которыхъ онъ зналъ, но онъ ихъ забылъ, и это было все равно, какъ будто ихъ нѣтъ совсѣмъ.

Тотъ, другой, очень обрадовался, когда увидѣлъ на Пасху Петрова. На немъ былъ новый фракъ и новые сапоги со скрипомъ, и онъ сказалъ, пожимая Петрову руку:

— А я, знаете, чуть не умеръ. Схватилъ воспаленіе легкихъ и теперь тутъ—онъ постучалъ себя о бокъ—въ верхушкѣ не совсѣмъ, кажется, ладно.

— Да что вы?—искренно огорчился Петровъ.

Они разговорились о разныхъ болѣзняхъ и каждый говорилъ о своихъ, и когда разставались, то долго пожимали руки, но объ имени спросить забыли. А на слѣдующую Пасху Петровъ не явился къ Василевскимъ и тотъ, другой, очень безпокоился и разспрашивалъ г-жу Василевскую, кто такой горбатенькій, который бываетъ у нихъ.

— Какъ же,знаю,—сказала она.—Его фамилія Петровъ.

— А зовутъ какъ?

Г-жа Василевская хотѣла сказать, какъ зовутъ, но оказалось, что не знала, и очень удивилась этому. Не знала она и того, гдѣ Петровъ служитъ: не то въ почтамтѣ, не то въ какой-то банкирской конторѣ.

Потомъ не явился тотъ, другой, а потомъ пришли оба, но въ разные часы и не встрѣтились. А потомъ они перестали являться совсѣмъ и господа Василевскіе никогда больше не видѣли ихъ, но не думали объ этомъ, такъ какъ у нихъ бываетъ много народа и они не могутъ всѣхъ запомнить.

Огромный городъ сталъ еще больше, и тамъ, гдѣ широко разстилалось поле, неудержимо протягиваются новыя улицы, и по бокамъ ихъ толстые, распертые, каменные дома грузно давятъ землю, на которой стоятъ. И къ семи бывшимъ въ городѣ кладбищамъ прибавилось новое, восьмое. На немъ совсѣмъ нѣтъ зелени и пока на немъ хоронятъ только бѣдняковъ.

И когда наступаетъ длинная осенняя ночь, на кладбищѣ становится тихо, и только далекими отголосками проносится грохотъ уличной ѣзды, которая не прекращается ни днемъ, ни ночью.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

(1902)

Наступила минута молчанія, и среди лязга ножей о тарелки, смутнаго говора за дальними столами, шороха одежды и поскрипыванія половъ подъ быстрыми ногами лакеевъ, чей-то тихій и кроткій голосъ произнесъ:

— А я люблю негритянокъ!

Антонъ Ивановичъ поперхнулся водкой, которую глоталъ; собравшій посуду лакей исподлобья бросилъ безразлично любопытный взглядъ, всѣ съ изумленіемъ обернулись къ говорившему—и тутъ впервые увидѣли дробное личико съ рыжими усиками, концы которыхъ намокли въ водкѣ и щахъ и темнѣли, безцвѣтные маленькіе глазки и тщательно причесанную головку Семена Васильевича Котельникова. Пять лѣтъ служили они вмѣстѣ съ Котельниковымъ, каждый день здоровались съ нимъ и прощались, и о чемъ-то говорили, всякое двадцатое число послѣ получки жалованья вмѣстѣ съ нимъ обѣдали въ ресторанѣ, какъ сегодня—и первый разъ увидѣли его. Увидѣли и изумились. Оказалось, что Семенъ Васильевичъ даже не дурепъ, если не считать усиковъ и веснушекъ, похожихъ на грязныя брызги отъ резиновой шины, что онъ хорошо одѣ-

вается и высокій бѣлый воротничекъ у него самый чистый, хоть и бумажный.

Прокашлявшись, Антонъ Ивановичъ, столоначальникъ, еще красный отъ напряженія, внимательно и любопытно оглядѣлъ выпученными глазами смутившагося Семена Васильевича, и, задыхаясь, съ удареніемъ спросилъ:

— Такъ вы, Семенъ... какъ васъ?

— Семенъ Васильевичъ,—напомнилъ Котельниковъ и выговорилъ не „Василичъ“, а полностью „Васильевичъ“, и то всѣмъ понравилось, какъ выраженіе чувства достоинства и самоуваженія.

— Такъ вы, Семенъ Васильевичъ... любите негритянокъ?

— Да, я очень люблю негритянокъ.

И голосъ у него былъ хотя и тихенькій и какъ будто немного сморщенный, какъ залежавшаяся щуплая рѣпа, но пріятный. Антонъ Ивановичъ поджалъ нижнюю губу, такъ что сѣдые усы уперлись въ самый кончикъ краснаго, съ ямочками, носа, обвелъ всѣхъ чиновниковъ округлившимися глазами и, выдержавъ необходимую паузу, густо и сочно захохоталъ:

— Ха-ха-ха! Онъ любитъ негритянокъ! Ха-ха-ха!

И всѣ дружно засмѣялись, и толстый и мрачный Ползиковъ, вообще не умѣвшій смѣяться, болѣзненно заржалъ: ги-ги-ги! Семенъ Васильевичъ тоже хохоталъ тихенькимъ и дробнымъ, какъ сухой горохъ, смѣшкомъ, краснѣлъ отъ удовольствія, но въ то-же время слегка боялся: не вышло-бы какихъ непріятностей.

— Да вы это серьезно? — спросилъ Антонъ Ивановичъ, отсмѣявшись.

— Вполнѣ серьезно-съ. Въ нихъ, въ этихъ черныхъ женщинахъ, есть нѣчто такое пламенное, или какъ-бы это вамъ пояснить, экзотическое.

— Экзотическое?

И опять всѣ прыснули, но, смѣясь, соображали, что Семенъ Васильевичъ, даже образованный и умный человѣкъ, такъ какъ знаетъ такое рѣдкое слово: экзотическій. Потомъ начали съ жаромъ доказывать, что негритянокъ любить нельзя: онѣ черныя, маслянистыя, у нихъ невозможно толстыя губы и отъ нихъ пахнетъ чѣмъ-то дурнымъ.

— А я люблю!—скромно настаивалъ Семенъ Васильевичъ.

— Вольному воля—рѣшилъ Антонъ Ивановичъ. — А я скорѣе козу полюблю, чѣмъ эту черномазую.

Но всѣмъ стало пріятно, что среди нихъ, на правахъ ихъ товарища, находится такой оригинальный человѣкъ, который серьезно любитъ негритянокъ, и по этому случаю заказали еще полдюжины пива, а на сосѣдніе столы, гдѣ не было оригинальныхъ людей, стали смотрѣть съ нѣкоторымъ презрѣніемъ. И говорить начали громче и развязнѣе, а Семенъ Васильевичъ пересталъ самъ зажигать спичку для своей папиросы, и ждалъ, пока подастъ огня лакей. Когда пиво было выпито, и заказали еще, толстый Ползиковъ сурово поглядѣлъ на Семена Васильевича и съ упрекомъ сказалъ:

— Почему мы съ вами, господинъ Котельниковъ, до сихъ поръ на вы? Кажется, въ одномъ вѣдь отдѣленіи лямку тремъ. Нужно брудершафтъ выпить, если вы порядочный человѣкъ.

— Извольте. Я съ большимъ удовольствіемъ — согласился Семенъ Васильевичъ. Онъ то сіялъ отъ восторга, что его наконецъ-то увидѣли и оцѣнили, то боялся почему-то, что его побьютъ, и на всякій случай держалъ руку у груди, чтобы загородить, въ случаѣ нужды, лицо и прическу. Послѣ Ползикова онъ выпилъ на брудершафтъ съ Троицкимъ и Новоселовымъ и

остальными, и такъ крѣпко цѣловался, что губы его распухли. Антонъ Ивановичъ пить брудершафта не сталъ, но привѣтливо заявилъ:

— Когда будете въ нашихъ краяхъ, захаживайте. Хоть вы и любите негритянокъ, но у меня дочери. Имъ будетъ интересно поглядѣть на васъ. Такъ вы это серьезно?

Семенъ Васильевичъ поклонился, и хотя немного покачивался отъ пива, но всѣ замѣтили, что и манеры у него хорошія. По уходѣ Антона Ивановича еще пили, а потомъ шумно, всей компаніей, шли по Невскому и ни передъ кѣмъ не сторонились, а сами заставляли всѣхъ сторониться. Семенъ Васильевичъ шелъ по срединѣ подъ руку съ Троицкимъ и мрачнымъ Ползиковымъ и объяснялъ:

— Нѣтъ, братъ, Костя, ты этого не понимаешь. Въ негритянкахъ есть нѣчто особенное, такъ сказать экзотическое.

— И понимать не хочу—говорилъ Ползиковъ:—черная и черная и больше ничего.

— Нѣтъ, братъ Костя, для этого нуженъ вкусъ. Негритянки, онѣ, братъ...—до этого дня Семенъ Васильевичъ ни разу не думалъ о негритянкахъ, и не могъ болѣе точно пояснить, что въ нихъ хорошаго, и повторилъ: онѣ, братъ, пламенныя.

— Ну чего ты споришь, Костя!—сердито говорилъ Троицкій, спотыкаясь и шлепая большой, обмѣненной калошей!—Удивительный ты спорщикъ, все не по тебѣ. Значитъ, онъ знаетъ, почему любитъ. Валяй, Сеня, люби, не слушай дураковъ. Ты у насъ молодецъ, мы возьмемъ вотъ сейчасъ, да скандалъ устроимъ. Ей-Богу, какого чорта!

Черная и черная, только и всего — угрюмо настаивалъ Ползиковъ.

— Нѣтъ, Костя, ты этого не понимаешь... — объяснялъ ему кротко Семенъ Васильевичъ, и такъ они шли, качаясь, галдя, споря и толкаясь, и очень довольные.

Черезъ недѣлю весь департаментъ зналъ, что чиновникъ Котельниковъ очень любитъ негритянокъ, а черезъ мѣсяцъ объ этомъ знали швейцары сосѣднихъ домовъ, просители и постовой городовой на углу. На Семена Васильевича приходили смотрѣть изъ сосѣднихъ отдѣленій барышни, работавшія на ремингтонѣ, а онъ сидѣлъ тихенькій и скромный, и все не зналъ навѣрное, будутъ хвалить его или побьютъ. Одинъ разъ онъ былъ уже на вечерѣ у Антона Ивановича, пилъ чай съ вишневымъ вареньемъ на новой камчатской скатерти, и объяснялъ, что въ негритянкахъ есть нѣчто экзотическое. Барышни конфузились, а дочь хозяина, Настенька, читавшая романы, щурилась близорукими глазами, поправляла завитушки и спрашивала:

— Но почему?

И всѣмъ было очень пріятно, а когда интересный гость ушелъ, о немъ говорили съ большимъ сочувствіемъ, и Настенька называла его жертвой пагубной страсти. И Семену Васильевичу понравилась Настенька, но такъ какъ онъ любилъ только негритянокъ, то не рѣшился показать этого, и былъ хоть и вѣжливъ, но холоденъ и недоступенъ. И всю дорогу онъ думалъ о негритянкахъ, какія онѣ черныя, маслянистыя и противныя, и при мысли, что онъ цѣлуетъ одну изъ нихъ, у него дѣлалось что-то вродѣ изжоги, хотѣлось тихонько плакать и писать къ матери въ провинцію, чтобы она пріѣзжала. Но за ночь онъ поборолъ припадокъ малодушія и когда утромъ явился въ канцелярію, то по всей его фигурѣ, по красному галстучку, по таинственному выраженію лица видно было, что человѣкъ этотъ очень любитъ негритянокъ.

Вскорѣ послѣ этого Антонъ Ивановичъ, принявшій участіе въ его судьбѣ, познакомилъ его съ однимъ театральнымъ репортеромъ, а репортеръ безплатно привелъ его въ кафе-шантанъ и представилъ директору m-eur Жаку Дюкло.

— Вотъ этотъ господинъ,—сказалъ репортеръ, выдвигая впередъ скромно склонявшагося Семена Васильевича,—вотъ этотъ господинъ очень любитъ негритянокъ. Никого кромѣ негритянокъ. Изумительный оригиналъ. Вы ему, Жакъ Ивановичъ, окажите поощреніе, потому что если такихъ не поощрять, то кого-же поощрять? Это, Жакъ Ивановичъ, дѣло общественное.

Репортеръ покровительственно похлопалъ Семена Васильевича по узенькой, гладко обтянутой спинѣ, а директоръ, французъ съ храбрыми черными усами, вскинулъ глаза къ небу, какъ-бы что-то тамъ отыскивая, сдѣлалъ рѣшительный жестъ, и стрѣльнувъ черными глазами въ продолжавшаго кланяться чиновника, сказалъ:

— Негритянокъ! Это превосходно. У меня сейчасъ есть три прекрасныя негритянки.

Семенъ Васильевичъ слегка поблѣднѣлъ, но m-eur Жакъ очень любилъ свое учрежденіе и ничего не замѣтилъ. А репортеръ попросилъ:

— Да вы ему, Жакъ Ивановичъ, дайте безплатный билетикъ. Сезонный.

Съ этого вечера Семенъ Васильевичъ началъ ухаживать за негритянкой, миссъ Коррайто, у которой бѣлки глазъ были какъ глубокія тарелки, а самый зрачекъ не болѣе черносливины. И когда она, медленно поворачивая весь этотъ снарядъ, дѣлала ему глазки, ноги у него холодѣли, онъ поспѣшно кланялся, блестя подъ электричествомъ своей напомаженной головкой, и съ тоской думалъ о бѣдной своей матери, которая жи-

ветъ въ провинціи. По-русски миссъ Коррайто ни слова не понимала, но, къ счастью, нашлось много добровольныхъ переводчиковъ, которые приняли близко къ сердцу интересы молодой пары и точно передавали Семену Васильевичу восторженные о немъ отзывы черной дѣвицы.

— Она говоритъ: никогда еще не видала такого любезнаго и красиваго джентльмена. Вѣрно?

Миссъ Коррайто учащенно кивала черной головой, скалила зубы, широкіе, какъ клавиши у фортепіано и во всѣ стороны двигала своими тарелками. А Семенъ Васильевичъ также безсознательно кивалъ головой и бормоталъ:

— Скажите ей, пожалуйста, что въ негритянкахъ есть нѣчто экзотическое.

И всѣ были очень довольны. Когда Семенъ Васильевичъ въ первый разъ цѣловалъ негритянкѣ руку, смотрѣть собрались почти всѣ артисты и многіе зрители и одинъ старый купецъ, Богданъ Корнѣичъ Селиверстовъ, прослезился отъ умиленія и патріотическихъ чувствъ. Потомъ пили шампанское, и два дня у Семена Васильевича было мучительное сердцебіеніе, онъ не ходилъ на службу и нѣсколько разъ начиналъ письмо: дорогая маменька, но отъ слабости не могъ кончить. А когда явился въ канцелярію, его пригласили въ кабинетъ его превосходительства. Семенъ Васильевичъ пригладилъ щеткой волосы, вздыбившіеся за время болѣзни, расправилъ темные кончики усовъ, чтобы говорить яснѣе, и, замирая отъ страха, вошелъ.

— Послушайте. Правда, мнѣ сказали, что вы...—его превосходительство заикнулся,—правда, что вы любите негритянокъ?

— Такъ точно, ваше превосходительство.

Генералъ сосредоточилъ взглядъ на его теменн, по

гладкой срединѣ котораго упорно поднимались и дрожали два тонкіе волоска, и нѣсколько удивленно, но вмѣстѣ одобрительно спросилъ:

— Э, но почему-же вы ихъ любите?

— Не могу знать, ваше превосходительство,—отвѣтилъ Семенъ Васильевичъ, такъ какъ мужество его покинуло.

— То-есть, какъ-же не можете знать? Кто-же можетъ знать? Э, вы не стѣсняйтесь, мой милый. Я люблю въ моихъ подчиненныхъ проявленія самостоятельности и, вообще, самодѣятельности, если онѣ, конечно, не переходятъ извѣстныхъ законныхъ границъ. Скажите-же мнѣ откровенно, какъ-бы вы сказали вашему отцу, почему вы любите негритянокъ?

— Въ нихъ, ваше превосходительство, есть нѣчто экзотическое.

Въ тотъ-же вечеръ за генеральскимъ винтомъ въ англійскомъ клубѣ его превосходительство, сдавая карты пухлыми бѣлыми руками, съ дѣланной небрежностью замѣтилъ:

— А у меня въ канцеляріи есть чиновникъ, который ужасно любитъ негритянокъ. Простой писецъ, представьте.

И тремъ другимъ генераламъ стало завидно: у нихъ у каждаго, въ департаментѣ, было много чиновниковъ, но это были самые обыкновенные, не оригинальные и безцвѣтные люди, о которыхъ нечего было сказать. Желчный Анатолій Петровичъ долго думалъ, остался на вѣрныхъ четырехъ безъ одной и за слѣдующей сдачей сказалъ:

— Вотъ тоже мой экзекуторъ: половина бороды черная, а половина рыжая.

Но всѣ поняли, что побѣда осталась на сторонѣ его превосходительства: экзекуторъ нисколько не повиненъ

въ томъ, что у него половина бороды рыжая, а половина черная, и, вѣроятно, самъ этому не радъ, а указанный чиновникъ самостоятельно, по доброй волѣ, любитъ негритянокъ, каковое пристрастіе, несомнѣнно, свидѣтельствуетъ о его оригинальныхъ вкусахъ. А его превосходительство, какъ-бы ничего не замѣчая, еще добавилъ:

— Утверждаетъ, что въ негритянкахъ есть что-то экзотическое.

Существованіе во второмъ департаментѣ удивительнаго оригинала создало ему весьма лестную популярность въ чиновничьихъ кругахъ столицы и породило, какъ это всегда бываетъ, много неудачныхъ и жалкихъ подражателей. Одинъ сѣдой и многосемейный писецъ изъ шестого департамента, уже двадцать восемь лѣтъ незамѣтно сидѣвшій за своимъ столомъ, всенародно заявилъ, что умѣетъ лаять по-собачьи, а когда надъ нимъ только посмѣялись и всѣмъ отдѣленіемъ начали лаять, хрюкать и ржать, онъ очень сконфузился и впалъ въ двухнедѣльный запой, забывъ даже подать рапортъ о болѣзни, какъ дѣлалъ во всѣ эти 28 лѣтъ. Другой чиновникъ, молоденькій, притворился влюбленнымъ въ жену китайскаго посланника и на нѣкоторое время привлекъ къ себѣ общее вниманіе и даже сочувствіе, но опытные взоры скоро различили жалкую и недобросовѣстную поддѣлку подъ истинную оригинальность, и неудачникъ былъ позорно ввергнутъ въ пучину прежней безвѣстности. Были и другія попытки въ томъ-же родѣ и вообще въ тотъ годъ среди чиновниковъ замѣчался особый подъемъ духа, давно таившаяся тоска по оригинальному съ особенной силой охватила чиновничью молодежь и въ нѣкоторыхъ случаяхъ повела даже къ трагическимъ послѣдствіямъ: одинъ канцелярист, сынъ хорошихъ родителей, не

сумѣвъ выдумать ничего оригинальнаго, наговорилъ дерзостей начальству и былъ изгнанъ со службы. И у самого Семена Васильевича появились враги, открыто утверждавшіе, что онъ ничего не понимаетъ въ негритянкахъ, но какъ-бы въ отвѣтъ имъ въ одной газетѣ появилось интервью, въ которомъ Семенъ Васильевичъ публично заявилъ, съ разрѣшенія начальства, что онъ любитъ негритянокъ за то, что въ нихъ есть нѣчто экзотическое. И звѣзда Семена Васильевича засіяла новымъ немеркнущимъ свѣтомъ.

Теперь на вечерахъ у Антона Ивановича онъ сталъ самымъ желаннымъ гостемъ и Настенька не разъ горько плакала, такъ ей жаль было его загубленную молодость, а онъ гордо сидѣлъ по самой серединѣ стола, и чувствуя направленные отовсюду взгляды, дѣлалъ нѣсколько меланхолическое и въ то-же время экзотическое лицо. И всѣмъ: и самому Антону Ивановичу и его гостямъ и даже глухой бабушкѣ, перемывавшей на кухнѣ грязную посуду, было пріятно, что въ домѣ у нихъ совсѣмъ запросто бываетъ такой оригинальный человѣкъ. А Семенъ Васильевичъ возвращался домой и плакалъ въ подушку, такъ какъ очень любилъ Настеньку и всей душой ненавидѣлъ проклятую миссъ Коррайтъ.

Передъ Пасхой прошелъ слухъ, что Семенъ Васильевичъ женится на негритянкѣ миссъ Коррайтъ, которая для этого случая принимаетъ православіе и покидаетъ службу у m-eur Жако Дюкло, и что посаженнымъ отцомъ у него будетъ самъ его превосходительство. Сослуживцы, просители и швейцары поздравляли Семена Васильевича, а онъ кланялся хоть и не такъ низко, какъ прежде, но еще болѣе галантно, и прилизанная головка его блестѣла въ лучахъ весенняго солнца. На послѣднемъ передъ свадьбой ве-

черѣ у Антона Ивановича, онъ былъ положительнымъ героемъ, и только Настенька черезъ каждые полчаса бѣгала въ свою комнатку плакать и такъ потомъ пудрилась, что съ лица ея пудра сыпалась, какъ съ мельничнаго жернова мука и оба сосѣда ея въ черныхъ сюртукахъ побѣлѣли соотвѣтственно этому количеству. За ужиномъ всѣ поздравляли жениха и пили за его здоровье, а разошедшійся Антонъ Ивановичъ сказалъ:

— Одно, братъ, интересно: какого цвѣта будутъ у тебя дѣти?

— Полосатые,—мрачно сказалъ Ползиковъ.

— Какъ-же это, полосатые?—изумились гости.

— А такъ: полоска бѣлая, полоска черная, полоска бѣлая, полоска черная,—все также безнадежно пояснилъ Ползиковъ, которому всѣмъ сердцемъ жаль было стараго друга.

— Не можетъ этого быть!—возмутился поблѣднѣвшій Семенъ Васильевичъ, а Настенька, не сдержавшись, всхлипнула и выбѣжала изъ-за стола, чѣмъ произвела общій переполохъ.

Два года Семенъ Васильевичъ былъ самымъ счастливымъ человѣкомъ и всѣ радовались, глядя на него и вспоминая его необычайную судьбу. Однажды онъ былъ принятъ съ супругой у самаго его превосходительства и при рожденіи ребенка получилъ довольно крупное пособіе изъ сверхсмѣтныхъ суммъ, а вскорѣ затѣмъ, внѣ очереди, былъ назначенъ помощникомъ дѣлопроизводителя четвертаго стола. И ребенокъ родился не полосатый, а только слегка сѣрый, вѣрнѣе, оливковый. И всюду Семенъ Васильевичъ говорилъ о томъ, какъ горячо любитъ онъ жену и сына, но не торопился возвращаться домой, а возвратившись, не торопился дергать за ручку звонка. А когда на порогѣ его встрѣчали широкіе, какъ фортепіанные кла-

виши, зубы и вертящіяся бѣлыя тарелки, и гладко причесанная голова его прижималась къ чему-то черному, маслянистому и пахнущему мускусомъ, онъ весь замиралъ въ чувствѣ тоски и думалъ о тѣхъ счастливыхъ людяхъ, у которыхъ бѣлыя жены и бѣлыя дѣти.

— Милая!—говорилъ онъ покорно и, по настоянію счастливой матери, шелъ смотрѣть малютку. Онъ ненавидѣлъ губастаго, сѣраго, какъ асфальтъ малютку, но покорно нянчилъ его, мечтая въ глубинѣ души о возможности уронить его нечаянно на полъ.

Послѣ долгихъ колебаній и потаенныхъ вздоховъ онъ написалъ матери въ провинцію о своей женитьбѣ и къ удивленію получилъ отъ нея весьма радостный отвѣтъ. Ей тоже было пріятно, что сынъ у нея такой оригинальный человѣкъ, и что самъ его превосходительство былъ посаженнымъ отцомъ, а относительно черноты тѣла и дурного запаха она выражалась такъ: пусть морда овечья, была-бы душа человѣчья.

А черезъ два года Семенъ Васильевичъ умеръ отъ брюшного тифа. Передъ кончиной онъ послалъ за приходскимъ священникомъ и тотъ съ любопытствомъ оглядѣлъ бывшую миссъ Коррайтъ, расправилъ широкую бороду и многозначительно сказалъ:

— Н-да.

Но видно было, что онъ уважаетъ Семена Васильевича за оригинальность, хотя и считаетъ ее грѣховной. Когда батюшка наклонился къ умирающему, послѣдній собралъ остатки силъ и широко раскрылъ ротъ, чтобы закричать:

— Ненавижу этого черномазаго дьявола!

Но вспомнилъ онъ его превосходительство, пособіе изъ сверхсмѣтныхъ суммъ, вспомнилъ добраго Антона Ивановича и Настеньку, взглянулъ на черное заплаканное лицо и тихо сказалъ:

— Я, батюшка, очень люблю негритянокъ. Въ нихъ есть нѣчто экзотическое.

Послѣднимъ усиліемъ онъ придалъ своему костенѣвшему лицу подобіе счастливой улыбки и съ ней на устахъ скончался. И земля равнодушно приняла его, не спрашивая, любилъ онъ негритянокъ или нѣтъ, истлила его тѣло, смѣшала его кости съ неизвѣстными костями другихъ умершихъ людей и уничтожила всякій слѣдъ бѣлаго бумажнаго воротничка.

А второй департаментъ долго хранилъ память о Семенѣ Васильевичѣ, и когда дожидавшіеся просители начинали скучать, швейцаръ водилъ ихъ въ свою каморку курить и разсказывалъ объ удивительномъ чиновникѣ, который ужасно любилъ негритянокъ. И всѣмъ, разсказчику и слушателямъ, становилось пріятно.

ИНОСТРАНЕЦЪ.

(1902)

Съ одиннадцати часовъ утра вплоть до восьми вечера студентъ Чистяковъ ходилъ по урокамъ и только разъ въ недѣлю, по средамъ, когда занятія съ учениками начинались у него позже, заглядывалъ на минутку въ университетъ, чтобы отмѣтиться у педеля. На лекціи онъ никогда не заходилъ и не зналъ даже, гдѣ расположены аудиторіи для юристовъ второго курса, такъ какъ очень не любилъ профессоровъ и ближайшей весной собирался навсегда уѣхать за-границу—жить и учиться тамъ. Для этой именно цѣли онъ набралъ столько работы и копилъ деньги, а по вечерамъ, возвратившись съ уроковъ, занимался нѣмецкимъ языкомъ. Поселиться онъ рѣшилъ въ Германіи, въ Берлинѣ; тамъ уже съ годъ жилъ его старый пріятель и писалъ оттуда длинныя и восторженныя письма. И въ каждомъ письмѣ настойчиво звалъ его.

Но случалось по вечерамъ, что въ головѣ у Чистякова что-то шумѣло, какъ вода, падающая съ мельничнаго колеса; передъ утомленными глазами мелькали непріятныя лица учениковъ, и сильно болѣлъ лѣвый бокъ. Тогда заниматься нельзя было и онъ или ложился въ постель, считалъ накопленныя деньги и

мечталъ о своей жизни въ Берлинѣ, или шелъ внизъ, въ шестьдесятъ четвертый номеръ, гдѣ вечерами собирались обыкновенно студенты со всего „Сѣвернаго Полюса“,—такъ назывались номера, въ которыхъ онъ жилъ. Онъ не любилъ собиравшихся тамъ студентовъ, какъ не любилъ всего, что его окружало: не любилъ улицъ, по которымъ ходилъ, не любилъ комнаты, въ которой жилъ, не любилъ всей неустроенной, хаотичной, варварски-грубой и безсмысленной жизни. Даже хуже варваровъ казались ему люди, которыхъ онъ видѣлъ всюду, на улицахъ и въ домахъ: варвары были смѣлы, а эти только не уважали ни себя, ни другихъ, и часто выросталъ между ними страшный призракъ тупого насилія и безсмысленной жестокости. Но сознаніе, что скоро онъ уйдетъ отъ нихъ навсегда, увидитъ другихъ, хорошихъ людей, заживетъ настоящею устроенною и доброю жизнью, примиряло его съ остающимися людьми и вызывало странную грусть и тихое сожалѣніе. И когда онъ приходилъ къ нимъ, высокій, съ узкою и больной грудью, съ безкровнымъ лицомъ постника и лихорадочно блестящими глазами, его тихое „здравствуйте!“ звучало, какъ печальное „прощайте!“

А внизу въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ, всегда было весело, беззаботно и шумно. Отъ того, что въ номерѣ много пили водки и курили, много пѣли и кричали, спали на полу и на диванахъ, воздухъ въ немъ былъ сизый и тяжелый, сильно пахло спиртомъ и селедкой и всегда царилъ безпорядокъ, такой прочный и непобѣдимый, что Чистякову онъ иногда казался особеннымъ порядкомъ. И хозяева комнаты, Ванька Костюринъ и Пановъ были похожи на свою комнату: безпорядочные и прочно утвердившіеся въ своемъ безпорядкѣ, по утрамъ вмѣсто чая они пили водку или пиво, ночью бодрствовали, а днемъ спали.

Имущества у нихъ было очень мало, но на окнахъ всегда стоялъ рядъ порожнихъ бутылокъ, по росту, начиная отъ четверти и кончая соткой, а на стѣнѣ висѣли бубенъ и треугольникъ и лежала хорошая гармонія. Съ тѣхъ поръ, какъ одинъ изъ товарищей по номерамъ, сербъ Райко Вукичъ, однажды ночью прошелся съ бубномъ по корридору и страшно напугалъ всѣхъ жильцовъ, подумавшихъ про пожаръ, каждый вечеръ въ одиннадцать часовъ приходилъ корридорный Сергѣй и отбиралъ бубенъ до утра. А утромъ приносилъ его вмѣстѣ съ парою пива, и длинноусый Ванька Костюринъ, по утрамъ очень мрачный, исполнялъ на бубнѣ короткую пѣснь—тоже почему-то очень мрачную. А потомъ звонкой и веселой трелью разсыпалась гармонія—и начинался безтолковый и непонятный Чистякову день.

Когда вечеромъ въ шестьдесятъ четвертый номеръ приходилъ Чистяковъ, узкогрудый, болѣзненный, неся на себѣ слѣды трудового дня и строго опредѣленной жизненной цѣли, компанія встрѣчала его съ легкой насмѣшкой и недоброжелательствомъ.

— Иностранецъ ползетъ!—возвѣщалъ Ванька Костюринъ. И студенты смѣялись, такъ какъ всѣмъ своимъ лицомъ, длинными волосами, синей рубашкой, выглядывавшей изъ-подъ тужурки, Чистяковъ менѣе всего походилъ на иностранца. Да и говоръ у него былъ самый великорусскій: мягкій, округлый и задумчивый.

Не любили его студенты за то, что онъ былъ совершенно равнодушенъ къ ихъ жизни, не понималъ ея радостей и похожъ былъ на человѣка, который сидитъ на вокзалѣ въ ожиданіи поѣзда, куритъ, разговариваетъ, иногда даже какъ будто увлекается, а самъ не сводитъ глазъ съ часовъ. О себѣ онъ ничего не раз-

сказывалъ и никто не зналъ, почему въ двадцать девять лѣтъ онъ только на второмъ курсѣ, но зато много и подробно говорилъ онъ о за-границѣ и тамошней жизни. И всѣмъ, кого видѣлъ въ первый разъ, сообщалъ съ тихимъ восторгомъ гдѣ-то и когда-то услышанную имъ новость: что въ Христіаніи, на самой лучшей площади, народъ воздвигъ два прекрасныхъ памятника: Бьернсону и Ибсену, еще при жизни послѣднихъ, и когда Бьернсонъ и Ибсенъ проходятъ по площади, они видятъ свое изображеніе, отлитымъ изъ вѣчнаго чугуна и бронзы, и такъ радуются любви народа, что оба плачутъ. И разсказывая это, Чистяковъ глядѣлъ въ сторону и вѣки его наливались слезами и краснѣли.

Охотно разсказывалъ онъ и о томъ, сколько скоплено у него денегъ для за-границы—двѣсти двадцать рублей, и однажды онъ даже надоѣлъ всѣмъ студентамъ съ жалобою на то, какъ гнусно поступили съ нимъ на одномъ урокѣ, обсчитавъ его на одиннадцать рублей. Такъ, взяли и спокойно обсчитали, а когда онъ сталъ требовать, то сперва посмѣялись, а потомъ выгнали.

— Вѣдь это кровныя деньги!—говорилъ онъ съ гнѣвомъ и тоскою.—Вѣдь можетъ они мнѣ двухъ лѣтъ жизни стоятъ!

— Ну не ной, надоѣлъ!—сказалъ ему Ванька Костюринъ,—хочешь, мы тебѣ эти одиннадцать цѣлковыхъ соберемъ промежъ себя?

Онъ предложилъ это отъ чистаго сердца и былъ очень удивленъ и обиженъ, когда Чистяковъ съ негодованіемъ отклонилъ предложеніе.

— Не товарищъ ты!—сказалъ Костюринъ съ упрекомъ и всѣ согласились съ нимъ, что Чистяковъ не товарищъ. Это видно было и потому, съ какимъ презрительнымъ равнодушіемъ относился онъ ко всѣмъ

студенческимъ интересамъ: что бы важное ни случилось, какъ бы ни горячился народъ въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ, онъ молчалъ, разсѣянно барабанилъ пальцами по столу, и если дебаты затягивались, начиналъ зѣвать и уходилъ заниматься нѣмецкимъ языкомъ.

— Я не здѣшній!—говорилъ онъ съ шутливымъ извиненіемъ, но въ шуткѣ его была страшная и почему-то очень обидная правда. И было непріятно чувствовать, что они совсѣмъ не знаютъ этого узкогрудаго человѣка, который такъ прямо идетъ къ своей цѣли и не хочетъ сказать, откуда взялось въ его больной груди столько силы и рѣшимости.

И особенно не любилъ его Ванька Костюринъ: самъ онъ носилъ высокіе сапоги, а лѣтомъ въ деревнѣ поддевку, уважалъ все русское, водку, квасъ, жирныя щи и мужиковъ, и старался говорить грубымъ голосомъ и по простонародному; вмѣсто «кажется» говорилъ «кажись» и часто употреблялъ слово «давеча». И онъ не понималъ упорнаго стремленія Чистякова за-границу и причислялъ его почему-то къ той же категоріи явленій, какъ бѣлыя перчатки, постоянная трезвость, визиты и модные сапоги; и два другія названія, данныя имъ Чистякову, были такія: аристократъ и собачья старость. Остальные были равнодушны ко всему русскому, охотно бранили его и говорили Чистякову, что и сами поѣхали бы учиться и жить за-границей, если бы деньги. А онъ уговаривалъ ихъ, доказывалъ, что денегъ всегда можно достать, волновался, но потомъ вглядывался въ ихъ добродушныя, полупьяныя рожи, вспоминалъ всю ихъ лѣнивую, распущенную жизнь—и равнодушно умолкалъ. Гдѣ-нибудь въ углу на смятой постели онъ усаживался и смотрѣлъ оттуда блестящими и далекими глазами, такой блѣдный, узкогрудый и рѣшительный.

А остальные весело и беззаботно жили со всею безпечностью молодости и здоровья, какъ будто не было у нихъ ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, ни проклятыхъ вопросовъ, которые несетъ съ собою проклятая дѣйствительность. Широкоплечій, волосатый, толстошеій Толкачевъ, съ маленькими и тупыми глазками, показывалъ силу своихъ мышцъ, подымалъ гири и заставлялъ всѣхъ смотрѣть на себя и восхищаться: онъ былъ членомъ гимнастическаго общества, признавалъ одну только силу и открыто презиралъ Университетъ, студентовъ, науку и всякіе вопросы. И многіе его ненавидѣли, но боялись его чудовищной силы, его грубости, которая ни передъ чѣмъ не останавливается, и даже за глаза не рѣшались говорить о немъ дурно. И когда кто-нибудь, выведенный изъ терпѣнія, начиналъ спорить съ нимъ, то всегда начиналъ споръ словами:

— Конечно, всякій свободенъ въ своихъ убѣжденіяхъ, но ты, Костя, едва-ли правъ...

А онъ не понималъ этой деликатности и спокойно обрывалъ споръ:

— Ну, стоитъ съ вами, съ дураками, разговаривать. Будь моя воля, я каждый бы день всѣхъ васъ на конюшнѣ бы далъ.

И всѣ дѣлали видъ, что онъ шутитъ, и смѣялись. Хозяинъ Пановъ крошилъ лукъ для селедки и плакалъ; сербъ Райко Вукичъ, низенькій, сухой, жилистый, горбоносый, съ острымъ раздвоеннымъ подбородкомъ, по которому выступала колючая щетина, и обвисшими усами, глядѣлъ на водку, молчалъ и ждалъ, когда нальютъ. Этотъ Райко былъ чудакъ. Трезвый онъ молчалъ, а когда выпивалъ немного водки, то начиналъ смѣшнымъ и ломаннымъ языкомъ горячо и упорно разсказывать про Сербію—какія то мелкія и неинтерес-

ныя вещи: о партіяхъ, о радикалахъ и туркахъ, о какомъ-то скверномъ и ужасномъ человѣкѣ Бодемличѣ и еще о чемъ-то. И онъ такъ расхваливалъ маленькую и плохенькую Сербію, что всѣ умирали со смѣху и нарочно дразнили его.

— Господи!—удивлялся Ванька Костюринъ.—Говоритъ про Сербію, а она вся-то съ эту селедку. Возьметъ ее турокъ, да и проглотитъ.

— Подавится!—возражалъ Райко, щетинясь усами, подбородкомъ, острыми глазками, всей своей колючей и жилистой фигуркой.

— И выплюнетъ: экая дрянь, скажетъ!

Райко вспыхивалъ, окидывалъ гнѣвнымъ взглядомъ собравшихся и свирѣпо бросалъ:

— Осли!

И уходилъ въ свой номеръ. Товарищи хохотали, а Чистяковъ, печально улыбаясь, думалъ, какая это дѣйствительно маленькая и грустная страна задорныхъ и слабенькихъ людей, постоянной неурядицы, чего-то мелкаго и жалкаго, какъ игра дѣтей въ солдаты. И ему было жаль маленькаго Райко и хотѣлось взять его за-границу, чтобы онъ увидѣлъ тамъ настоящую, широкую и умную жизнь.

Когда бутылки на половину пустѣли, студенты начинали пѣть, играть на гармоніи и кого-нибудь посылали за Райко, который считался спеціалистомъ по бубну. Райко являлся и мрачно бубнилъ, а глаза его горѣли, словно у волка, и были остры, какъ жало осы. Если становилось очень весело и разгоряченная кровь ходуномъ начинала ходить по жиламъ, Ванька Костюринъ вскакивалъ, подергивалъ плечами и плясалъ русскую. Громоздкій и неуклюжій, въ пляскѣ онъ былъ легокъ и перышкомъ носился по комнатѣ: выбивалъ каблуками частую дробь, взвизгивалъ, гикалъ, и

вся комната точно вертѣлась и дрожала отъ стука, заливистыхъ звуковъ гармоніи и захлебывающагося рычанія бубна. И у всѣхъ смотрѣвшихъ сверкали глаза, подергивались руки и ноги, и кто-нибудь отходилъ въ уголъ, съ безнадежнымъ восторгомъ махалъ рукою и откуда-то изъ глубины выдыхалъ томительное и сладкое: э-э-хъ! И всѣ они казались Чистякову похожими на сумасшедшихъ.

Кончивъ пляску и тяжело отдуваясь, Ванька Костюринъ просилъ Райко:

— А ну, Райко, покажи, какъ у васъ пляшутъ. Не бойсь, такъ не умѣютъ.

— Такъ не умѣютъ, а лучше умѣютъ.

— Да ты покажи, не бойся! Я знаю, у васъ хорошо пляшутъ.

Всѣ уговаривали, и Райко, пугливо и злобно озираясь, откладывалъ бубенъ. Потомъ лицо его становилось свирѣпымъ и кровожаднымъ, и онъ дѣлалъ нѣсколько странныхъ, порывистыхъ и колючихъ движеній—какъ будто не плясать онъ собирался, а душить, царапать и убивать. Безъ музыки, серьезный, немного страшный, онъ такъ похожъ былъ на маленькаго дикаря, что всѣ разражались хохотомъ, а Райко опять обиженно ругался и уходилъ.

„Какъ они грубы!“—думалъ Чистяковъ и ему было жаль маленькаго Райко, такъ сильно любившаго свою маленькую родину.

Бывалъ въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ студентъ Каруевъ, всегда ровный, всегда веселый, и слегка высокомѣрный. При немъ все нѣсколько мѣнялось: пѣлись только хорошія пѣсни, никто не дразнилъ Райко и силачъ Толкачевъ, не знавшій границъ ни въ наглости, ни въ раболѣпствѣ, услужливо помогалъ ему надѣвать пальто. А Каруевъ иногда умыш-

ленно забывалъ поздороваться съ нимъ и заставлялъ его дѣлать фокусы, какъ ученую собаку:

— Ну-ка ты, мясо, подними-ка столъ за ножку!

Толкачевъ самодовольно поднималъ.

— А ну-ка согни двугривенный.

Толкачевъ сгибалъ и стыдливо говорилъ:

— А папаша у меня могъ кочергу въ бантикъ завязать.

Но Каруевъ уже не слушалъ его и шелъ разговаривать къ одиноко сидѣвшему Чистякову. Съ нимъ онъ былъ всегда серьезенъ и жалѣюще внимателенъ, какъ докторъ, и когда разговаривалъ, то близко и ласково заглядывалъ ему въ глаза. А Чистяковъ тоже жалѣлъ его и постоянно звалъ съ собою за-границу.

— Ну какъ, ѣдете?—спрашивалъ Каруевъ.

— Двѣсти двадцать собралъ. Еще сто восемьдесятъ не хватаетъ. А вы?—улыбался Чистяковъ.

— А я нѣтъ. Тяжело вамъ тамъ будетъ, голубчикъ. Здоровье-то ваше...

— Тамъ климатъ хорошій.

— Такъ-то оно такъ, а все же лучше бы въ Крымъ..

Блѣдное лицо Чистякова стало еще блѣднѣе и вѣки напряженно покраснѣли. Дрожа отъ боли и ужаса, точно у него отъ сердца отдирали его за-границу, онъ съ тоскою и отчаяніемъ прошепталъ:

— Я умру здѣсь. Умру. Господи! тамъ люди, тамъ жизнь, а тутъ...—онъ безнадежно махнулъ рукою.

— Ну-ну!—успокаивалъ его Каруевъ.—И поѣзжайте съ Богомъ, если такъ хочется.

— Тамъ, вы знаете, — умиленно шепталъ Чистяковъ,—тамъ въ Христіаніи Бьернсону заживо памятникъ поставили. И Ибсену. И они каждый день... мимо ходятъ и видятъ это. Господи! Хоть бы только коснуться той земли, хоть бы только разъ вздохнуть тѣмъ воз-

духомъ!.. Грудь у меня слабая, чахотка, говорятъ, можетъ быть. Умереть бы тамъ.

Каруевъ ласково погладилъ его по колѣну.

— Не умрете. Насъ еще переживете! А должно быть жизнь-то порядочно васъ поломала. Ишь, нервы.

— Нервы! — улыбнулся Чистяковъ. — Не нервы, а вотъ,—онъ ткнулъ себя въ грудь,—вотъ гдѣ сидитъ у меня ваша жизнь!

И началъ разсказывать, какъ дешево все за-границей, а люди только дороги. Не такъ какъ у насъ: все дорого, а люди дешевы.

II.

На вторую половину года жить Чистякову стало труднѣе. Силы у него убавилось, чаще болѣлъ лѣвый бокъ, и на урокахъ онъ легко раздражался, а ученики были тупые, дерзкіе и лѣнивые. И среди студентовъ въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ стало хуже. Тамъ произошла исторія, которую всѣ скоро позабыли, а Чистяковъ забыть не могъ, такъ больно она поразила его. Это было еще въ ноябрѣ: силачъ Толкачевъ ударилъ Ваньку Костюрина по лицу, за что-то поссорившись съ нимъ. Былъ поздній вечеръ, они стояли толпою на дворѣ, всѣ были сильно пьяны и смутно понимали, что происходитъ.

— За что ты меня?—крикнулъ Костюринъ.

— А вотъ за что!—сказалъ Толкачевъ и еще разъ ударилъ, такъ что Костюринъ перегнулся на двое, едва устоялъ на ногахъ, и на зубахъ его показалась кровь. Всѣ хмурились, кричали, но никто не рѣшался вступиться, и только Чистяковъ съ истерическимъ вскрикомъ бросился на огромнаго Толкачева и неловко ударилъ его, ушибивъ себѣ большой палецъ. Потомъ что-

то тяжелое, какъ пудовая гиря, обрушилось на его голову, онъ упалъ, а когда поднялся, всѣ стояли кружкомъ и наскакивали на Толкачева, но не били его, а только кричали. Но все же онъ немного струсилъ и оправдывался, сваливая всю вину на Костюрина; послѣдній выплевывалъ на снѣгъ черную слюну и говорилъ:

— Братцы, развѣ такъ можно!

И черезъ десять минутъ ихъ помирили. Они протянули руки и поцѣловались, а Чистяковъ всплеснулъ руками и заплакалъ отъ боли, отъ скорби и гнѣва.

— Господи! Его бьютъ, а онъ цѣлуется. Вѣдь это подлость!

— А тебѣ что?—черезъ плечо спросилъ его Толкачевъ.—Хочешь, черезъ крышу перекину?

— Иностранецъ!—презрительно сказалъ Костюринъ и всѣ, галдя и смѣясь, тронулись къ воротамъ, а Чистяковъ пошелъ въ свой номеръ, легъ и долго плакалъ въ темнотѣ. Насиліе, несправедливость, какъ туча, стояли надъ нимъ, и далекимъ, недоступнымъ раемъ казались ему чудные и свѣтлые края. „Хоть бы умереть тамъ!“—думалъ онъ, смертельно тоскуя.

На другой день Костюрину стало совѣстно и онъ первый разъ за все время знакомства пришелъ въ номеръ къ Чистякову, долго и смущенно оглядывался и хвалилъ комнату.

— Какъ тутъ у тебя чудно! Словно у монашенки!—говорилъ онъ, а потомъ сразу заплакалъ и по длиннымъ перекосившимся усамъ его катились большія, свѣтлыя слезы и капали на красное сукно номерного грязнаго стола. А черезъ недѣлю все забылось, и Толкачевъ опять показывалъ силу своихъ мускуловъ и заставлялъ восхищаться ими, но теперь Чистяковъ не могъ безъ ужаса смотрѣть на его красную толстую

шею и огромный кулакъ, и чувствовалъ себя въ его присутствіи такимъ беззащитнымъ и слабымъ, какъ цыпленокъ передъ ястребомъ. Грубая и тупая сила грозно стояла передъ нимъ и ни въ чемъ не было защиты. Всетаки онъ пересталъ подавать Толкачеву руку, но тотъ встрѣтилъ это презрительнымъ и искреннимъ хохотомъ и часто заговаривалъ съ нимъ:

— Ну, иностранецъ! Скоро тебя черти унесутъ заграницу? Поскорѣе, а то соберусь какъ-нибудь и ребра тебѣ пощупаю.

Чистякову было страшно; онъ молчалъ и думалъ: „не понимаетъ даже, что неприлично заговаривать съ человѣкомъ, который не подаетъ руки“. А Толкачевъ хохоталъ:

— Не бойся: я вѣдь шучу. На что ты мнѣ нуженъ, собачья старость!

И всѣ облегченно вздыхали, такъ какъ боялись, что Толкачевъ и вправду побьетъ его, и иногда уговаривали Чистякова помириться.

— Вѣдь онъ хорошій малый—говорили они полуискренно, такъ какъ и за глаза не рѣшались говорить о Толкачевѣ правду и не рѣшались думать ее. И только одинъ Каруевъ одобрилъ Чистякова и почти пересталъ бывать въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ.

Денегъ было скоплено двѣсти девяносто рублей, и была надежда, что къ веснѣ, къ апрѣлю мѣсяцу, Чистяковъ соберетъ всѣ четыреста. У него было бы больше, но на одномъ урокѣ у купца опять не додали десяти рублей, хотя обѣщались заплатить, а кромѣ того пятнадцать рублей онъ далъ Райко, который почти ничего не получалъ изъ дому и содержался на деньги товарищей: за его долю въ квартирѣ плату вносилъ Ванька Костюринъ. Съ деньгами въ карманѣ Чистяковъ сталъ спокойнѣе и увѣреннѣе. По цѣлымъ вече-

рамъ онъ просиживалъ у себя въ номерѣ, мечтая о томъ, какъ хорошо онъ будетъ жить за-границей, и уже началъ укладывать нѣкоторыя мелкія вещи. И когда укладывалъ, сердце его наполняла тихая, прозрачная и чистая, какъ ключевая вода, печаль—о чемъ-то далекомъ, неизвѣданномъ и миломъ, и постоянно казалось, что онъ что-то забываетъ захватить съ собою, что-то очень важное и дорогое, безъ чего ему предстоитъ много непріятностей.

Къ товарищамъ онъ сталъ относиться мягче, не сердился на нихъ и только жалѣлъ. Жалѣлъ, что они остаются съ ужаснымъ Толкачевымъ; жалѣлъ, что они такъ пьютъ и вся ихъ жизнь будетъ тусклая, тоскливая, какъ у другихъ, и ничего не удастся имъ изъ того хорошаго, о чемъ они иногда мечтаютъ. Странная, неустроенная, кошмарная жизнь, похожая на дикій сонъ, пожретъ ихъ, какъ сожрала тысячи другихъ, и тщетны будутъ ихъ попытки устроить другую, лучшую жизнь. И особенно жаль ему было энергичнаго и смѣлаго Каруева, который бьется головой о стѣну и послѣднее время сдѣлался очень мраченъ и неровенъ.

— Поѣдемте!—уговаривалъ Чистяковъ.

— Куда?—не понималъ Каруевъ,

— Да за-границу.

Каруевъ раздраженно отвѣтилъ:

— А я думалъ что!—но потомъ спохватился и вѣжливо добавилъ, — конечно, поѣзжайте. Чего-жъ вамъ тутъ сидѣть? Полѣчитесь тамъ, нервы подвинтите.

— Я лѣто хочу въ Швейцаріи прожить.

— Вотъ, вотъ! На что лучше,—похвалилъ Каруевъ и вѣжливо, какъ съ малознакомымъ, простился съ Чистяковымъ. Онъ тоже куда-то на время уѣзжалъ.

Въ серединѣ марта одинъ изъ хозяевъ шестьдесятъ

четвертаго номера, Пановъ, праздновалъ свои именины и позвалъ Чистякова. Ѣздили уже на колесахъ и когда Чистяковъ вышелъ съ послѣдняго урока, на него пахнуло отрадной свѣжестью и первымъ весеннимъ тепломъ. „Скоро!“ подумалъ онъ, и сердце его трепыхнулось, какъ птица, и выросло въ душѣ что-то печальное, и больное, какъ у всѣхъ уѣзжающихъ надолго, навсегда,— и потонуло въ волнѣ широкой радости и торжества. Ночное небо надъ городомъ было черное и по небу таинственно неслись огромные, бѣлые хлопья облаковъ, какъ гигантскія бѣлыя птицы. Въ одну сторону неслись они, и былъ въ ихъ быстромъ и молчаливомъ полетѣ могучій призывъ къ такому же вольному и счастливому полету. „Скоро! Скоро!“—думалъ Чистяковъ.

Народъ уже давно собрался, когда онъ пришелъ въ номера; было уже выпито водки и чаю, и всѣ собирались пѣть. Чистяковъ устало усѣлся въ углу, на сложенныхъ кучею пальто и съ дружелюбной грустью смотрѣлъ на собравшихся: всего только черезъ мѣсяцъ онъ уѣзжалъ надолго—навсегда. Спѣли хоромъ двѣ студенческія пѣсни, а потомъ выдѣлились трое: консерваторка Михайлова, у которой было хорошее сопрано, самъ именинникъ, пѣвшій сильнымъ и красивымъ басомъ, и еще одинъ бѣлокурый студентъ, теноръ. Тишина наступила и басъ одиноко и медленно запѣлъ, и Чистяковъ вздрогнулъ: такъ неожиданно хороша была пѣсня:

Поко-койной но-о-чи всѣмъ уста-а-вшимъ...

Торжественнымъ покоемъ, великой грустью и любовью были проникнуты величавые, могуче сдержанные звуки: кто-то большой и темный, какъ сама ночь, кто-то всевидящій и оттого жалѣющій и безконечно пе-

чальный, тихо окутывалъ землю своимъ мягкимъ покровомъ, и до крайнихъ предѣловъ ея долженъ былъ дойти его мощный и сдержанный голосъ. „Боже мой, вѣдь это о насъ, о насъ!“—подумалъ Чистяковъ и весь потянулся къ пѣвцамъ.

И когда замеръ послѣдній звукъ, вступилъ звонкій теноръ и повторилъ—какъ будто отозвалась земля на жалѣющія и ласковыя слова и мольбою дышала ея молитвенная рѣчь:

— Покойной но-о-чи всѣмъ уста-а-вшимъ...

И съ той же величавой грустью и покоемъ лился въ пространствѣ томный, мужественный басъ:

— Весь день свой отдыха не зна-а-вшимъ...

Что-то сверкающее и драгоцѣнное, какъ слезы, упало съ высокаго неба и пронизало тьму широкаго, густого баса и нѣжнымъ горячимъ стономъ смѣшалось съ воплями земли.

— Трудомъ купившимъ св-ой по-о-кой!..

„Боже мой, Боже мой! вѣдь это она поетъ!“—подумалъ Чистяковъ, вглядываясь въ поблѣднѣвшее лицо дѣвушки.—„О, милая, вѣдь это о насъ, о насъ!“

— И всѣ трое, смѣшавъ голоса, пронизывая ими другъ друга, слившись въ одну величавую, скорбную гармонію, повторили:

— Покойной ночи всѣмъ уставшимъ,
Весь день свой отдыха не знавшимъ,
Трудомъ купившимъ свой по-о-кой!

Потомъ пѣлись другія грустныя пѣсни, но Чистяковъ не слыхалъ ихъ, и все въ немъ трепетало отъ безконечной жалости къ себѣ, который весь день безъ устали трудился, къ кому-то безличному, большому, нуждавшемуся въ покоѣ, въ любви и тихомъ отдыхѣ.

Привелъ его въ себя веселый и шумный разговоръ вокругъ Райко Вукича. Его опять дразнили, а онъ сверхъ обыкновенія молчалъ и только острые, какъ жало осы, глазки перебѣгали съ одного на другого и двигался щетинистый, раздвоенный подбородокъ.

— А что, Райко,—спрашивалъ Ванька Костюринъ,— у васъ у всѣхъ тамъ носы крючкомъ, какъ у тебя?

Райко медленно отвѣтилъ:

— На дняхъ серба одного, Боіовича, на границѣ зарѣзали. Турци зарѣзали.

И всѣмъ ясно представился зарѣзанный сербъ, какой-то Боіовичъ, у котораго мертвецки желтый и крючковатый носъ, какъ у Райко, и на горлѣ широкая черная рана. Было непріятно, и Костюринъ съ дѣланнымъ смѣхомъ сказалъ:

— Эка важность! Много еще осталось.

Райко ощетинился, поблѣднѣлъ и колючки на его раздвоенномъ подбородкѣ задрожали. И когда онъ заговорилъ, голосъ у него былъ металлическій и рѣзкій.

— Ти обманщикъ. Зачѣмъ ти пляшешь русскаго? У тебя нѣтъ родины, нѣтъ дома! Ти свинья.

Но отвѣтилъ Чистяковъ, точно упрекъ касался его. Глухо и спокойно онъ сказалъ:

— А ты, Райко, любишь Сербію?

— Ну да, люблю.

— А.

Всѣ молчали—и, схвативъ круглый столовый ножъ, потрясая имъ въ воздухѣ, Райко дико закричалъ.

— Убію! Ой, какой я злой! Какъ у меня болитъ сердце! Ой, какъ болитъ!..

Онъ съ силою пустилъ ножъ въ стѣну, и ножъ ударился плашмя и со звономъ отскочилъ. Райко, не глядя, вышелъ.

Черезъ полчаса за нимъ отправился Чистяковъ; ему было жаль маленькаго Райко, такъ сильно любившаго свою маленькую, смертельно обидѣвшую его родину. Когда онъ еще шелъ по длинному, полутемному коридору, теряясь среди одинаковыхъ, похожихъ одна на другую, дверей, уха его коснулись какіе-то странные звуки, похожіе на вой или крикъ о помощи. На другой двери была надпись мѣломъ „Райко Вукичъ", и оттуда шли эти странные и теперь громкіе звуки. На стукъ Чистякова отвѣта не было, и онъ вошелъ, смутно различая на свѣтломъ фонѣ окна маленькую острую фигурку Райко: онъ сидѣлъ на подоконникѣ, въ темнотѣ, и пѣлъ необыкновенно высокимъ гортаннымъ голосомъ.

— Райко!—тихо окликнулъ его Чистяковъ.

Но Райко не слышалъ. Онъ не слышалъ, какъ хлопнула дверь, онъ не слышалъ шаговъ Чистякова и его голоса; онъ глядѣлъ на высокую кирпичную стѣну съ черной полосой дымной копоти, и пѣлъ. О далекой родинѣ онъ пѣлъ; о ея глухихъ страданіяхъ, о слезахъ осиротѣвшихъ матерей и женъ; онъ молилъ ее, далекую родину, взять его, маленькаго Райко, и схоронить у себя и дать ему счастье поцѣловать передъ смертью ту землю, на которой онъ родился; о жестокой мести врагамъ онъ пѣлъ; о любви и состраданіи къ побѣжденнымъ братьямъ, о сербѣ Боіовичѣ, у котораго на горлѣ широкая черная рана, о томъ, какъ болитъ сердце у него, маленькаго Райко, разлученнаго съ матерью родиной, несчастной, страдающей родиной.

Чистяковъ не понималъ словъ, но онъ слышалъ звуки, и дикіе, грубые, стихійные, какъ стонъ самой земли, похожіе скорѣе на вой заброшеннаго одинокаго пса, чѣмъ на человѣческую пѣсню—они дышали такой

безысходной тоскою и жгучею ненавистью, что не нужно было словъ, чтобы видѣть окровавленное сердце пѣвца.

На высокой, гнѣвно-пронзительной нотѣ замеръ голосъ Райко, и такъ долго сидѣли они и молчали. Потомъ Чистяковъ подошелъ ближе и увидѣлъ сухіе и злобные, горящіе, какъ у волка, глаза.

— Райко!—сказалъ онъ.—Ты давно не былъ на родинѣ, съѣзди туда, я дамъ тебѣ денегъ. У меня есть лишнія.

— Тамъ домъ есть,—задумчиво сказалъ Райко.

— Какой домъ?

— Такъ. Домъ такой стоитъ. Развѣ ти не знаешь, какой бываетъ домъ? Обыкновенній. И когда мимо него идетъ арба, она скрипитъ: уай, уай.

— Возьми денегъ, Райко.

— Не мѣшай мнѣ,—сказалъ Райко.—Не мѣшай, пожалюста. Ступай къ своимъ, а я буду однимъ. У меня очень болитъ сердце.

Но Чистяковъ не пошелъ къ своимъ; онъ отправился въ свой номеръ, сѣлъ на подоконникъ, какъ Райко, и сталъ смотрѣть на небо, на которомъ онъ прочелъ сегодня что-то хорошее. Все также таинственно и молчаливо неслись гигантскія и бѣлыя птицы и между ними чернѣло провалами бездонное небо, но чуждъ и холоденъ былъ теперь этотъ счастливый полетъ и ничего не говорилъ онъ задумавшемуся человѣку.

— „Вотъ и я полечу!—думалъ Чистяковъ, стараясь припомнить недавнее ощущеніе свободы и легкости, но другое смутное и властное чувство выростало въ его груди и билось, и трепетало, какъ запертая птица. И онъ понялъ, что это: ему страстно хотѣлось пѣть, какъ Райку, и тоже пѣть о родинѣ. И онъ обрадовался,

что понялъ, улыбнулся и совсѣмъ ясно ощутилъ запертые въ его груди звуки мольбы и горячія звучныя слезы. Онъ открылъ ротъ—но стало неловко, что кто-нибудь можетъ взойти и застать его поющимъ, и онъ заперъ дверь двойнымъ поворотомъ ключа. И назадъ, къ окну, онъ шелъ почему-то на цыпочкахъ.

— Ну!—сказалъ онъ себѣ и запѣлъ что-то безъ словъ—и такъ жидокъ, такъ подло нерѣшителенъ былъ пронесшійся и въ жалкихъ корчахъ умершій звукъ, что Чистякову стало страшно. „Нужно слова, безъ словъ нельзя“—торопливо оправдывался онъ и началъ искать слова; и множество словъ замелькало въ его мозгу, но среди нихъ не было ни одного, рожденнаго любовью къ родинѣ. Всю свою память, все свое воображенье напрягалъ онъ, искалъ въ прошломъ, искалъ въ книгахъ, которыя прочелъ—и много было звучныхъ и красивыхъ словъ, но не было ни одного, съ какимъ страдающій сынъ могъ бы обратиться къ своей матери-родинѣ. Онъ чувствовалъ его близко, онъ почти видѣлъ это слово и зналъ, чѣмъ оно отличается отъ другихъ: всѣ другія слова плоски и бѣдны, какъ нищіе на паперти, а это облито кровью и слезами, какъ раскаленный уголь, и свѣтло, какъ небесный огонь—и не могъ найти его. И такимъ пустымъ и бѣднымъ почувствовалъ онъ себя, какъ послѣдній нищій, самый послѣдній нищій, у котораго душа черства, какъ брошенное ему подаяніе.

— Боже мой! Боже мой!—шепталъ онъ въ ужасѣ,—да какъ же это? Вѣдь я хорошій человѣкъ! Я хорошій человѣкъ!

И онъ подумалъ, что скорѣе найдетъ то, что нужно, если станетъ писать. Ломая спички дрожащими руками, онъ зажегъ свѣчу, яростно сбросилъ со стола

нѣмецкій учебникъ и задумался надъ листомъ бѣлой бумаги. И нерѣшительно, запинаясь, рука его вывела:

„Родина".

И остановилась. И болѣе твердо повторила:

— Родина!

И быстро, большими буквами онъ закончилъ:

— Прости меня!

Чистяковъ взглянулъ на написанное и упалъ лицомъ внизъ на бумагу и заплакалъ отъ жалости къ родинѣ, къ себѣ, ко всѣмъ трудившимся и не знавшимъ отдыха. И ему страшно стало, что онъ могъ уѣхать надолго, навсегда, и умереть тамъ, въ чужихъ краяхъ, и угасающимъ слухомъ ловить чужую и чуждую рѣчь. И понялъ онъ, что не можетъ онъ жить безъ родины и не можетъ быть счастливъ, пока несчастна она, и въ этомъ новомъ чувствѣ была могучая радость и могучая, стихійная, тысячеголосая скорбь. Она разбила оковы, въ которыхъ томилась его душа; она слила ее съ душой невѣдомаго многоликаго страдающаго брата—и словно тысяча огнепныхъ сердецъ колыхнулось въ его больной, измученной груди. И въ горячихъ слезахъ онъ сказалъ:

— Возьми меня, родина!

А внизу опять запѣлъ Райко, и дико свободны и смѣлы были гнѣвно тоскующіе звуки его пѣсни.

ПРЕДСТОЯЛА КРАЖА

(1902)

Предстояла крупная кража, а быть можетъ убійство. Нынче ночью предстояла она—и скоро нужно было идти къ товарищу, а не ждать въ бездѣйствіи дома и не оставаться одному. Когда человѣкъ одинъ и бездѣйствуетъ, то все пугаетъ его и злорадно смѣется падъ нимъ темнымъ и глухимъ смѣхомъ.

Его пугаетъ мышь. Она таинственно скребется подъ поломъ и не хочетъ молчать, хотя надъ головой ея стучатъ палкой такъ сильно, что страшно становится самому. И на секунду она замираетъ, но когда успокоенный человѣкъ ложится, она внезапно появляется подъ кроватью и пилетъ доски такъ громко-громко—что могутъ услышать на улицѣ, и придти и спросить. Его пугаетъ собака, которая рѣзко звякаетъ на дворѣ своей цѣпью и встрѣчаетъ какихъ-то людей; и потомъ они, собака и какіе-то люди, долго молчатъ и что-то дѣлаютъ; ихъ шаговъ не слышно, но они приближаются къ двери, и чья-то рука берется за скобку. Берется и держитъ, не отворяя.

Его страшитъ весь старый и прогнившій домъ, какъ будто вмѣстѣ съ долголѣтней жизнью среди стонущихъ, плачущихъ, отъ гнѣва скрежещущихъ зубами людей—къ нему пришла способность говорить и дѣлать не-

опредѣленныя и страшныя угрозы. Изъ мрака его кривыхъ угловъ кто-то упорно смотритъ, а когда поднести лампу онъ безшумно прыгаетъ назадъ и становится высокой черной тѣнью, которая качается и смѣется—качается и смѣется, такая страшная на круглыхъ бревнахъ стѣны. По низкимъ потолкамъ его кто-то ходитъ тяжелыми стопами; шаговъ его почти не слышно, но доски гнутся, а въ пазы сыплется мелкая пыль. Она не можетъ сыпаться, если нѣтъ никого на темномъ чердакѣ и никто не ходитъ и не ищетъ чего-то. А она сыплется, и паутина, черная отъ копоти, дрожитъ и извивается. Къ маленькимъ окнамъ его жадно присасывается молчаливая и обманчивая тьма и кто знаетъ?—быть можетъ, оттуда съ зловѣщимъ спокойствіемъ невидимокъ глядятъ тусклыя лица и другъ другу показываютъ на него:

— Смотрите! смотрите! Смотрите на него!

Когда человѣкъ одинъ, его пугаютъ даже люди, которыхъ онъ давно знаетъ. Вотъ они пришли, и человѣкъ былъ радъ имъ; онъ весело смѣялся и спокойно глядѣлъ на углы, въ которыхъ кто-то прятался, на потолокъ, по которому кто-то ходилъ—теперь никого уже нѣтъ, и доски не гнутся, и не сыплется больше тонкая пыль. Но люди говорятъ слишкомъ много и слишкомъ громко. Они кричатъ, какъ будто онъ глухой, и въ крикѣ теряются слова и ихъ смыслъ; они кричатъ такъ обильно и громко, что крикъ ихъ становится тишиной, и слова ихъ дѣлаются молчаніемъ. И слишкомъ много смотрятъ они. У нихъ знакомыя лица, но глаза ихъ чужіе и странные и живутъ отдѣльно отъ лица и его улыбки. Какъ будто въ глазныя щели старыхъ, приглядѣвшихся лицъ смотритъ кто-то новый, чужой, все понимающій и страшно хитрый.

И человѣкъ, которому предстояла крупная кража,

а быть можетъ убійство, вышелъ изъ стараго, покосившагося дома. Вышелъ и облегченно вздохнулъ.

Но и улица,—безмолвная и молчаливая улица окраинъ, гдѣ строгій и чистый снѣгъ полей борется съ шумнымъ городомъ и властно вторгается въ него нѣмыми и бѣлыми потоками,—пугаетъ человѣка, когда онъ одинъ. Уже ночь, но тьмы нѣтъ, чтобы скрыть человѣка. Она сбирается гдѣ-то далеко, впереди и сзади и въ темныхъ домахъ съ закрытыми ставнями и прячетъ всѣхъ другихъ людей,—а передъ нимъ она отступаетъ, и все время онъ идетъ въ свѣтломъ кругу, такой обособленный и всѣмъ видимый, какъ будто поднятъ онъ высоко на широкой и бѣлой ладони. И въ каждомъ домѣ, мимо котораго движется его сгорбленная фигура, есть двери, и всѣ онѣ смотрятъ такъ сторожко и напряженно, какъ будто за каждой изъ нихъ стоитъ готовый выскочить человѣкъ. А за заборами, за длинными заборами, разстилается невидимое пространство: тамъ сады и огороды, и тамъ никто не можетъ быть въ эту холодную зимнюю ночь,—но если бы кто-нибудь притаился съ той стороны и въ темную щель глядѣлъ бы на него чужими и хитрыми глазами, онъ не могъ бы догадаться о его присутствіи. И отъ этого онъ перебрался на средину улицы и шелъ по ней, обособленный и всѣмъ видимый, а отовсюду провожали его глазами сады, заборы и дома.

Такъ вышелъ человѣкъ на замерзшую рѣку. Дома, полные людей, остались за предѣлами свѣтлаго круга и только поле, и только небо холодными свѣтлыми очами глядѣли другъ на друга. Но было неподвижно поле, а все небо быстро бѣжало куда-то, и мутный, побѣлѣвшій мѣсяцъ стремительно падалъ въ пустоту бездоннаго пространства. И ни дыханія, ни шороха, ни тревожной тѣни на снѣгу—хорошо и просторно стало

кругомъ. Человѣкъ расправилъ плечи, широко и злобно взглянулъ назадъ на оставленную улицу и остановился.

— Покуримъ!—сказалъ онъ громко и хрипло, и спичка слегка освѣтила широкую черную бороду. И тутъ же выпала изъ вздрогнувшей руки, такъ какъ на слова его пришелъ отвѣтъ—странный и неожиданный отвѣтъ среди этого мертваго простора и ночи. Нельзя было понять: голосъ это или стонъ, далеко онъ или близко, угрожаетъ онъ или зоветъ на помощь. Что-то прозвучало и замерло.

Долго ждалъ напуганный человѣкъ, но звукъ не повторялся. И, еще подождавъ, онъ еще спросилъ:

— Кто тутъ?

И такъ неожиданъ и изумительно простъ былъ отвѣтъ, что человѣкъ разсмѣялся и безсмысленно выругался: то щенокъ визжалъ—самый обыкновенный и, должно быть, очень еще маленькій щенокъ. Это видно было по его голосу—слабенькому, жалобному и полному той странной увѣренности, что его должны услышать и пожалѣть, какая звучитъ всегда въ плачѣ очень маленькихъ и ничего еще не понимающихъ дѣтей. Маленькій щенокъ среди снѣжнаго простора ночи. Маленькій, простой щенокъ, когда все было такъ необыкновенно и жутко, и весь міръ тысячью открытыхъ очей слѣдилъ за человѣкомъ. И человѣкъ вернулся на тихій зовъ.

На утоптанномъ снѣгу дальней тропинки, безпомощно откинувъ заднія лапки и опираясь на переднія, сидѣлъ черненькій щенокъ и весь дрожалъ. Дрожали лапки, на которыя онъ опирался, дрожалъ маленькій черный носикъ, и закругленный кончикъ хвоста отбивалъ по снѣгу ласково-жалобную дробь. Онъ давно замерзалъ, заблудившись въ безпредѣльной пустынѣ, многихъ увѣренно звалъ онъ на помощь, но они ог-

лядывались и проходили мимо. А теперь надъ нимъ остановился человѣкъ.

— А вѣдь это, кажется, нашъ щенокъ! подумалъ человѣкъ, приглядываясь. Онъ смутно помнилъ что-то крошечное, черное, вертлявое; оно громко стучало лапками, путалось подъ ногами и тоже визжало. И люди занимались имъ, дѣлали съ нимъ что-то смѣшное и ласковое, и кто-то однажды сказалъ ему:

— Погляди, какой Тютька потѣшный.

Онъ не помнитъ, поглядѣлъ онъ или нѣтъ; быть можетъ, никто и не говорилъ ему этихъ словъ; быть можетъ и щенка никакого у нихъ въ домѣ не было, а это воспоминаніе пришло откуда-то издалека, изъ той неопредѣленной глубины прошлаго, гдѣ много солнца, красивыхъ и странныхъ звуковъ, и гдѣ все путается.

— Эй! Тютька!—позвалъ онъ.—Ты зачѣмъ попалъ сюда, собачій сынъ?

Щенокъ не повернулъ головки и не завизжалъ: онъ глядѣлъ куда-то въ сторону и весь безнадежно и терпѣливо дрожалъ. Самый обыкновенный и дрянной былъ этотъ щенокъ, а человѣкъ такъ постыдно испугался его и самъ чуть-чуть не задрожалъ. А ему еще предстоитъ крупная кража, и, быть можетъ, убійство.

— Пошелъ!—крикнулъ человѣкъ грозно.—Пошелъ домой, дрянь!

Щенокъ какъ будто не слыхалъ; онъ глядѣлъ въ сторону и дрожалъ все той же настойчивой и мучительной дрожью, на которую холодно было смотрѣть. И человѣкъ серьезно разсердился.

— Пошелъ! Тебѣ говорятъ!—закричалъ онъ. Пошелъ домой, дрянь, поганышъ, собачій сынъ, а то я тебѣ голову размозжу. По-о-шелъ!

Щенокъ глядѣлъ въ сторону и, какъ будто не слыхалъ этихъ страшныхъ словъ, которыхъ испугался бы

всякій, или не придавалъ имъ никакого значенія. И то, что онъ такъ равнодушно и невнимательно принималъ сердитыя и страшныя слова, наполнило человѣка чувствомъ злобы и злобу его сдѣлало безсильной.

— Ну, и подыхай тутъ, собака!—сказалъ онъ и рѣшительно пошелъ впередъ. И тогда щенокъ завизжалъ—жалобно, какъ погибающій, и увѣренно, что его должны услышать, какъ ребенокъ.—Ага, завизжалъ!—съ злобной радостью сказалъ человѣкъ и такъ же быстро пошелъ назадъ, и когда подошелъ—щенокъ сидѣлъ молча и дрожалъ.

— Ты пойдешь или нѣтъ?—спросилъ человѣкъ и не получилъ отвѣта. И вторично спросилъ то же и вторично не получилъ отвѣта.

И тогда началась странная и нелѣпая борьба большого и сильнаго человѣка, съ маленькимъ, замерзающимъ животнымъ. Человѣкъ прогонялъ его домой, сердился, кричалъ, топалъ огромными ногами, а щенокъ глядѣлъ въ сторону, покорно дрожалъ отъ холода и страха и не двигался съ мѣста. Человѣкъ притворно пошелъ назадъ къ дому и ласково чмокалъ губами, чтобы щенокъ побѣжалъ за нимъ, но тотъ сидѣлъ и дрожалъ, а когда человѣкъ отошелъ далеко, сталъ настойчиво и жалобно визжать. Вернувшись, человѣкъ ударилъ его ногой: щенокъ перевернулся, испуганно взвизгнулъ, и опять сѣлъ, опираясь на лапки и задрожалъ. Что-то непонятное, раздражающее и безвыходное вставало передъ человѣкомъ. Онъ забылъ о товарищѣ, который ждалъ его, и обо всемъ томъ далекомъ, что будетъ сегодня ночью—и всей раздраженной мыслью отдавался глупому щенку. Не могъ онъ помириться съ тѣмъ, какъ щенокъ не понимаетъ опасности, не понимаетъ словъ, не понимаетъ необходимости скорѣй бѣжать къ дому.

Съ яростью человѣкъ поднялъ его за кожу на затылкѣ и такъ отнесъ на десятокъ шаговъ ближе къ дому. Тамъ онъ осторожно положилъ его на снѣгъ и приказалъ:

— Пошелъ! Пошелъ домой!

И, не оглядываясь, зашагалъ къ городу. Черезъ сотню шаговъ онъ въ раздумьи остановился и поглядѣлъ назадъ. Ничего не было ни видно, ни слышно— широко и просторно было на замерзшей рѣчной глади. И осторожно, подкрадываясь, человѣкъ вернулся къ тому мѣсту, гдѣ оставилъ щенка,—и съ отчаяніемъ выругался длиннымъ и печальнымъ ругательствомъ: на томъ же мѣстѣ, гдѣ его поставили, ни на пядь ближе или дальше, сидѣлъ щепокъ и покорно дрожалъ. Человѣкъ наклонился къ нему ближе и увидѣлъ маленькіе круглые глазки, подернутые слезами, и мокрый жалкій носикъ. И все это покорно и безнадежно.

— Да пойдешь ты? Убью на мѣстѣ!—закричалъ онъ и замахнулся кулакомъ. Собравъ въ глаза всю силу своей злобы и раздраженія, свирѣпо округливъ ихъ, онъ секунду пристально глядѣлъ на щенка и рычалъ, чтобы напугать. И щенокъ глядѣлъ въ сторону своими заплаканными глазками и дрожалъ.

— Ну, что мнѣ съ тобой дѣлать? Что?—съ горемъ спросилъ человѣкъ.

И сидя на корточкахъ, онъ бранилъ его и жаловался, что не знаетъ, какъ быть; говорилъ о товарищѣ, о дѣлѣ, которое предстоитъ имъ сегодня ночью, и грозилъ щенку скорой и страшной смертью.

И щенокъ глядѣлъ въ сторону и молча дрожалъ.

— А дуракъ, пробковая голова,—съ отчаяніемъ крикнулъ человѣкъ; какъ что-то противное, убійственно ненавидимое, подхватилъ маленькое тѣльце, далъ ему два сильныхъ шлепка и понесъ къ дому.

И дикимъ хохотомъ разразились, встрѣчая его, дома, заборы и сады. Глухо и темно гоготали застывшіе сады и огороды, смѣтливо и коварно хихикали освѣщенныя окна и всѣмъ холодомъ своихъ промерзшихъ бревенъ, всѣмъ таинственнымъ и грознымъ нутромъ своимъ, сурово смѣялись молчаливые и темные дома:

— Смотрите! Смотрите! Вотъ идетъ человѣкъ, которому предстоитъ убійство, и несетъ паршиваго щенка. Смотрите! Смотрите на него!

И совѣстно, и страшно стало человѣку. Дымнымъ облакомъ окутывали его злоба и страхъ, и что-то новое, странное, чего никогда еще не испытывалъ онъ въ своей отверженной и мучительной жизни вора: какое-то удивительное безсиліе, какая-то внутренняя слабость, когда крѣпки мышцы и злобой сводится сильная рука, а сердце мягко и безсильно. Онъ ненавидѣлъ щенка—и осторожно несъ его злобными руками, такъ бережно и осторожно, какъ будто была это великая драгоцѣнность, дарованная ему прихотливой судьбой. И сурово оправдывался онъ:

— Что же я съ нимъ подѣлаю, если онъ не идетъ. Вѣдь, нельзя же, на самомъ дѣлѣ!

А безмолвный хохотъ все росъ и сонмомъ озлобленныхъ лицъ окружалъ человѣка, которому нынче предстояло убійство, и который несъ паршиваго черненькаго щенка. Теперь не одни дома и сады смѣялись надъ нимъ, смѣялись и всѣ люди, какихъ онъ зналъ въ жизни, смѣялись всѣ кражи и насилія, какія онъ совершилъ, всѣ тюрьмы, побои и издѣвательства, какія претерпѣло его старое, жилистое тѣло:

— Смотрите! Смотрите! Ему красть, а онъ несетъ щенка! Ему нынче красть, а онъ опоздаетъ съ пар-

шивымъ, маленькимъ щенкомъ. Ха-ха-ха! ха-ха-ха! Старый дуракъ! Смотрите! Смотрите на него!

И все быстрѣе онъ шелъ. Подавшись впередъ всѣмъ туловищемъ, наклонивъ голову, какъ быкъ, готовый бодаться, онъ точно пробивался сквозь невидимые ряды невидимыхъ враговъ и, какъ знамя, несъ передъ собой таинственныя и могущественныя слова:

— Да, вѣдь, нельзя же на самомъ дѣлѣ! Нельзя!

И все тише, все глуше становился потаенный смѣхъ невидимыхъ враговъ, и рѣже стали ихъ тѣсные ряды. Быть можетъ, оттого случилось это, что пушистымъ снѣгомъ разсыпались тучи и бѣлымъ колеблющимся мостомъ, соединили небо съ землей. И медленнѣе пошелъ успокоенный человѣкъ, а въ злобныхъ рукахъ его оживалъ полузамерзшій черненькій щенокъ. Куда-то далеко, въ самую глубину маленькаго тѣла загналъ морозъ нѣжную теплоту жизни—и теперь она выходила оттуда пробуждающаяся, яркая, странно прекрасная въ своей непостижимой тайнѣ—такая же прекрасная, какъ зарожденіе свѣта и огня среди глубокой тьмы и ненастья.

ВЕСЕННІЯ ОБѢЩАНІЯ.

(1903)

I.

Кузнецъ Василій Васильевичъ Меркуловъ былъ строгій человѣкъ, и когда по праздникамъ онъ напивался пьянъ, то не пѣлъ пѣсенъ, не смѣялся и не игралъ на гармоніи, какъ другіе, а сидѣлъ въ углу трактира и молча грозилъ чернымъ обожженнымъ пальцемъ. Грозилъ онъ и трактирщику за стойкой, и посѣтителямъ, и слугѣ, подававшему водку и жареную рыбу; приходилъ домой и тамъ продолжалъ грозить пустой хатѣ, такъ какъ уже давно жилъ одинъ. Въ споры и брань съ нимъ не вступали, такъ какъ отъ смѣшной угрозы онъ легко переходилъ къ жестокой и кровавой дракѣ; при своихъ пятидесяти годахъ былъ онъ очень силенъ, и узловатый, черный кулакъ его падалъ на головы, какъ молотъ. И съ виду онъ былъ еще очень крѣпокъ—худощавъ, но жилистъ и высокъ ростомъ; и ходилъ гордо: грудь выпиралъ впередъ, а ноги ставилъ прямо, не сгибая колѣнъ, точно вымѣрялъ улицу циркулемъ.

Жилъ онъ, какъ и всѣ въ Стрѣлецкой слободѣ, ни хорошо и ни плохо, и никто не думалъ о немъ и не замѣчалъ его жизни, такъ какъ у всякаго была своя трудная и часто мучительная жизнь, о которой

нужно было ежеминутно думать и заботиться. Новыхъ людей мало приходило въ слободу, заброшенную на край города, и всѣ обитатели ея привыкли другъ къ другу и не замѣчали, что время идетъ, и не видѣли, какъ растетъ молодое и старится старое. Время отъ времени кто-нибудь умиралъ; его хоронили и день-два тревожно переговаривались объ его неожиданной смерти, а потомъ все становилось такъ, словно никто и не умиралъ, и казалось, будто покойникъ продолжаетъ еще существовать среди живыхъ, или же что здѣсь совсѣмъ нѣтъ живыхъ, а только покойники. Жили на Стрѣлецкой впроголодь, но принимали это покорно и за существованіе боролись равнодушно и вяло,—какъ больные, у которыхъ нѣтъ аппетита, вяло и равнодушно переругиваются изъ-за лишней тарелки невкуснаго больничнаго супа.

Хата и кузница Меркулова стояли на краю слободы, тамъ, гдѣ начинался берегъ рѣки Пересыханки. Берегъ былъ изрытъ ямами, въ которыхъ брали глину и песокъ; рѣка была мелкая, и лѣтомъ черезъ нее ѣздили вбродъ на тряскихъ, пахнущихъ дегтемъ, тѣлегахъ мужики изъ сосѣдней деревни. Кузница Меркулова помѣщалась въ землянкѣ, и на землянку похожа была и хата, у которой кривыя окна съ радужными отъ старости стеклами дошли до самой земли. Около землянки стояли черные, закопченые столбы для ковки лошадей; и они были старые, безсильно погнувшіеся, а ихъ глубокія продольныя трещины походили на глубокія старческія морщины, проведенныя долгой и суровой жизнью. Одинъ столбъ уже два года качался. Меркуловъ, проходя мимо него пьяный, сурово грозилъ ему пальцемъ, но больше ничего не дѣлалъ, чтобы укрѣпить его.

Пять мѣсяцевъ въ году Стрѣлецкая слобода ле-

жала подъ снѣгомъ, и вся жизнь тогда уходила въ черныя маленькія хаты и судорожно билась тамъ, придушенная грязью, темнотой и бѣдностью. Сверху все было дѣвственно бѣло, глухо и безжизненно, а подъ низкими потолками хатъ съ утра плакали дѣти, отравленныя гнилымъ воздухомъ, ругались взрослые и колотились другъ о друга, безсильные выбиться изъ тисковъ жизни. И всѣмъ было больно. Такъ же нехорошо и темно было въ занесенной хатѣ Меркулова, и все въ ней было кривое, черное, грязное, той безнадежной грязью, которая въѣлась въ дерево и вещи и стала частью ихъ. Одинъ уголъ покосился и окно въ немъ стояло какъ-то нелѣпо, бокомъ, а потолокъ былъ черный отъ копоти, и вмѣсто всякихъ украшеній на стѣнѣ были наклеены цвѣтные этикеты отъ бутылокъ: „наливка кіевская вишневая“. Работы зимой было мало, и тяжелымъ сномъ проходила одинокая жизнь Меркулова среди кривыхъ стѣнъ подъ чернымъ низкимъ потолкомъ. Онъ спалъ, сколько могъ, а когда сна не было, лежалъ и съ суровымъ недоумѣніемъ и вопросомъ вглядывался въ свою жизнь. Блѣдными тѣнями проходило прошлое, и было оно простое и странное до ужаса, и не вѣрилось тому, что въ немъ заключена вся жизнь его, а другой жизни нѣтъ и никогда не будетъ. Была жена и умерла отъ холеры, и лица ея не можетъ вспомнить Меркуловъ, какъ будто никогда не существовала она въ дѣйствительности, а только приснилась. Были и дѣти: одинъ сынъ долго хворалъ, измучилъ всѣхъ и умеръ, другой пошелъ въ солдаты и пропалъ безъ вѣсти. Осталась одна дочь, Марья; она была замужемъ за пьяницей, сапожникомъ на Стрѣлецкой, и часто прибѣгала къ Меркулову жаловаться, что мужъ бьетъ ее: была она некрасивая и злая; тонкія губы ея дрожали отъ горя и злости, а одинъ глазъ, заплывшій

синякомъ, смотрѣлъ въ узенькую щель, какъ чужой, печальный и ехидный глазъ. Она кричала на всю улицу и бранила мужа; потомъ начинала бранить отца и называла его пьяницей, и сосѣдскія бабы и ребята заглядывали въ окна и двери и смѣялись. И это была вся его жизнь, а другой нѣтъ и никогда не будетъ.

И онъ лежалъ подъ чернымъ потолкомъ и думалъ, а на дворѣ тихо и покорно угасалъ короткій зимній день. Въ хатѣ становилось темно, и Меркуловъ выходилъ на улицу: безлюдная и глухая, словно вымершая, она тихо лежала подъ снѣгомъ и была точно отраженіемъ безжизненнаго тусклаго неба. И между ней и этимъ однотонно-сѣрымъ и угрюмымъ небомъ быстро наростала осторожная молчаливая тьма. На колокольнѣ Василія Великаго благовѣстили къ вечернѣ, и казалось, что съ каждымъ протяжнымъ ударомъ на землю спадаетъ мракъ. Когда колоколъ безъ отзвука умолкалъ, на всей землѣ уже стояла покойная нѣмая ночь. Мимо Меркулова, по направленію къ рѣкѣ, проѣхалъ на розвальняхъ мужикъ. На минуту мелькнула лошаденка, потряхивавшая головой, мужикъ съ подпятымъ воротомъ, привалившійся къ передку саней,— и все расплылось въ глухой тьмѣ, и топота копытъ не слышно было, и думалось, что тамъ, куда поѣхалъ мужикъ, такъ же все скучно, голо и бѣдно, какъ и въ хатѣ Меркулова, и стоитъ такая же крѣпкая зимняя ночь. Заложивъ руки въ карманы штановъ, опершись на одну ногу и отставивъ другую, Меркуловъ съ угрюмымъ вопросомъ смотрѣлъ на небо, искалъ на немъ просвѣта и не находилъ. Былъ онъ высокъ и черенъ, и въ своей неподвижности напоминалъ одинъ изъ черныхъ столбовъ кузницы, до самой сердцевины изъѣденныхъ временемъ и жизнью.

Если случались деньги, Меркуловъ одѣвался и уходилъ въ городъ, въ трактиръ, „Шелковку“. Тамъ онъ впивалъ въ себя яркій свѣтъ лампъ и такой же яркій и пестрый гулъ трактира, слушалъ, какъ играетъ органъ, и сперва довольно улыбался, открывая пустыя впадины на мѣстѣ переднихъ зубовъ, когда-то выбитыхъ лошадью. Но скоро онъ напивался, такъ какъ былъ на водку слабъ, начиналъ хмуриться и безпокойно двигать бровями и, поймавъ на себѣ чей-нибудь взглядъ, многозначительно и мрачно грозилъ обожженнымъ чернымъ пальцемъ. Органъ, торопливо захлебываясь и шипя, вызванивалъ трескучую польку; Меркулову казалось, что онъ не играетъ, а плюется разбитыми, скачущими звуками ненужнаго веселья, и отъ этого становилось обидно, грустно и безпокойно. Онъ грозилъ блестящимъ трубамъ и непреклонно бормоталъ:

— Не позволю, чтобы такъ играть. По какому праву? Нѣтъ у тебя права, чтобы такъ играть. Не позволю.

Когда въ одиннадцать часовъ трактиръ запирали, Меркуловъ, покачиваясь и опираясь руками на заборы, долго и трудно шелъ домой и передъ своей хатой останавливался въ тяжеломъ недоумѣніи и гнѣвѣ.

Моя хата,—говорилъ онъ, удивленно поднимая брови и пытаясь выше поднять отяжелѣвшія вѣки. — Не позволю, чтобы такъ криво стояла.

Потомъ, мотая головой на ослабѣвшей шеѣ, блуждая взорами по окружающему, отыскивалъ на небѣ то мѣсто, куда смотрѣлъ вечеромъ, тяжело поднималъ руку и грозилъ согнутымъ пальцемъ, не въ силахъ отъ хмѣля распрямить его.

— Не позволю, чтобы такъ все. По какому праву?

И засыпалъ онъ съ угрюмо сведенными бровями и готовымъ для угрозъ пальцемъ, но хмѣльной сонъ уби-

валъ волю, и начинались тяжелыя мученія стараго тѣла. Водка жгла внутренности и желѣзными когтями рвала старое, натрудившееся сердце; Меркуловъ хрипѣлъ и задыхался, и въ хатѣ было темно, шуршали по стѣнамъ невидимые тараканы, и духъ людей, жившихъ здѣсь, страдавшихъ и умершихъ, дѣлалъ тьму живой и жутко безпокойной.

II.

Началось это на третьей недѣлѣ Великаго поста, началось неожиданно и оттого особенно радостно. Утромъ Стрѣлецкая слобода проснулась въ дымчатомъ, пахнущемъ гарью, туманѣ, мягкомъ и тепломъ, а когда туманъ разсѣялся, воздухъ сталъ ясный и свѣтлый и ни на чемъ не было тѣней. И словно отъ земли, отъ крышъ и домовъ отпало что-то желѣзное, что давило и сковывало, и все начало пахнуть: снѣгъ, навозъ и дома. У бондаря Гусева пекли хлѣбъ, и по всей улицѣ стоялъ домовитый, пріятный запахъ теплаго хлѣба. Какъ полированные, блестѣли по дорогѣ широкіе слѣды деревянныхъ полозьевъ съ крапинками золотистаго лошадинаго навоза, кричали выползавшіе изъ хатъ ребята, и со звонкимъ лаемъ носились собаки за тяжелымъ вороньемъ, грузно присѣдавшимъ надъ черными пятнами старыхъ помоевъ. И дышалось легко и вольно.

Такъ въ нерѣшимости нѣсколько дней стояла Стрѣлецкая, а потомъ солнце взошло на чистомъ и глубокомъ небѣ, и снѣгъ началъ плавиться съ удивительной быстротой, какъ на огнѣ. Во всѣхъ углубленіяхъ сбиралась пахучая снѣжная вода, и бабы перестали ходить на рѣку: въ садахъ и огородахъ онѣ выкапывали глубокія ямки, и на днѣ ихъ, среди рыхлыхъ снѣжныхъ стѣнокъ, собиралась вода, прозрач-

ная и холодная, какъ въ ключахъ. Все меньше становилось снѣга и все больше воды; тепло и радостно свѣтило солнце, и въ лучахъ его блестѣлъ и сверкалъ тающій снѣжный покровъ. Блистала бѣлымъ огнемъ каждая капелька воды, и если стать противъ солнца, то казалось, что вся земля зажглась въ одномъ ослѣпительномъ сіяніи, и больно было отвыкшимъ отъ свѣта глазамъ. А въ голубомъ небѣ было спокойно и торжественно — ясно, и когда Меркуловъ изъ-подъ руки смотрѣлъ на него, лицо его, еще пылающее жаромъ раскаленнаго горна, становилось трепетно-напряженнымъ, и въ рѣдкихъ усахъ безуспѣшно пряталась стыдливая улыбка. Онъ долго стоялъ на своихъ негнущихся ногахъ, смотрѣлъ и слушалъ и всѣмъ тѣломъ своимъ чувствовалъ то глубокое и таинственное, что происходило въ природѣ. Не мертвый, какъ зимой, а живой былъ весенній воздухъ; каждая частица его была пропитана солнечнымъ свѣтомъ, каждая частица его жила и двигалась, и казалось Меркулову, что по старому обожженному лицу его осторожно и ласково бѣгаютъ крохотные дѣтскіе пальчики, шевелятъ тонкіе волоски на бородѣ и въ рѣзкомъ порывѣ веселья отдѣляютъ на головѣ прядь волосъ и раскачиваютъ ее. Онъ приглаживалъ волоса шершавой рукой, а прядь опять поднималась, и въ сѣдинахъ ея сверкало солнце.

И все, что было вокругъ: далекое, спокойное небо, ослѣпительное дрожаніе водяныхъ капель на землѣ, просторная сіяющая даль рѣки и поля, живой и ласковый воздухъ,—все было полно весеннихъ неясныхъ обѣщаній. И Меркуловъ вѣрилъ имъ, какъ вѣрятъ веснѣ всѣ люди, молодые и старые, счастливые и несчастные. Пятидесятую весну встрѣчалъ онъ, а была она нова и радостна, какъ первая весна его жизни. Весь Великій

постъ Меркуловъ много работалъ, и новое чувство покорности и тихаго ожиданія не оставляло его. Онъ покорно принималъ тяжелую работу, покорно принималъ грязь, тѣсноту и мучительность своей жизни, и въ черную хату свою съ кривыми углами входилъ какъ въ чужую, въ которой недолго остается побыть ему. И какъ что-то новое, доселѣ невиданное, изучалъ онъ черные, прокопченые потолки, паутину на углахъ, покатые полы съ прогнившими половицами, изучалъ съ серьезнымъ и глубокимъ равнодушіемъ посторонняго человѣка. Все съ тѣмъ же чувствомъ кроткой покорности и смутнаго сознанія, что нужно выполнить какой-то долгъ, Меркуловъ весь постъ не пилъ водки, не бранился и питался только чернымъ хлѣбомъ и водой. И въ воскресенье не шелъ въ трактиръ, какъ обычно, а съ сосредоточеннымъ и торжественнымъ лицомъ сидѣлъ около своего дома на лавочкѣ, или журавлинымъ шагомъ прохаживался по Стрѣлецкой и смотрѣлъ, какъ играютъ ребята.

А дѣтей было много на Стрѣлецкой, и нельзя было понять, куда прячутся они зимой такія живыя, громкія и неудержимыя. Какъ мухи на солнцѣ, они бѣгали, ползали, кружились, и каждый въ своей живой подвижности походилъ на троихъ, а смѣхъ ихъ былъ, какъ неумолчное жужжанье. И тутъ же вертѣлись собаки, расхаживали озабоченныя куры и на приваленкѣ грѣлись бѣлыя тощія кошки, и все это жило шумной, безпокойной и веселой жизнью. На солнечной сторонѣ подъ заборомъ уже слегка зеленѣла трава, и по ней, безъ призора, катался крохотный круглый мальчишка, едва начавшій ходить. Его уже испугала собака, потомъ воробей, онъ долго и громко плакалъ, но прилетѣло откуда-то бѣлое, легонькое перышко и сѣло поблизости, шевелясь и собираясь съ силами для новаго полета.

И онъ старался накрыть его маленькой грязной рукой и задумчиво бормоталъ:

— Голубосекъ. Миленькій. Подозди. Но перышко поднялось и улетѣло, и онъ опять вспомнилъ страшнаго вертляваго воробья, и заплакалъ. Подошла дѣвочка немного побольше, чѣмъ онъ, въ большихъ материнскихъ башмакахъ, наклонилась, опершись ладонями на колѣни, и спросила:

— Мишка! Ты что плачешь?

— Кусается.

— Собака кусается?

— Собака кусается, и птичка кусается.

Дѣвочка подумала и презрительно отвѣтила.

— Дуракъ!

И опять Мишка остался одинъ, ему хотѣлось ѣсть, и домъ былъ страшно далекъ и не было возлѣ близкихъ людей,—все это было такъ ужасно, что онъ поднялся, всхлипнулъ и, опустившись на четвереньки—для быстроты,—поползъ, куда глаза глядятъ. Меркуловъ поднялъ его и понесъ; Мишка сразу успокоился и, покачиваясь на рукахъ сверху внизъ, серьезно и самодовольно смотрѣлъ на страшную и теперь веселую улицу и ни разу до самаго дома не взглянулъ на незнакомаго человѣка, спасшаго его.

На Страстной недѣлѣ Меркуловъ говѣлъ. Во всѣ дни недѣли онъ неукоснительно посѣщалъ каждую церковную службу, простаивалъ ее съ начала до конца, покупалъ тоненькія восковыя свѣчи, гнувшіяся въ его грубыхъ рукахъ, и чувство покорности и трепетнаго ожиданія росло въ его душѣ. Раннимъ утромъ, когда тѣни отъ домовъ лежали еще черезъ всю улицу, онъ шелъ въ церковь, хрустя тонкимъ ночнымъ ледкомъ, и по мѣрѣ того, какъ онъ подвигался впередъ мимо сонныхъ домовъ, вокругъ него выростали такія же

темныя фигуры людей, ежившихся отъ утренняго холодка. Какъ и Меркуловъ, они несли въ церковь грѣхи и горе своей жизни, и много ихъ было, и были они бѣдно и грязно одѣты, съ темными и грубыми лицами. Они шли быстро и молча, словно боялись пролить хоть каплю изъ глубокаго ковша своей темной жизни, и Меркуловъ, оглушенный нестройнымъ топотомъ ихъ ногъ, охваченный лихорадкой массового неудержимаго стремленія, шагалъ все крупнѣе своими негнущимися, журавлиными ногами. И чѣмъ ближе къ церкви, тѣмъ быстрѣе и безпокойнѣе становились шаги идущаго. Искоса поглядывая, не обгоняетъ-ли кто его, Меркуловъ шумно входилъ въ притворъ, пугался гулкаго эха своихъ шаговъ по каменному звонкому полу и робко открывалъ тяжелую безшумную дверь.

И за дверью встрѣчали его холодная, торжественная тишина, подавленные вздохи и утроенное эхомъ гнусавое и непонятное чтеніе дьячка, прерываемое непонятными и долгими паузами. Смущаясь скрипомъ своихъ шаговъ, Меркуловъ становился на мѣсто, посреди церкви, крестился, когда всѣ крестились, падалъ на колѣни, когда всѣ падали, и въ общности молитвенныхъ движеній черпалъ спокойную силу и увѣренность.

Въ пятницу передъ исповѣдью Меркуловъ просилъ прощенія у дочери своей, Маріи Васильевны, и у мужа ея, пьяницы Тараски. Неговѣвшій Тараска торопливо дошивалъ сапоги, сосредоточенно шиня дратвой, но къ тестю отнесся внимательно и на его низкій поклонъ отвѣтилъ поклономъ и покаянными словами:

— Что жъ, папаша! Всѣ мы, конечно, свиньи. Что тамъ.

Марья Васильевна поджала тонкія губы и со взглядомъ въ сторону неохотно отвѣтила кланявшемуся от-

цу—Богъ проститъ. Простите и насъ, если въ чемъ виноваты.

Злая она была и несчастная и не прощать ей хотѣлось, а проклинать. Горько и обидно было ей смотрѣть на отца: что онъ такъ благообразенъ, умытъ и причесанъ, а ей некогда лица сполоснуть, что онъ полонъ какимъ-то неизвѣстнымъ ей и пріятнымъ чувствомъ, и завтра его будутъ поздравлять; что онъ проситъ у нея прощенія, а самъ считаетъ ее ниже себя, и даже ниже пьяницы Тараски. И совсѣмъ сердито она крикнула на отца:

— Ну иди, иди! Видишь, люди работаютъ.

Ночью Меркуловъ не спалъ и нѣсколько разъ выходилъ на улицу. На всей Стрѣлецкой не было ни одного огонька, и звѣздъ было мало на весеннемъ затуманенномъ небѣ; черными притаившимися тѣнями стояли низенькіе молчаливые дома, точно раздавленные тяготой жизни. И все, на что смотрѣлъ Меркуловъ: темное небо съ рѣдкими немигающими звѣздами, притаившіеся дома съ чутко спящими людьми, острый воздухъ весенней ночи—все было полно весеннихъ неясныхъ обѣщаній. И онъ ожидалъ—трепетно и покорно.

III.

Въ обыкновенные дни, въ праздники и будни, двери на церковныя колокольни бываютъ заперты и туда никого не пускаютъ, но на Пасху въ теченіе всей недѣли двери стоятъ открытыми, и каждый можетъ войти и звонить, сколько хочетъ—отъ обѣдни до самыхъ вечеренъ. На бѣлой колокольнѣ Василія Великаго, къ приходу котораго принадлежала Стрѣлецкая, толкалось въ эти дни много празднаго, разряженнаго народа: одни приходили посмотрѣть на го-

родъ съ высоты, стояли у шаткихъ деревянныхъ перилъ и грызли сѣмячки изъ-подъ полы, чтобъ не заругался сторожъ; другіе для забавы звонили, но скоро уставали и передавали веревку—и только для одного Меркулова праздничный звонъ былъ ни смѣхомъ, ни забавой, а дѣломъ такимъ серьезнымъ и важнымъ, въ которое нужно вкладывать всю душу. Какъ и всѣ, онъ надѣвалъ праздничное и веселое платье: красную рубаху, новые блестящіе сапоги, но лицо его съ рѣдкой бородкой и беззубымъ ртомъ оставалось по великопостному строгимъ и замкнутымъ. Онъ не понималъ, какъ можно на колокольнѣ смѣяться, и хмуро смотрѣлъ на скалящихъ зубы стрѣльцовъ, а мальчишекъ, которые шалили, плевали внизъ, перегнувшись черезъ перила и, какъ обезьяны, лазали по лѣсенкамъ, часто гонялъ съ колокольни и даже дралъ за уши.

Приходилъ онъ на колокольню самымъ первымъ, когда въ церкви шла еще обѣдня, и звонить нельзя было. Когда онъ еще только входилъ въ низкую сводчатую дверь колокольни и сразу попадалъ во тьму и сухой холодъ каменныхъ переходовъ, онъ чувствовалъ себя отрѣшеннымъ отъ всего, что составляло его жизнь, и готовымъ къ воспріятію чего-то великаго, радостнаго и таинственнаго, чего нельзя передать словами. На изогнутыхъ ломаныхъ лѣстницахъ было тихо той глубокой тишиной, которая копится сотни лѣтъ; и изъ темныхъ угловъ, занесенныхъ паутиной, отъ исщербленныхъ кирпичей, изъ черныхъ загадочныхъ проваловъ глядѣло что-то старое, сѣдое и важно задумчивое. Было жутко слышать скрипъ собственныхъ шаговъ, и Меркуловъ переступалъ ногами осторожно и почтительно, а на промежуточныхъ площадкахъ вѣжливо отдыхалъ, хотя усталости не чувствовалъ. Выбравшись на верхъ, онъ степенно, какъ въ церкви, ог-

лядывался, вытиралъ лобъ платкомъ и со страхомъ передъ ожидающимъ его неизмѣримымъ блаженствомъ застѣнчиво осматривалъ большой спокойный колоколъ—другіе маленькіе колокола онъ не уважалъ. И тутъ, на высотѣ, было тихо—живой тишиной нѣжнаго весенняго воздуха и плывущихъ въ яркой синевѣ бѣлыхъ облаковъ. На краю площадки, за перилами, гдѣ желѣзные листы были покрыты бѣлымъ птичьимъ пометомъ, ходили и ворковали голуби, и ихъ нѣжный любовный говоръ былъ громче и слышнѣе всѣхъ тѣхъ разрозненныхъ, надоѣдливыхъ звуковъ, что рождались землей и ползали по ней, безсильные подняться къ небу.

— Кончалась обѣдня. Какъ муравьи, поднявшіеся на заднія ножки, расходились по улицамъ прихожане, и шумной ватагой, стуча деревянными ступеньками, какъ клавишами, на колокольню взбѣгали веселые стрѣльцы, прогоняли крикомъ пугливыхъ голубей, и кто-нибудь хватался за веревку большого спокойнаго колокола. Въ хвостѣ ихъ, не торопясь и не волнуясь, какъ человѣкъ привычный, входилъ звонарь Семенъ; онъ тоже былъ въ красной рубахѣ, отъ него слегка пахло водкой, какъ отъ другихъ стрѣльцовъ, и красное лицо его съ окладистой, ярко рыжей бородой широко и благосклонно улыбалось. Онъ подмигивалъ Меркулову и говорилъ:

— Что, кумъ, позвонимъ?

— Звоните вы,—угрюмо отвѣчалъ Меркуловъ и недовольно отходилъ къ сторонѣ, жуя губами: отъ волненія у него пересохло въ горлѣ и что-то покалывало въ спинѣ. Уже нѣсколько стрѣльцовъ отмотали себѣ руки и ушли, потирая загорѣвшимися ладонями, и ушелъ Семенъ, когда Меркуловъ рѣшительно оттолкнулъ стрѣльца и взялся за веревку. Онъ боялся обнаружить

свое волненіе, но руки дрожали и безудержно шевелились губы, а большой спокойный колоколъ задумчиво смотрѣлъ на него всѣмъ своимъ огромнымъ жерломъ и терпѣливо ждалъ. И медленно начиналъ раскачиваться тяжелый желѣзный языкъ. Онъ подавался съ важной и плавной медлительностью, подходилъ все ближе къ блестящему краю колокола, почти касался его, и легкій гулъ уже пробѣгалъ по мѣдному туловищу. А потомъ раздавался ударъ, первый робкій, сорвавшійся ударъ, прозвучавшій нерѣшительно и слабо, со странной мольбой о милости и прощеніи. И вслѣдъ за нимъ—второй мощный и гулкій ударъ сотрясъ пространство и трепетной дрожью пронизалъ каменную колокольню; и еще не умеръ онъ, какъ плавно выбѣжалъ за нимъ новый. И такъ шли они другъ за другомъ, широкіе и свободные, какъ закованные въ желѣзо богатыри, которыхъ долго держали въ бездѣйственной засадѣ, а теперь они выѣхали на сѣчу и желѣзнымъ ураганомъ несутся на дрогнувшаго врага. Но хмурился недовольно Меркуловъ; въ могучихъ и широкихъ звукахъ онъ слышалъ голосъ холодной и жестокой мѣди, и не было въ нихъ того, что такъ нужно было его долго ждавшему, ненасытно жаждавшему сердцу. И все крѣпче тянулъ онъ податливую веревку.

А другіе стрѣльцы разобрали веревки отъ остальныхъ колоколовъ и подняли разноголосый, пестрый звонъ, похожій на ихъ красныя, синія и желтыя рубахи, и чуткій звонарь Семенъ издалека услышалъ ихъ. Онъ обходилъ съ причтомъ Стрѣлецкую, былъ немного пьянъ и очень веселъ, и насмѣшливо покачивалъ головой, прислушиваясь къ нестройному и точно пьяному звону.

— Глянь-ка, задуваютъ-то! Чисто кота съ кошкой

вѣнчаютъ—говорилъ онъ псаломщику, красному отъ быстрой ходьбы и угощеній.

Меркуловъ не слышалъ и не чувствовалъ этой дикой неблагозвучности, на которую издалека отозвался Семенъ. Онъ весь ушелъ въ борьбу съ мѣднымъ чудовищемъ и все яростнѣе колотилъ его по черными бокамъ,—и случилось такъ, что вопль, человѣческій вопль прозвучалъ въ голосѣ бездушной мѣди и, содрогаясь, понесся въ голубую сіяющую даль. Меркуловъ слышалъ этотъ вопль, и бурнымъ ликованіемъ наполнилась его душа.

— Ага!—сквозь стиснутые зубы промычалъ онъ.—Ага!

И новый вопль, безумно печальный, полный страданіемъ, какъ море водой, огненный и страшный, какъ правда—новый человѣческій вопль. Точно въ ужасѣ передъ силой человѣка, заставившей говорить человѣческимъ языкомъ его бездушное тѣло,—частой дрожью дрожалъ снизу до верху гигантскій колоколъ, и покорно плакалъ о чуждой ему человѣческой долѣ и къ небу возносилъ свои мощныя мольбы и угрозы. И сами, не зная почему, стали серьезны веселые стрѣльцы, бросили веревки своихъ беззаботно тилилинькавшихъ колоколовъ и хмуро, съ неудовольствіемъ на свою непонятную печаль, слушали дикій ревъ колокола и смотрѣли на обезумѣвшаго кузнеца. Лицо его налилось кровью; встревоженный, весь дрожащій воздухъ поднималъ жидкіе волосы на его головѣ, и въ крѣпкихъ его рукахъ молотобойца, какъ перышко, ходилъ тяжелый желѣзный языкъ.

Все мучительнѣй и больнѣе становились человѣческіе вопли покореннаго колокола. Меркуловъ звонилъ руками, звонилъ сердцемъ, которое судорожно и часто ворочалось въ его груди; звонилъ всей тоской и

горемъ изболѣвшейся человѣческой души, одинокой и всѣми забытой. Онъ звонилъ всей своей жизнью и о всей своей темной жизни звонилъ онъ—и все яростнѣй и требовательнѣе билъ онъ желѣзомъ по мѣднымъ бокамъ. Будто разбудить онъ хотѣлъ кого-то, кто находится въ невѣдомой голубой дали и спитъ непробудно и не слышитъ, какъ плачетъ и стонетъ земля.

— Отзовись, невѣдомый!—гудѣлъ и надрывался дрожащій колоколъ.—Отзовись, могучій и жалостливый! Взгляни на прекрасную землю: печальна она, какъ вдовица, и плачутъ ея голодныя, обиженныя дѣти. Каждый день всходитъ надъ землей солнце и въ радости совершаетъ кругъ свой, но весь великій свѣтъ его не можетъ размять великой тьмы, которой полно страдающее сердце человѣка. Потеряна правда жизни, и во лжи задыхаются несчастныя дѣти прекрасной земли. Отзовись, невѣдомый! Отзовись, могучій и жалостливый!

Руки кузнеца не знаютъ устали. Все громче и громче бьетъ онъ по чернымъ бокамъ, и бурно рыдаетъ звенящая мѣдь:

— Отзовись!

Стрѣльцы задумались и не смотрятъ другъ на друга. Одинъ отворотилъ полу поддевки, чтобы достать табаку, и такъ и остался: ротъ его изумленно открытъ, и глаза со страхомъ и надеждой слѣдятъ за тяжело порхающимъ желѣзнымъ языкомъ, а узкій листикъ газетной бумаги, приготовленный для цыгарки, безпомощно треплется по вѣтру. Другой—руками и грудью легъ на деревянныя перила, глядитъ внизъ, но не замѣчаетъ ничего: ни плоскихъ крышъ, точно лежащихъ на землѣ, ни блестящей на солнцѣ рѣки. Что-то знакомое слышитъ онъ въ рыдающемъ голосѣ колокола, знакомое и печальное: такъ плакала мать когда-то, такъ плакалъ онъ самъ. И теперь ему хочется плакать.

— Отзовись же! Отзовись!

Въ самомъ концѣ Стрѣлецкой прислушивается къ колоколу Семенъ. Онъ склонилъ голову на бокъ и неодобрительно покачиваетъ ею. Потомъ нагоняетъ о. Андрея и говоритъ:

— Батюшка, а батюшка! А колоколъ-то съ трещинкой. Давно уже вамъ говорилъ, а вы все не вѣрите. Послушайте!

И наклонивъ головы, они слушаютъ, а веселое солнце бьетъ имъ прямо въ глаза и зажигаетъ огнемъ золотой наперстный крестъ.

IV.

И всегда Меркуловъ не любилъ глядѣть понизу, а во всѣ дни свѣтлой недѣли онъ носилъ голову немного назадъ и смотрѣлъ поверхъ лбовъ. И всю недѣлю онъ былъ трезвъ, каждое утро отъ обѣденъ до вечерни звонилъ на колокольнѣ Василія Великаго, а послѣ вечерни или сидѣлъ у звонаря Семена, или на десятокъ верстъ уходилъ въ поле. И домой возвращался только ночью.

На третій день, незадолго до вечерни, на колокольню пришелъ Семенъ. Уставшій Меркуловъ отдыхалъ, и звонилъ горбатый портной Снигирь, звонилъ безтолково и нудно, извлекая изъ колокола нерѣшительные дребезжащіе звуки.

— Пусти-ка! сказалъ Семенъ. Застѣнчиво улыбаясь, портной пустилъ веревку и сталъ въ сторонкѣ, заложивъ руки назадъ, подъ горбъ.

— Вотъ, кумъ, послушай: я тебѣ покажу, какъ надо звонить—обратился звонарь къ Меркулову.—Не по-вашему.

— Что-жъ, покажи!—высокомѣрно согласился Меркуловъ.

Семенъ забралъ между пальцевъ веревки отъ маленькихъ колоколовъ, сталъ ногой на доску, приводившую въ движеніе средній колоколъ, и приказалъ горбатому:

— Валяй, звони: порѣже да покрѣпче. За совѣсть.

Слабосильный портной, улыбаясь и блѣднѣя отъ натуги, еще раскачивалъ неподатливый языкъ, когда въ рукахъ Семена уже заговорили нѣжные и мягкіе колокольчики. Они словно смѣялись, какъ дѣти, торопливо бѣжали, кружились и разбѣгались, и съ ними засмѣялся теплый воздухъ, свѣтло улыбнулась старая колокольня, и невольная улыбка прошла по сухому лицу Меркулова. Яснымъ, какъ небо, весельемъ дышали гармоничные звуки и, путаясь среди ихъ звонкихъ голосовъ, какъ взрослый среди играющихъ дѣтей, мягкимъ баритономъ поддакивалъ средній колоколъ.

— Да! Да! Да!

— Вотъ весело! Вотъ весело!—звенѣли дѣти.

— Да! Да! Да!—добродушно соглашался колоколъ.

И такъ это было красиво, такъ беззлобно и свѣтло, что Меркуловъ хлопнулъ себя въ восторгѣ руками по бедрамъ, и не привыкшее къ смѣху лицо его превратилось въ странный комокъ морщинъ, среди которыхъ совсѣмъ пропали черные безпокойные глаза. Семенъ метнулъ въ него косымъ пытливымъ взглядомъ и увѣренно, со строгимъ и странно холоднымъ лицомъ, бросилъ въ воздухъ такой яркій снопъ вызывающе—радостныхъ и пѣвучихъ звуковъ, что по горбу слабосильнаго портного пробѣжала зябкая дрожь, и внизу на площади остановились двое прохожихъ и подняли головы кверху. И большой колоколъ, который не принуждали больше издавать дикіе страдальческіе вопли, спокойно отдыхалъ въ густыхъ и мѣрныхъ ударахъ,

торжественно плывущихъ въ голубую сіяющую даль. И такъ говорили они, веселые колокола:

— Взгляни на прекрасную землю: радостна она, какъ молодая мать, и ликуетъ подъ солнцемъ рожденное ею. Надъ далекимъ полемъ проносятся въ вышинѣ наши голоса, и въ небѣ имъ отвѣчаетъ жаворонокъ, а на землѣ блестящіе ручьи. Ты слышишь ихъ хрустальный звонъ? По межамъ, по оврагамъ бѣгутъ они, и прорываютъ черные ходы подъ снѣгомъ и каскадомъ падаютъ въ рѣку. Вотъ одни изъ нихъ маленькіе, и жизнь ихъ короткая, отъ бугорка до ближней ямы, робко и нѣжно звенятъ они, и много чистой радости въ ихъ нѣжномъ лепетѣ. Вотъ другіе по оврагамъ, глубокіе и бурливые, они поднимаютъ со дна желтую глину, подмываютъ черный снѣгъ и обломки его несутъ на вольный просторъ рѣки. Силой и буйной удалью звучатъ ихъ голоса, и громкой пѣсней освободившейся земли издалека перекликаются они. Взгляни на землю: прекрасна она, какъ молодая мать, и радуется подъ солнцемъ рожденное ею. Ты слышишь, какъ растетъ зеленая трава и лопаются весеннія почки? Вотъ правда жизни.

Семенъ кончилъ. Задохнувшійся горбунъ прижималъ къ уродливой груди костлявые длинные пальцы и улыбался, внизу собрался народъ и тянулъ головы кверху;—и побѣдоносно вскинувъ рыжую бороду, звонарь обернулся къ Меркулову. Тотъ стоялъ на своихъ длинныхъ негнущихся ногахъ бокомъ къ колоколамъ—въ позѣ непреклоннаго и гордаго протеста—и смотрѣлъ поверхъ Семеновой головы.

— Вотъ какъ по-нашему,—сказалъ Семенъ. Здорово, кумъ?

Меркуловъ пожевалъ беззубымъ ртомъ, обвелъ взоромъ колокола, балки, на которыхъ они висѣли, пре-

зрительно съ ногъ до головы измѣрилъ горбуна и отвѣтилъ:

— Конечно, вы мастеръ, Семенъ Савельевичъ. Однако, настоящаго звуку у васъ нѣтъ.

— То-то у тебя есть—покровительственно засмѣялся Семенъ. Словно баба палкой по дырявому чугуну бьетъ. Тоже!

Послѣ вечерни Меркуловъ не пошелъ домой, а остался у звонаря. Семенъ пилъ водку, которую изъ непонятнаго чувства долга ежедневно покупалъ ему Меркуловъ, потомъ дома пилъ чай и, когда солнце уже заходило, позвалъ молчаливаго гостя посидѣть на лавочкѣ. Верхъ бѣлой колокольни еще горѣлъ золотомъ весенняго заката, а внизу уже ложились прозрачныя тѣни, и отъ каменныхъ стѣнъ вѣяло холодомъ ночи. Оба молчали, оба курили и внимательно слѣдили за дымомъ махорки; и дымъ этотъ, синій, пахучій медленно волновался и таялъ и рѣзче оттѣнялъ свѣжесть и запахъ весенняго воздуха. Семенъ не любилъ долго молчать, ему становилось скучно, и вяло, слово за словомъ, онъ начиналъ разсказывать что-то неинтересное о своей службѣ въ церкви, о восковыхъ огаркахъ и характерѣ ктитора, купца Авдунова. О колоколахъ и звонѣ онъ ничего не говорилъ. Меркуловъ, чувствовавшій позади себя безмолвную таинственную колокольню, хмурился и нетерпѣливо ждалъ момента, когда Семенъ заговоритъ о настоящемъ, о чемъ нужно и интересно говорить. И не въ силахъ дождаться, перебивалъ звонаря.

— Хорошо вы звоните, Семенъ Савельичъ.

Когда Меркуловъ говорилъ съ нимъ о житейскомъ и обыкновенномъ, то называлъ его „ты“ и „Семенъ“, а когда разговоръ заходилъ о звонѣ и колоколахъ, переходилъ на „вы“ и величалъ звонаря по отчеству.

Звоню хорошо, это вѣрно,—согласился Семенъ.— Но, вѣдь, и то сказать: наука.

— Не всякому оно дано.

— Конечно, не всякому,—подтвердилъ звонарь.— Ухо тоже надо имѣть хорошее, чтобы понимать. А то такого кота пуститъ—ай папаша и мамаша.

Меркуловъ помолчалъ.

— Однако, вы меня извините, но настоящаго у васъ нѣту,—замѣтилъ онъ.

— Звону?

— Звону.

Семенъ улыбнулся. Онъ мало думалъ о томъ, какъ онъ звонитъ, но зналъ отъ людей, что звонъ у него хорошій и веселый; зналъ и то, что сердце у него радуется, когда онъ берется за веревку.

— О. Андрей говоритъ: когда,—говоритъ, Семенъ, ты звонишь, у меня на столѣ стаканы пляшутъ.

— А душа? спросилъ Меркуловъ.

— Что душа?

— Вотъ, скажемъ, у меня дочь, Марья. Марья Васильевна. И мужъ ее ногой по пузу, а она и скинула. Это какъ же? Такъ и оставить?

Но Семену не хотѣлось продолжать скучнаго разговора о Марьѣ. И онъ тихонько засвисталъ, поднявъ кверху рыжую бороду и обводя ищущими глазами свѣтлое небо, на которомъ не умеръ еще день, но уже скоро должны были загорѣться серебряныя звѣзды. Замолчалъ и Меркуловъ и долго сидѣлъ такъ, сердито жуя губами. Потомъ лицо его просвѣтлѣло и сказалъ:

— Хорошо на зарѣ звонить, когда всѣ спятъ. Бухнуть,—чтобы всѣ съ постелей повскакали.

Семенъ пріостановилъ свистъ и, продолжая обыскивать глазами небо, равнодушно спросилъ:

— А ты слышишь, когда къ утренѣ звонятъ?

— Нѣтъ.

— То-то. И никто не слышитъ.

Меркуловъ хотѣлъ возразить, но, посмотрѣвъ на Семена, на его рыжую бороду, равнодушно торчавшую кверху, сурово сказалъ:

— Прощай!

Когда Меркуловъ вышелъ за шлагбаумъ, на шоссе уже стало темнѣть и звѣзды, сперва большія и свѣтлыя, какъ серебряные пятачки, сдѣлались острыя и яркія, и точно смотрѣли на землю. Отойдя версты двѣ, Меркуловъ сѣлъ на круглый верстовой камень, торчавшій изъ земли, и тяжело задумался—задумался безъ мыслей, безъ словъ, той глубокой и странной думой всего тѣла, которая оковываетъ человѣка, какъ сонъ. Онъ тяжело вздыхалъ и не слышалъ своихъ вздоховъ; доставалъ табакъ, дѣлалъ папиросы и курилъ—и не замѣчалъ этого. Мимо него, сонно погромыхивая, проѣхала телѣга; по бокамъ шоссе, въ невидимомъ полѣ дремотно звенѣли ручьи, отдыхавшіе въ холодкѣ отъ дневной спѣшной работы—онъ не видѣлъ телѣги, не слышалъ ручьевъ. И когда онъ всталъ и изумленно оглянулся, не зная, зачѣмъ попалъ сюда, въ его душѣ уже совершалась какая-то сложная, загадочная работа, и сердцу стало легко и радостно.

„Дуракъ Сенька, даромъ что Савельичъ!“—подумалъ онъ съ усмѣшкой, бодро шагая къ городу на своихъ не гнущихся ногахъ. Онъ вспомнилъ, какъ рыдалъ сегодня въ его рукахъ большой спокойный колоколъ и въ клочья раздиралъ голубую даль своимъ призывнымъ страстнымъ кличемъ—и такъ весело сдѣлалось ему, что онъ не выдержалъ и засмѣялся одинокимъ, сухимъ смѣшкомъ, странно прозвучавшимъ среди ночи и поля. Оно было здѣсь; оно было въ немъ и вокругъ него, а все, что было раньше—ушло куда-то,

и его нѣтъ, и о немъ не нужно думать. И такъ свѣтло въ его головѣ, какъ въ церкви на Пасху, когда у каждаго горитъ въ рукахъ восковая свѣчка.

— Дуракъ Сенька!—повторилъ онъ вслухъ и снова засмѣялся.

Въ субботу Меркуловъ звонилъ въ послѣдній разъ, и когда Семенъ почти насильно отнялъ у него веревку, былъ блѣденъ отъ усталости и волненія, и колѣна его дрожали.

— Погоди, постой—безсмысленно просилъ онъ звонаря, осторожно двумя пальцами касаясь его плеча.— Еще надо. Я разокъ. Потому, еще надо.

Звонарь молча, съ неодобреніемъ оттолкнулъ его, и Меркуловъ жадными глазами простился съ колоколомъ и ушелъ. А въ воскресенье утромъ проснулся радостный и бодрый и долго отказывался понять, что ему некуда и незачѣмъ итти. Какъ долго путешествовавшій человѣкъ, у котораго въ пути было много приключеній, онъ съ любопытствомъ и пріязнью разсматривалъ кривыя стѣны и черный потолокъ—и не нашелъ въ нихъ, чего искалъ. Потомъ пошелъ въ кузницу, потрогалъ пальцемъ холодную золу на горнѣ, зачѣмъ-то плюнулъ и съ интересомъ разсматривалъ плевокъ, свернувшійся шарикомъ въ мягкомъ пеплѣ. Потомъ пошелъ и попробовалъ столбъ: одинъ качался. Такъ цѣлое утро слонялся онъ изъ хаты въ кузницу; долго ходилъ по своему чахлому садику, гдѣ безпріютно торчали голые и какъ будто сухіе прутья малины, и ходилъ на Стрѣлецкую смотрѣть, какъ дрались изъ-за гармоніи двѣ компаніи пьяныхъ стрѣльцовъ.

А въ два часа, когда отъ бездѣлья онъ легъ спать, его разбудилъ женскій визгъ, и передъ испуганными глазами встало окровавленное и страшное лицо Марьи. Она задыхалась, рвала на себѣ уже разорванное му-

жемъ платье и безсмысленно кружилась по хатѣ, тыкаясь въ углы. Крику у нея уже не было, а только дикій визгъ, въ которомъ трудно было разобрать слова.

— Ой, убилъ!

Меркуловъ кружился вмѣстѣ съ ней, но не могъ схватить ее: у нея была ушиблена голова, она ничего не понимала и въ дикомъ ужасѣ царапалась когтями и выла. Лѣвый глазъ у нея былъ выбитъ каблукомъ.

Къ вечеру Меркуловъ былъ пьянъ, подрался съ зятемъ Тараской, и ихъ обоихъ отправили въ участокъ. Тамъ ихъ бросили на асфальтовый грязный полъ, и они заснули пьянымъ мертвецкимъ сномъ, рядомъ, какъ друзья; и во снѣ они скрипѣли зубами и обдавали другъ друга горячимъ дыханіемъ и запахомъ перегорающей водки.

НА СТАНЦІИ.

(1903)

Была ранняя весна, когда я пріѣхалъ на дачу, и на дорожкахъ еще лежалъ прошлогодній темный листъ. Со мною никого не было; я одинъ бродилъ среди пустыхъ дачъ, отражавшихъ стеклами апрѣльское солнце, всходилъ на обширныя свѣтлыя террасы и догадывался, кто будетъ здѣсь жить подъ зелеными шатрами березы и дубовъ. И когда закрывалъ глаза, мнѣ чудились быстрые, веселые шаги, молодая пѣсня и звонкій женскій смѣхъ.

И часто я ходилъ на станцію встрѣчать пассажирскіе поѣзда. Я никого не ждалъ, и некому было пріѣхать ко мнѣ; но я люблю этихъ желѣзныхъ гигантовъ, когда они проносятся мимо, покачивая плечами и переваливаясь на рельсахъ отъ колоссальной тяжести и силы, и уносятъ куда-то незнакомыхъ мнѣ, но близкихъ людей. Они кажутся мнѣ живыми и необыкновенными; въ ихъ быстротѣ я чувствую огромность земли и силу человѣка, и когда они кричатъ повелительно и свободно, я думаю: такъ кричатъ они и въ Америкѣ, и въ Азіи, и въ огненной Африкѣ.

Станція была маленькая, съ двумя короткими запасными путями, и когда уходилъ пассажирскій поѣздъ,

становилось тихо и безлюдно; лѣсъ и лучистое солнце овладѣвали низенькой платформой и пустынными путями и заливали ихъ тишиной и свѣтомъ. На запасномъ пути, подъ пустымъ заснувшимъ вагономъ, бродили куры, роясь около чугунныхъ колесъ, и не вѣрилось, глядя на ихъ спокойную кропотливую работу, что есть какая-то Америка и Азія и огненная Африка... Въ недѣлю я узналъ всѣхъ обитателей уголка и кланялся, какъ знакомымъ, сторожамъ въ синихъ блузахъ и молчаливымъ стрѣлочникамъ съ тусклыми лицами и блестящими на солнцѣ мѣдными рожками.

И каждый день я видѣлъ на станціи жандарма. Это былъ здоровый и крѣпкій малый, какъ всѣ они, съ широкою спиною, туго обтянутымъ синимъ мундиромъ, съ огромными руками и молодымъ лицомъ, на которомъ сквозь суровую начальственную важность еще проглядывала голубоглазая наивность деревни. Вначалѣ онъ недовѣрчиво и мрачно обыскивалъ меня глазами, дѣлалъ недоступно строгое, безъ послабленій, лицо, и, когда проходилъ мимо, шпоры его звучали особенно рѣзко и краснорѣчиво,—но скоро привыкъ ко мнѣ, какъ привыкъ онъ къ этимъ столбамъ, подпирающимъ крышу платформы, къ пустыннымъ путямъ и заброшенному вагону, подъ которымъ копошатся куры. Въ такихъ тихихъ уголкахъ привычка создается быстро. И когда онъ пересталъ замѣчать меня, я увидѣлъ, что этому человѣку скучно—скучно, какъ никому въ мірѣ. Скучно отъ надоѣвшей станціи, скучно отъ отсутствія мыслей, скучно отъ пожирающаго силы бездѣлья, скучно отъ исключительности своего положенія, гдѣ-то въ пространствѣ между недоступнымъ ему станціоннымъ начальствомъ и недостойными его низшими служащими. Душа его жила нарушеніями порядка,—а на этой крохотной станціи никто не нарушалъ порядка,

и каждый разъ, когда отходилъ безъ всякихъ приключеній пассажирскій поѣздъ, на лицѣ жандарма выражалось разстройство и досада обманутаго человѣка. Нѣсколько минутъ въ нерѣшимости онъ стоялъ на мѣстѣ и потомъ вялою походкою шелъ на другой конецъ платформы—безъ опредѣленной цѣли. Дорогою на секунду останавливался передъ бабою, ожидавшей поѣзда; но баба была, какъ баба,—и, нахмурившись, жандармъ слѣдовалъ дальше. Потомъ онъ садился, вяло и плотно, какъ разваренный, и чувствовалось, какъ мягки и вялы подъ сукномъ мундира его бездѣятельныя руки, какъ въ мучительной истомѣ бездѣлья томится все его крѣпкое, созданное для работы тѣло. Мы скучаемъ только головою,—а онъ скучалъ весь насквозь, снизу до верху: скучала его фуражка, съ безцѣльнымъ молодечествомъ сдвинутая на бекрень, скучали шпоры и тренькали дисгармонично, враздробь, какъ глухія. Потомъ онъ начиналъ зѣвать. Какъ онъ зѣвалъ! Ротъ его кривился, раздираясь отъ одного уха до другого, ширился, росъ, поглощалъ все лицо; казалось, еще секунда—и въ это растущее отверстіе можно будетъ разсмотрѣть самыя внутренности его, набитыя кашей и жирными щами. Какъ онъ зѣвалъ!

Съ поспѣшностью я уходилъ, но долго еще подлая зѣвота сводила мои скулы, и въ слезящихся глазахъ ломались и прыгали деревья.

Однажды съ почтоваго поѣзда сняли безбилетнаго пассажира—и это было праздникомъ для скучающаго жандарма. Онъ подтянулся, шпоры звякнули отчетливо и свирѣпо, лицо стало сосредоточенно и зло,—но счастье было непродолжительно. Пассажиръ заплатилъ деньги и, торопливо ругаясь, вернулся въ вагонъ, а сзади растерянно и жалко тренькали металлическіе кружки, и надъ ними разслабленно колыхалось обезсилѣвшее тѣло.

И порою, когда жандармъ начиналъ зѣвать, мнѣ становилось за кого-то страшно.

Уже нѣсколько дней около станціи возились рабочіе, расчищая мѣсто, а когда я вернулся изъ города, пробывъ тамъ два дня, каменщики клали третій рядъ кирпича: для станціи воздвигалось новое, каменное зданіе. Каменщиковъ было много, они работали быстро и ловко, и было радостно и странно смотрѣть, какъ выростала изъ земли прямая и стройная стѣна. Заливъ цементомъ одинъ рядъ, они устилали слѣдующій, подгоняя кирпичи по размѣру, кладя ихъ то широкимъ, то узкимъ бокомъ, отсѣкая углы, примѣриваясь. Они размышляли, и ходъ ихъ мыслей былъ ясенъ, ясна и ихъ задача—и это дѣлало ихъ работу интересною и пріятною для глаза. Я съ удовольствіемъ смотрѣлъ на нихъ, когда рядомъ прозвучалъ начальственный голосъ:

— Слушай, ты! Какъ тебя! Не тотъ кладешь!

Это говорилъ жандармъ. Перегнувшись черезъ металлическую рѣшетку, которая отдѣляла асфальтовую платформу отъ работающихъ, онъ показывалъ пальцемъ на кирпичъ и настаивалъ:

— Тебѣ говорю! Борода! Вонъ тотъ положь. Видишь—половинка.

Каменщикъ съ бородою, мѣстами бѣлѣвшей отъ извести, молча обернулся—лицо жандарма было строго и внушительно—молча послѣдовалъ глазами за его пальцемъ, взялъ кирпичъ, примѣрилъ—и молча положилъ назадъ. Жандармъ строго взглянулъ на меня и отошелъ прочь, но соблазнъ интересной работы былъ сильнѣе приличій: сдѣлавъ два круга по платформѣ, онъ снова остановился противъ работающихъ въ нѣсколько небрежной и презрительной позѣ. Но на лицѣ его не было скуки.

Я пошелъ въ лѣсъ, а когда возвращался назадъ черезъ станцію, былъ часъ дня,—рабочіе отдыхали, и было безлюдно, какъ всегда. Но у начатой стѣны кто-то копошился, и это былъ жандармъ. Онъ бралъ кирпичи и докладывалъ пятый неоконченный рядъ. Мнѣ видна была только его широкая, обтянутая спина, но въ ней чувствовалось напряженное размышленіе и нерѣшительность. Очевидно, работа была сложнѣе, чѣмъ онъ думалъ; обманывалъ его и непривычный глазъ, и онъ откидывался назадъ, качалъ головою и нагибался за новымъ кирпичемъ, стуча опустившейся шашкой. Разъ онъ поднялъ палецъ вверхъ—классическій жестъ человѣка, нашедшаго рѣшеніе задачи, вѣроятно, употребленный еще Архимедомъ,—и спина его выпрямилась самоувѣреннѣе и тверже. Но сейчасъ же съежилась опять въ сознаніи неприличности взятой работы. Было во всей его рослой фигурѣ что-то притаившееся, какъ у дѣтей, когда они боятся, что ихъ поймаютъ.

Я неосторожно чиркнулъ спичкой, закуривая папиросу,—и жандармъ испуганно обернулся. Секунду онъ растерянно глядѣлъ на меня—и внезапно молодое лицо его освѣтилось слегка просительной, довѣрчивой и ласковой улыбкой. Но уже въ слѣдующее мгновеніе оно стало недоступно и строго, и рука потянулась къ жиденькимъ усамъ—но въ ней, въ этой самой рукѣ, еще лежалъ злополучный кирпичъ. И я видѣлъ, какъ мучительно стыдно ему и кирпича этого, и своей невольной предательской улыбки. Вѣроятно, онъ не умѣлъ краснѣть—иначе онъ покраснѣлъ бы, какъ кирпичъ, который продолжалъ безпомощно лежать въ его рукѣ.

Стѣну возвели до половины, — и уже не видно, что дѣлаютъ на своихъ подмосткахъ ловкіе каменщики. И опять мается по платформѣ и зѣваетъ жандармъ, и когда, отвернувшись, проходитъ мимо меня, я чувствую,

что ему стыдно,—и онъ меня ненавидитъ. А я гляжу на его сильныя руки, вяло болтающіяся въ рукавахъ, на его нестройно брякающія шпоры и повисшую шашку—и мнѣ все кажется, что это не настоящее, что въ ножнахъ совсѣмъ нѣтъ шашки, которой можно зарубить, а въ кобурѣ нѣтъ револьвера, которымъ можно насмерть застрѣлить человѣка. И самый мундиръ его—тоже не настоящее, а такъ, нарочно, какой-то странный маскарадъ среди бѣлаго дня, предъ апрѣльскимъ правдивымъ солнцемъ, среди простыхъ работающихъ людей и хлопотливыхъ куръ, собирающихъ зерна подъ заснувшимъ вагономъ.

Но порою... порою мнѣ становится за кого-то страшно Ужъ очень онъ скучаетъ...

МАРСЕЛЬЕЗА.

(1903)

Это было ничтожество: душа зайца и безстыдная терпѣливость рабочаго скота. Когда судьба насмѣшливо и злобно бросила его въ наши черные ряды, мы смѣялись, какъ сумасшедшіе: вѣдь бываютъ же такія смѣшныя, такія нелѣпыя ошибки. А онъ—онъ, конечно, плакалъ. Я никогда въ жизни не встрѣчалъ человѣка, у котораго было бы такъ много слезъ и онѣ текли бы такъ охотно—изъ глазъ, изъ носа, изо рта. Точно губка, пропитанная водою и зажатая въ кулакъ. И въ нашихъ рядахъ я видѣлъ плачущихъ мужчинъ, но ихъ слезы были—огонь, отъ котораго бѣжали дикіе звѣри. Отъ этихъ мужественныхъ слезъ старѣло лицо и молодѣли глаза: какъ лава, исторгнутая изъ раскаленныхъ нѣдръ земли, онѣ выжигали неизгладимые слѣды и хоронили подъ собою цѣлые города ничтожныхъ желаній и мелкихъ заботъ. А у этого, когда онъ поплачетъ, только краснѣлъ его носикъ, да намокалъ платочекъ. Вѣроятно, онъ сушилъ его потомъ на веревочкѣ, иначе откуда набралъ бы онъ столько платковъ?

И во всѣ дни изгнанія онъ таскался къ начальникамъ, ко всѣмъ начальникамъ, какіе только были и какихъ онъ могъ придумать, кланялся, плакалъ, клялся

въ своей невиновности, умолялъ пожалѣть его молодость, давалъ обѣщанія всю жизнь не открывать рта иначе, какъ для просьбъ и славословій. И тѣ смѣялись надъ нимъ, какъ и мы, и называли его: „маленькая несчастная свинья“, и кричали ему:

— Эй ты, маленькая свинья.

И онъ послушно бѣжалъ на зовъ: онъ думалъ каждый разъ услышать вѣсть о возвращеніи на родину, а они только шутили. Они знали, какъ и мы, что онъ невиновенъ, но его муками они думали напугать другихъ маленькихъ свиней,—какъ будто и такъ недостаточно трусливы онѣ!

Приходилъ онъ и къ намъ, гонимый животнымъ страхомъ одиночества; но суровы и замкнуты были наши лица и тщетно онъ искалъ ключа. Теряясь, онъ называлъ насъ милыми товарищами и друзьями, а мы качали головой и говорили:

— Смотри! Тебя услышатъ.

И онъ позволялъ себѣ глядѣть на дверь, эта маленькая свинья. Ну, развѣ можно было сохранить серьезность! И мы смѣялись отвыкшими отъ смѣху голосами, а онъ, ободренный и утѣшенный, присаживался ближе и разсказывалъ, и плакалъ о своихъ любимыхъ книжечкахъ, оставшихся на столѣ, о своей мамашѣ и братцахъ, о которыхъ онъ не знаетъ,—живы они или уже умерли отъ страха и тоски.

Подъ конецъ мы его выгоняли.

Когда началась голодовка, его охватилъ ужасъ—невыразимо-комичный ужасъ. Вѣдь онъ очень любилъ покушать, бѣдная свинья, и онъ очень боялся милыхъ товарищей и очень боялся начальниковъ: растерянно бродилъ онъ среди насъ и часто вытиралъ платкомъ лобъ, на которомъ выступило что-то—слезы или потъ. И нерѣшительно спросилъ меня:

— Вы долго будете голодать?

— Долго,—сурово отвѣтилъ я.

— А потихоньку вы ничего не будете ѣсть?

— Мамаши будутъ присылать намъ пирожковъ,— серьезно согласился я. Онъ недовѣрчиво посмотрѣлъ на меня, покачалъ головою и, вздохнувъ, ушелъ. А на другой день заявилъ, зеленый отъ страха, какъ попугай:

— Милые товарищи! Я тоже буду голодать съ вами.

И былъ общій отвѣтъ:

— Голодай одинъ.

И онъ голодалъ! Мы не вѣрили, какъ не вѣрите вы, мы думали, что онъ ѣстъ что-нибудь потихоньку, и такъ же думали надсмотрщики. И когда подъ конецъ голодовки онъ заболѣлъ голоднымъ тифомъ, мы только пожали плечами: бѣдная, маленькая свинья! Но одинъ изъ насъ,—тотъ, что никогда не смѣялся, угрюмо сказалъ:

— Онъ нашъ товарищъ. Пойдемъ къ нему.

Онъ бредилъ, и жалокъ, какъ вся его жизнь, былъ этотъ безсвязный бредъ. О своихъ любимыхъ книжечкахъ говорилъ онъ, о мамашѣ и братцахъ; онъ просилъ пирожковъ,—холодныхъ, какъ ледъ, вкусныхъ пирожковъ, и клялся, что невиновенъ и просилъ прощенія. И родину онъ звалъ, звалъ милую Францію,— о, будь проклято слабое сердце человѣка! Онъ душу раздиралъ этимъ зовомъ: милая Франція!

Мы всѣ были въ палатѣ, когда онъ умиралъ. Сознаніе вернулось къ нему передъ смертью, и тихо онъ лежалъ, такой маленькій, слабый, и тихо стояли мы, его товарищи. И всѣ мы, всѣ до единаго, услышали, какъ онъ сказалъ:

— Когда я умру, пойте надо мною „Марсельезу“.

— Что ты говоришь!—воскликнули мы, содрогаясь отъ радости и закипающаго гнѣва. И онъ повторилъ:

— Когда я умру, пойте надо мною „Марсельезу“.

— И впервые случилось такъ, что сухи были его глаза, а мы—мы плакали, плакали всѣ до единаго, и какъ огонь, отъ котораго бѣгутъ дикіе звѣри, горѣли наши слезы.

Онъ умеръ, и мы пѣли надъ нимъ „Марсельезу“. Молодыми и сильными голосами пѣли мы великую пѣсню свободы, и грозно вторилъ намъ океанъ и на хребтахъ валовъ своихъ несъ въ милую Францію и блѣдный ужасъ, и кроваво-красную надежду. И навсегда сталъ онъ знаменемъ нашимъ,—это ничтожество съ тѣломъ зайца и рабочаго скота—и великою душою человѣка. На колѣни передъ героемъ, товарищи и друзья!

Мы пѣли. На насъ смотрѣли ружья, зловѣще щелкали ихъ замки и острыя жала штыковъ, угрожающе тянулись къ нашимъ сердцамъ,—и все громче, все радостнѣе звучала грозная пѣсня, въ нѣжныхъ рукахъ бойцовъ тихо колыхался черный гробъ.

Мы пѣли „Марсельезу“!

БЕНЪ-ТОВИТЪ.

(1903)

Въ тотъ страшный день, когда совершилась міровая несправедливость и на Голгоѳѣ среди разбойниковъ былъ распятъ Іисусъ Христосъ,—въ тотъ день съ самаго ранняго утра у іерусалимскаго торговца Бенъ-Товита нестерпимо разболѣлись зубы. Началось это еще наканунѣ, съ вечера: слегка стало ломить правую челюсть, а одинъ зубъ, крайній передъ зубомъ мудрости, какъ будто немного приподнялся и, когда къ нему прикасался языкъ, давалъ легкое ощущеніе боли. Послѣ ѣды боль, однако, совершенно утихла и Бенъ-Товитъ совсѣмъ забылъ о ней и успокоился,—онъ въ этотъ день выгодно вымѣнялъ своего стараго осла на молодого и сильнаго, былъ очень веселъ и не придалъ значенія зловѣщимъ признакамъ.

И спалъ онъ очень хорошо и крѣпко, но передъ самымъ разсвѣтомъ что-то начало тревожить его, какъ будто кто-то звалъ его по какому-то очень важному дѣлу, и когда Бенъ-Товитъ сердито проснулся—у него болѣли зубы, болѣли открыто и злобно, всею полнотою острой, сверлящей боли. И уже нельзя было понять, болѣлъ ли это вчерашній зубъ, или къ нему присоединились и другіе: весь ротъ и голова полны были ужа-

снымъ ощущеніемъ боли, какъ будто Бенъ-Товита заставили жевать тысячу раскаленныхъ до-красна острыхъ гвоздей. Онъ взялъ въ ротъ воды изъ глинянаго кувшина,—на минуту ярость боли исчезла, зубы задергались и волнообразно заколыхались, и это ощущеніе было даже пріятно по сравненію съ предыдущимъ. Бенъ-Товитъ снова улегся, вспомнилъ про новаго ослика и подумалъ, какъ бы былъ онъ счастливъ, если бы не эти зубы, и хотѣлъ уснуть. Но вода была теплая,—и черезъ пять минутъ боль вернулась еще болѣе свирѣпая, чѣмъ прежде, и Бенъ-Товитъ сидѣлъ на постели и раскачивался, какъ маятникъ. Все лицо его сморщилось и собралось къ большому носу, а на носу, поблѣднѣвшемъ отъ страданій, застыла капелька холоднаго пота. Такъ, покачиваясь и стеная отъ боли, онъ встрѣтилъ первые лучи того солнца, которому суждено было видѣть Голгоѳу съ тремя крестами, и померкнуть отъ ужаса и горя.

Бенъ-Товитъ былъ добрый и хорошій человѣкъ, не любившій несправедливости, но, когда проснулась его жена, онъ, еле разжимая ротъ, наговорилъ ей много непріятнаго и жаловался, что его оставили одного, какъ шакала, выть и корчиться отъ мученій. Жена терпѣливо приняла незаслуженные упреки, такъ какъ знала, что не отъ злого сердца говорятся они, и принесла много хорошихъ лѣкарствъ: крысинаго очищеннаго помета, который нужно прикладывать къ щекѣ, острой настойки на скорпіонѣ и подлинный осколокъ кампя отъ разбитой Моисеемъ скрижали завѣта. Отъ крысинаго помета стало нѣсколько лучше, но не надолго, такъ же отъ настойки и камешка, но всякій разъ послѣ кратковременнаго улучшенія боль возвращалась съ новой силой. И въ краткія минуты отдыха Бенъ-Товитъ утѣшалъ себя мыслью объ осликѣ и меч-

талъ о немъ, а когда становилось хуже—стоналъ, сердился на жену и грозилъ, что разобьетъ себѣ голову о камень, если не утихнетъ боль. И все время ходилъ изъ угла въ уголъ по плоской крышѣ своего дома, стыдясь близко подходить къ наружному краю, такъ какъ вся голова его была обвязана платкомъ, какъ у женщины. Нѣсколько разъ къ нему прибѣгали дѣти и что-то разсказывали торопливыми голосами о Іисусѣ Назореѣ. Бенъ-Товитъ останавливался, минуту слушалъ ихъ, сморщивъ лицо, но потомъ сердито топалъ ногой и прогонялъ: онъ былъ добрый человѣкъ и любилъ дѣтей, но теперь онъ сердился, что они пристаютъ къ нему со всякими пустяками.

Было также непріятно и то, что на улицѣ и на сосѣднихъ крышахъ собралось много народу, который ничего не дѣлаетъ и любопытно смотритъ на Бенъ-Товита, обвязаннаго платкомъ, какъ женщина. И онъ уже собирался сойти внизъ, когда жена сказала ему:

— Посмотри, вонъ ведутъ разбойниковъ. Быть можетъ, это развлечетъ тебя.

— Оставь меня, пожалуйста. Развѣ ты не видишь, какъ я страдаю?—сердито отвѣтилъ Бенъ-Товитъ. Но въ словахъ жены звучало смутное обѣщаніе, что зубы могутъ пройти, и нехотя онъ подошелъ къ парапету. Склонивъ голову на бокъ, закрывъ одинъ глазъ и подпирая щеку рукою, онъ сдѣлалъ брезгливо-плачущее лицо и посмотрѣлъ внизъ.

По узенькой улицѣ, поднимавшейся въ гору, безпорядочно двигалась огромная толпа, окутанная пылью и несмолкающимъ крикомъ. По серединѣ ея, сгибаясь подъ тяжестью крестовъ, двигались преступники, и надъ ними вились, какъ черные змѣи, бичи римскихъ солдатъ. Одинъ,—тотъ, что съ длинными свѣтлыми волосами, въ разорванномъ и окровавленномъ хитонѣ,—

споткнулся на брошенный подъ ноги камень и упалъ. Крики сдѣлались громче, и толпа, подобно разноцвѣтной морской водѣ, сомкнулась надъ упавшимъ. Бенъ-Товитъ внезапно вздрогнулъ отъ боли,—въ зубъ точно вонзилъ кто-то раскаленную иглу и повернулъ ее—застоналъ: у-у-у,—и отошелъ отъ парапета, брезгливо-равнодушный и злой.

Какъ они кричатъ!—завистливо сказалъ онъ, представляя широко открытые рты съ крѣпкими неболѣющими зубами, и какъ бы закричалъ онъ самъ, если бы былъ здоровъ. И отъ этого представленія боль освирѣпѣла, и онъ часто замоталъ обвязанной головой и замычалъ: м-у-у...

— Разсказываютъ, что Онъ исцѣлялъ слѣпыхъ,—сказала жена, не отходившая отъ парапета, и бросила камешекъ въ то мѣсто, гдѣ медленно двигался поднятый бичами Іисусъ.

— Ну, конечно! Пусть бы Онъ исцѣлилъ вотъ мою зубную боль,—иронически отвѣтилъ Бенъ-Товитъ и раздражительно съ горечью добавилъ:—какъ они пылятъ! Совсѣмъ какъ стадо! Ихъ всѣхъ нужно бы разогнать палкой! Отведи меня внизъ, Сара!

Жена оказалась права: зрѣлище нѣсколько развлекло Бенъ-Товита, а, быть можетъ, помогъ въ концѣ концовъ крысиный пометъ, и ему удалось уснуть. А когда онъ проснулся, боль почти исчезла, и только на правой челюсти вздулся небольшой флюсъ, настолько небольшой, что его едва можно было замѣтить. Жена говорила, что совсѣмъ незамѣтно, но Бенъ-Товитъ лукаво улыбался: онъ зналъ, какая добрая у него жена и какъ она любитъ сказать пріятное. Пришелъ сосѣдъ, кожевникъ Самуилъ, и Бенъ-Товитъ водилъ его посмотрѣть новаго ослика и съ гордостью выслушивалъ горячія похвалы себѣ и животному.

Потомъ, по просьбѣ любопытной Сары, они втроемъ пошли на Голгоѳу посмотрѣть на распятыхъ. Дорогою Бенъ-Товитъ разсказывалъ Самуилу съ самаго начала, какъ вчера онъ почувствовалъ ломоту въ правой челюсти и какъ потомъ ночью проснулся отъ страшной боли. Для наглядности онъ дѣлалъ страдальческое лицо, закрывалъ глаза, моталъ головой и стоналъ, а сѣдобородый Самуилъ сочувственно качалъ головою и говорилъ:

— Ай-ай-ай! Какъ больно!

Бенъ-Товиту понравилось одобреніе, и онъ повторилъ разсказъ и потомъ вернулся къ тому отдаленному времени, когда у него испортился еще только первый зубъ, внизу съ лѣвой стороны. Такъ въ оживленной бесѣдѣ они пришли на Голгоѳу. Солнце, осужденное свѣтить міру въ этотъ страшный день, закатилось уже за отдаленные холмы и на западѣ горѣла, какъ кровавый слѣдъ, узкая, багрово-красная полоса. На фонѣ ея неразборчиво темнѣли кресты, и у подножія средняго креста смутно бѣлѣли какія-то колѣнопреклоненныя фигуры.

Народъ давно разошелся; становилось холодно, и мелькомъ взглянувъ на распятыхъ, Бенъ-Товитъ взялъ Самуила подъ руку и осторожно повернулъ его къ дому. Онъ чувствовалъ себя особенно краснорѣчивымъ, и ему хотѣлось досказать о зубной боли. Такъ шли они, и Бенъ-Товитъ подъ сочувственные кивки и возгласы Самуила дѣлалъ страдальческое лицо, моталъ головой и искусно стоналъ,—а изъ глубокихъ ущелій, съ далекихъ обожженныхъ равнинъ поднималась черная ночь. Какъ будто хотѣла она сокрыть отъ взоровъ неба великое злодѣяніе земли.

НѢТЪ ПРОЩЕНІЯ.

(1904)

Курсистка. Молоденькая, такая молоденькая — совсѣмъ еще дѣвочка. Носъ тонкій, красивый, но по-дѣтски еще незаконченный: не то онъ прямой, не то съ горбинкой, не то просто вздернутый; и такія же незаконченныя, пухлыя губы, отъ которыхъ какъ будто пахнетъ шоколадными конфектами и красной карамелью. И такъ щедры, такъ пышны тонкіе волосы, густой и ласковой волной окутавшіе голову, что при взглядѣ на нихъ приходятъ мысли обо всемъ самомъ хорошемъ и свѣтломъ, что есть на землѣ: о золотомъ утрѣ на голубомъ морѣ, о весеннихъ жаворонкахъ, о ландышахъ и пахучей разросшейся сирени. Безоблачное небо и сирень, огромные, безконечные кусты сирени и жаворонки надъ ними. Или вотъ еще вспоминается что. Когда въ майскій полдень проходишь подъ цвѣтущими яблонями, то съ нихъ падаютъ бѣло-розовые лепестки и нѣжно ложатся на плечо, на шляпу, на черный рукавъ—бѣло-розовые, нѣжные лепестки.

И глаза у нея были молодые, яркіе, наивно безстрастные—и, только приглядѣвшись, можно было замѣтить на лицѣ легкія тѣни усталости, недоѣданія, безсонныхъ, позднихъ вечеровъ за разговорами въ на-

куренныхъ тѣсныхъ комнаткахъ, подъ изсушающимъ огнемъ лампъ. Быть можетъ, и слезы бывали на этихъ щекахъ—какія-то особенныя, не дѣтскія, ядовитыя слезы, и сдержанной тревожностью дышали движенія: лицо было весело и чуть-чуть улыбалось, а нога въ маленькой, забрызганной грязью калошѣ нетерпѣливо притоптывала—какъ будто торопила медленную конку и гнала ее впередъ, быстрѣе, быстрѣе.

Все это успѣлъ разсмотрѣть наблюдательный Мигрофанъ Васильевичъ Крыловъ, пока прошла полстанціи тягучая конка. Онъ также стоялъ на площадкѣ, противъ дѣвушки, и отъ нечего дѣлать разсматривалъ ее, слегка брезгливо и враждебно, какъ очень простую и знакомую алгебраическую формулу, которая выведена мѣломъ на черной доскѣ и настойчиво лѣзетъ въ глаза. Вначалѣ ему стало весело, какъ и всякому, кто взглядывалъ на дѣвушку, но не надолго: были причины, убивавшія всякое веселье. Возвращался онъ изъ своей гимназіи, послѣ пятаго урока, былъ утомленъ и очень голоденъ, а вагонъ былъ набитъ биткомъ и негдѣ было присѣсть и почитать газету. И погода была скверная, ноябрьская, и городъ былъ надоѣвшій, скверный, и дешевая жизнь—какъ коночный билетъ съ надорваннымъ уголомъ. Отъ дома до гимназіи и обратно: всѣ дни можно сосчитать по билетамъ, а сама жизнь похожа на клубокъ, изъ котораго грязные пальцы вытягиваютъ бумажную ленту и отрываютъ по билету—по дню. И уже скоро дѣвушка опротивѣла ему, и онъ съ радостью пересталъ бы на нее смотрѣть, но некуда было дѣвать глаза.

— Недавно изъ провинціи,—сурово отмѣчалъ онъ.— И какого они чорта лѣзутъ сюда, я бы вотъ съ радостью удралъ въ Чухлому, къ дьяволу на рога. И тоже, конечно, всякіе разговоры, убѣжденія, а тесемки

на юбкѣ подшить не можетъ. До того-ли! Обидно главное, что такая хорошенькая.

Дѣвушка замѣтила косой взглядъ и смутилась—смутилась больше, чѣмъ полагается, изъ глазъ ея исчезла улыбка, на молоденькомъ лицѣ явилось выраженіе дѣтскаго страха и растерянности, и лѣвая рука быстро потянулась къ груди и остановилась тамъ, что-то придерживая.

— Ишь ты! — удивился Митрофанъ Васильевичъ, отводя глаза и дѣлая равнодушное учительское лицо:—это она моихъ синихъ очковъ испугалась. Думаетъ, сыщикъ: подъ кофточкой-то, должно быть, бумажонки какія-нибудь. Прежде любовныя записки на груди носили, а теперь какіе-то тамъ бюллетени. И названіе-то нелѣпое: бюллетени.

Онъ снова бросилъ осторожный взглядъ, чтобы провѣрить впечатлѣніе, и отвернулся: курсистка во всѣ глаза, какъ очарованная, глядѣла на него и крѣпко прижимала руку къ лѣвому боку. Крыловъ разсердился:

— Вотъ дурища! Разъ очки синіе, такъ непремѣнно шпіонъ. А что у человѣка отъ занятій глаза могутъ болѣть, этого она не понимаетъ. И этакая наивность, вся на виду: пожалуйте. Тоже, вѣдь, дѣло, берутся дѣлать, отечество спасаютъ. Соску ей надо, а не отечество. Нѣтъ, не дозрѣли мы. Лассаль, напримѣръ,—вотъ это голова! А то тоже: всякая козявка. Уравненія съ двумя неизвѣстными рѣшить не умѣетъ, а туда же: финансы, политика, бумажки. Попугать бы тебя, какъ слѣдуетъ—тогда узнала бы, какъ надо!

И еще не успѣлъ онъ окончить своей мысли, какъ внезапно вдохновеніе осѣнило его. Отъ ноябрьскаго темнаго неба, съ мокрыхъ и грязныхъ камней мостовой, изъ пустоты голоднаго и злого желудка пришло оно—это внезапное повелительное вдохновеніе. Какимъ-

то чрезвычайно подлымъ жестомъ втянувъ голову въ плечи, Митрофанъ Васильевичъ придалъ своей физіономіи то особенное, хитро пакостное выраженіе, какое, по его мнѣнію, должно быть у настоящаго шпіона, и бросилъ такой косой взглядъ, что чуть не вывернулъ глаза. И доволенъ остался: дѣвушка вздрогнула и затрепетала неуловимымъ трепетомъ страха, и глаза ея тревожно забѣгали.

— Да, вотъ именно: а бѣжать-то и некуда!—толковалъ ея движенія Митрофанъ Васильевичъ.—Попрыгай, попрыгай, голубушка, а мы еще жарку поддадимъ.

И вдохновляясь все болѣе и болѣе, забывая о голодѣ, и скверной погодѣ, отъ творческой горделивой радости, онъ такъ искусно началъ изображать шпіона, какъ будто настоящимъ былъ актеромъ или дѣйствительно служилъ въ сыщикахъ. Тѣло неуловимо извивалось скользкими змѣиными изгибами, глаза сіяли предательствомъ, и правая рука, опущенная въ карманъ, сжимала надорванный билетъ такъ энергично и сурово, точно это былъ не кусокъ бумажки, а револьверъ, заряженный шестью пулями, или агентская книжка. И уже не одна дѣвушка, а и многіе другіе обратили на него вниманіе: толстый рыжій купецъ, одинъ занимавшій треть площадки, какъ-то незамѣтно сжался, точно сразу похудѣлъ и отвернулся. Высокій малый въ фартукѣ поверхъ драповаго пальто поморгалъ на Митрофана Васильевича кроличьими глазами и внезапно, толкнувъ дѣвушку, соскочилъ и завертѣлся среди экипажей.

Отлично! похвалилъ себя Митрофанъ Васильевичъ, радуясь глубоко и сосредоточенно, скрытной и злой радостью желчнаго человѣка. Въ отрѣшеніи отъ своей личности, въ томъ, что онъ притворялся именно такой гадостью, какъ шпіонъ, и люди боялись и ненавидѣли

его—было что-то острое, пріятно-тревожное и захватывающее. Въ сѣрой пеленѣ обыденщины открывались какіе-то темные, жуткіе провалы, полные намековъ и безшумно рѣющихъ тѣней. Онъ вспомнилъ свой классъ, опротивѣвшія физіономіи учениковъ, ихъ синія тетради, закапанныя, грязныя, исчерканныя, полныя нелѣпыхъ, идіотскихъ ошибокъ, отъ которыхъ скучно становится жить и перестаешь любить математику,—и подумалъ:

— А въ сущности, очень должно быть интересное это дѣло,—шпіонское. Шпіонъ-то вѣдь тоже рискуетъ, да еще какъ. Ой-ой какъ! Одного шпіона даже убили, разсказывалъ кто-то. Такъ и зарѣзали, какъ свинью.

На минуту ему стало страшно и захотѣлось перестать быть шпіономъ, но та учительская шкура, въ которую подлежало вернуться, была такъ голодна, скучна, противна, что онъ внутренно махнулъ на нее рукой, даже плюнулъ, и далъ лицу самое пакостное выраженіе, какое только могъ. Курсистка уже не смотрѣла на него, но вся ея молодая фигурка, кончикъ краснаго уха, выглядывавшій изъ-подъ вьющихся волосъ, слегка наклонившійся впередъ корпусъ и медленно и глубоко работающая грудь выражали страшное напряженіе и одну сверлящую мысль о побѣгѣ. О крыльяхъ, вѣроятно, мечтала она—о крыльяхъ. Раза два она нерѣшительно переступила ногами, положила руку на столбикъ и слегка повела головой къ Митрофану Васильевичу—но сбоку, покраснѣвшей щекою почувствовала его пронизывающій взглядъ, и замерла. И рука ея такъ и осталась лежать на перилахъ, и черная перчатка, прорвавшаяся на среднемъ пальцѣ, слегка дрожала. И стыдно было, что всѣ видятъ прорванную перчатку и высунувшійся палецъ, такой маленькій, такой сиротливый и робкій,—но снять руку не было силы.

— Ага! — думалъ Митрофанъ Васильевичъ: то-то вотъ! уйти-то некуда. Впередъ наука: будешь знать, какъ дѣла дѣлать. А то словно на балъ собралась; нѣтъ, братъ, шалишь, не все тебѣ одни удовольствія. Попрыгай-ка теперь, да.

Онъ представилъ себѣ жизнь преслѣдуемой дѣвушки—и она была такая же интересная, такая же полная и разнообразная, какъ и у шпіона. И было въ ней еще что-то, чего не хватало въ жизни сыщика, какая-то обидная гордость, какая-то стройная гармонія борьбы, тайны, быстраго ужаса и быстрой мужественной радости. За ней гонятся—а развѣ нѣтъ въ этомъ особенной, огневой радости, когда кто-то злой, враждебный и опасный простираетъ къ горлу хищныя руки, нить за нитью вьетъ убійственную веревку? Какъ бьется сердце, какъ ярка жизнь, какъ хочется жить!

Брезгливо, бокомъ, Митрофанъ Васильевичъ оглядѣлъ свое поношенное потертое на рукавахъ пальто, вспомнилъ пуговицу, внизу вырванную съ мясомъ, представилъ себѣ свое желтое кислое лицо, которое онъ такъ не любитъ, что бреетъ только разъ въ мѣсяцъ, синіе очки — и съ ядовитой радостью нашелъ, что онъ дѣйствительно похожъ на шпіона. Особенно пуговица: у шпіоновъ некому пришивать пуговицъ и у каждаго изъ нихъ обязательно должна быть одна такая надорванная, уныло обвисшая пуговица, на которую нельзя застегивать. И шевельнулось глухое чувство какого-то особеннаго, жуткаго, шпіонскаго одиночества и грустно стало, и все — и небо, и люди, и жизнь — расцвѣтилось черными, суровыми красками, стало глубоко, загадочно и содержательно.

Теперь онъ смотрѣлъ на все одними глазами съ дѣвушкой, и ново было все. Ни разу въ жизни онъ не задумывался надъ тѣмъ, что такое вечеръ и ночь—эта

таинственная ночь, родящая мракъ, прячущая людей, безмолвная, неотвратимая—теперь онъ видѣлъ ея молчаливое шествіе, удивлялся загорающимся фонарямъ, что-то прозрѣвалъ въ этой борьбѣ свѣта съ мракомъ, и поражался спокойствіемъ снующей по тротуарамъ толпы—неужели они не видятъ ночи? Дѣвушка жадно смотрѣла въ пробѣгающія черныя отверстія еще неосвѣщенныхъ переулковъ—и онъ смотрѣлъ тѣми-же глазами и были краснорѣчивы зовущіе во тьму корридоры. Она съ тоской глядѣла на высокіе дома, камнемъ отгородившіе себя отъ улицы, и безпріютныхъ людей—и новыми казались эти тѣсныя громады, эти злыя крѣпости.

На остановкѣ, гдѣ кончалась станція, Митрофану Васильевичу нужно было сходить, но дѣвушка ѣхала дальше, и онъ громко сказалъ кондуктору:

— Позвольте мнѣ билетъ и' на эту станцію.

И очень былъ доволенъ, что удалось найти въ кошелькѣ пятачокъ, почему-то казалось ему, что у шпіоновъ бываетъ только мѣдь и старыя засаленныя и даже склеенныя бумажки — хорошими красивыми деньгами нельзя платить шпіонамъ, иначе они похожи будутъ на обыкновенныхъ людей. И молчаливый кондукторъ тоже понималъ это: такъ гадливо-почтительно взялъ монету, что къ удовольствію у Митрофана Васильевича прибавилось чувство обиды и возмущенія.

— Брезгуешь, мерзавецъ!—подумалъ онъ, наводя синіе очки, какъ пушки, на лицо кондуктора и медленно принимая билетъ: а самъ, небось, здорово поворовываешь. Знаю я васъ! Жалованьишко-то маленькое, ну, а контролеръ тоже, небось, не дуракъ. Рука руку моетъ, да.

И онъ замечтался о томъ, какъ онъ выслѣдитъ кондуктора и контролера, соберетъ точныя данныя и въ

одинъ прекрасный день—пожалуйте въ управленіе. Вы воровать, а? Вотъ изумится-то! А онъ будетъ продолжать выслѣживать другихъ кондукторовъ, будетъ искоренять воровство...

— Гдѣ же эта, молоденькая? Слава Богу, еще тутъ.

— Хорошъ шпіонъ! добродушно упрекаетъ себя Митрофанъ Васильевичъ.—Немножко бы—и выпустилъ птичку.

— Пользуясь разсѣянностью учителя, курсистка сняла съ перилъ руку въ разорванной перчаткѣ,—это сдѣлало ее смѣлѣе,—и на углу большой улицы, гдѣ пересѣкались коночные пути, она соскочила. Тутъ слѣзало и садилось много публики, и какая-то худощавая женщина съ огромнымъ узломъ загородила Митрофану Васильевичу выходъ. Онъ говорилъ „позвольте“ и пробовалъ пролѣзать, но застрявалъ и бросался къ другой сторонѣ. Но тамъ закрывали дорогу кондукторъ и давешній рыжій купецъ. Послѣдній даже взялся обѣими руками за поручни и точно не слыхалъ, какъ учитель сперва двумя пальцами, потомъ всей рукой теребилъ его за рукавъ.

— Да пустите же—крикнулъ Митрофанъ Васильевичъ!—Кондукторъ, что это за безобразіе. Я жаловаться буду!

Они не слыхали—кротко заступился кондукторъ.—Господинъ, позвольте имъ пройти.

Купецъ, не оглядываясь, нехотя разжалъ пухлую руку, но не подвинулся, и Митрофану Васильевичу, съ трудомъ пробиравшемуся въ узкое отверстіе, почувствовалось даже, что купецъ нарочно стискиваетъ его и душитъ. Задыхаясь, онъ высвободился, прыгнулъ такъ неловко, что чуть не свалился и погрозилъ кулакомъ въ слѣдъ удаляющемуся красному огню.

Дѣвушку Митрофанъ Васильевичъ настигъ въ ма-

ленькомъ глухомъ переулкѣ, куда онъ завернулъ по догадкѣ. Она быстро шла и оглядывалась, и когда увидѣла преслѣдователя, почти побѣжала, наивно открывая полную свою безпомощность. Побѣжалъ за ней и Митрофанъ Васильевичъ, и теперь въ темномъ незнакомомъ переулкѣ, гдѣ были они только двое, бѣгущіе, онъ почувствовалъ себя совсѣмъ необычно, какъ-то уже слишкомъ по-шпіонски, даже страшно немного стало. „Нужно поскорѣе кончить"—подумалъ онъ, быстро перебирая ногами и задыхаясь отъ этой неестественной рыси, но не рѣшаясь почему-то на крупный шагъ.

У подъѣзда многоэтажнаго дома курсистка остановилась, и пока дергала за ручку тяжелой двери, Митрофанъ Васильевичъ нагналъ ее и съ великодушной улыбкой заглянулъ въ лицо, чтобъ показать ей, что шутка кончилась, и все благополучно. И тяжело дыша, еле продираясь въ полуотворенную дверь, она бросила въ улыбающееся лицо:

— Подлецъ!

И скрылась. Сквозь стекло на площадкѣ мелькнулъ еще ея силуэтъ—и все исчезло. Все еще великодушно улыбаясь, Митрофанъ Васильевичъ съ любопытствомъ потрогалъ холодную ручку, попробовалъ пріотворить, но въ глубинѣ подъѣзда, подъ лѣстницей, блеснулъ галунъ швейцара, и онъ медленно отошелъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ остановился и минуты двѣ безъ мыслей пожималъ плечами. Съ достоинствомъ поправилъ очки, закинулъ голову назадъ и подумалъ:

— Какъ это глупо! Не дала слова сказать, и сейчасъ же ругаться. Дѣвчонка, дрянь. Не могла понять, что это шутка. Для нея же стараешься, и... Очень она мнѣ нужна со своими бумажонками. Сдѣлайте милость, ломайте шею, сколько хотите. Теперь сидитъ, небось, и

разнымъ тамъ студентамъ и лохматымъ разсказываетъ, какъ за ней шпіонъ гнался. А они охаютъ. Идіоты! Я самъ университетъ окончилъ и тоже не хуже васъ. Да. Не хуже.

Послѣ быстрой ходьбы ему стало жарко, и онъ распахнулся. Но вспомнилъ, что можетъ простудиться и застегнулся, съ ненавистью дернувъ надорванную пуговицу.

— У, дьяволъ!.. Да, не хуже - съ. А можетъ быть лучше. Поди-ка повози на шеѣ восемь душъ, да еще глухую бабку, чорта—кочерыжку. Конечно, такъ оставить нельзя, нужно объяснить ей, что я окончилъ университетъ и тоже—противъ всего этого. Да гдѣ ее взять? Не до свѣту же тутъ шататься? Слуга покорный. Я еще не обѣдалъ.

Онъ потоптался на мѣстѣ, безнадежно окинулъ глазами ряды освѣщенныхъ и темныхъ оконъ и продолжалъ:

— А лохматые, небось, и рады, и вѣрятъ. Дурачье. Я вѣдь тоже студентомъ лохматымъ былъ—вотъ какія волосища носилъ. Я и теперь стричься бы не сталъ, если бы не лѣзли волосы. Лѣзутъ, удивительно лѣзутъ, скоро лысый буду. Не могу же я, сами посудите, вытягивать волосы, когда ихъ нѣтъ. Ex nihilo nihil fieri potest. Не парикъ же мнѣ носить, какъ... шпіону.

Онъ закурилъ папироску и чувствовалъ, что это уже лишняя папироса: такъ горекъ и непріятенъ былъ ея дымъ.

— Войти и сказать: господа, это была шутка, просто шутка. Да нѣтъ, не повѣрятъ. Господи! Еще набьютъ.

Митрофанъ Васильевичъ быстро отошелъ шаговъ на двадцать и остановился. Дѣлалось холодно. Пожимаясь въ негрѣющемъ пальто, онъ почувствовалъ въ

боковомъ карманѣ газету—и стало такъ горько, такъ обидно, что захотѣлось плакать. Отъ чего онъ отказался? Пришелъ бы домой, пообѣдалъ бы, чайку бы выпилъ, потомъ легъ бы на диванъ и почиталъ газетку—на душѣ такъ мирно, безоблачно; тетрадки поправлены, завтра, въ субботу у инспектора винтъ. А тамъ въ своей комнаткѣ сидитъ глухая бабушка и чулки вяжетъ—милая старушка, добрая, внимательная, ему двѣ пары носковъ связала. И лампадка, небось, у нея горитъ—я еще за масло ругался.—А тутъ? Какой-то переулокъ. Какой-то домъ. Какіе-то лохматые студенты... Господи, этого еще не доставало!

Изъ освѣщеннаго подъѣзда, громко хлопнувъ дверью, вышли два студента и рѣшительно отправились въ сторону Митрофана Васильевича. Дальше — туманъ, обрывки улицъ, фонари, какія-то темныя фигуры, настойчиво загораживающія путь, длинный обозъ, морда лошади надъ самымъ ухомъ и одно повелительное невыносимое чувство страха. Опамятовался онъ гдѣ-то на бульварѣ и долго не могъ узнать мѣстности. Было пустынно и тихо. Накрапывалъ дождь. Студентовъ не было.

Онъ выкурилъ двѣ папиросы, одна за другой, и руки его, когда онъ зажигалъ спичку, дрожали.

— До чего добѣгался? Недостаетъ только воспаленіе легкихъ схватить, а потомъ чахотку. Слава Богу, что не догнали. А славно, кажется, гнались. Кто-то все время кричалъ: „стой». И какъ страшно было, Господи!

На бульваръ, шлепая калошами, вошли три студента. Митрофанъ Васильевичъ выкатилъ на нихъ помутившіеся отъ страху глаза и, не отдавая себѣ отчета, сорвался со своего мѣста и куда-то зашагалъ. И только пройдя весь бульваръ и зарывшись въ тем-

ноту кривого и горбатаго переулка, сообразилъ, что тѣхъ студентовъ было двое, что нельзя же бѣгать отъ всѣхъ студентовъ, какіе встрѣчаются на улицѣ. Покружилъ по незнакомымъ переулкамъ, снова вышелъ на бульваръ и долго разыскивалъ скамью, на которой сидѣлъ. Нужно было почему-то сѣсть именно на эту скамью. Тутъ, онъ думалъ, что-то очень утѣшительное.

— Нужно успокоиться и смотрѣть на дѣло трезво,— думалъ онъ. Дѣло вовсе не такъ плохо. Чортъ съ ней, съ дѣвчонкой! Думаетъ, что шпіонъ, ну и пусть думаетъ. Знать-то она меня не знаетъ. Да и тѣ двое меня не видѣли. Воротникъ-то я — не дуракъ—поднялъ!

— Онъ было засмѣялся отъ радости и даже ротъ раскрылъ — и замеръ отъ ужасной мысли.

— Господи! А она-то видѣла! Вѣдь я нарочно цѣлый часъ свою рожу демонстрировалъ. Встрѣтитъ теперь гдѣ-нибудь...

И Митрофану Васильевичу представился цѣлый рядъ ужасныхъ возможностей: онъ человѣкъ интеллигентный, любитъ науки и искусство, бываетъ въ театрѣ, на всякихъ собраніяхъ и лекціяхъ, три раза былъ въ университетѣ на защитѣ магистерской диссертаціи—и вездѣ онъ можетъ встрѣтиться съ дѣвушкой?— Она, навѣрное, никогда не бываетъ одна, такія дѣвушки никогда не бываютъ однѣ, а всегда съ цѣлой компаніей такихъ-же курсистокъ и дерзкихъ студентовъ—и что можетъ произойти, когда она покажетъ на него пальцемъ: вотъ шпіонъ!—подумать страшно.

— Необходимо снять очки и обриться—думаетъ Митрофанъ Васильевичъ.—Чортъ съ ними, съ глазами, да можетъ быть, докторъ еще вретъ. Но развѣ что-нибудь измѣнится, если снять такую бороду? Развѣ это борода?

Онъ почесалъ пальцами рѣденькую бородку и вездѣ ощупалъ тѣло.

— Даже борода, какъ у людей, не растетъ!—подумалъ онъ съ отвращеніемъ и тоской.—Но все это вздоръ. И то, что она можетъ узнать, тоже вздоръ. Нужно доказать. Нужно спокойно и логично доказать, какъ доказываютъ теоремы.

Ему представлялось собраніе лохматыхъ, и онъ передъ ними твердо и спокойно доказываетъ. Буквы ясны и круглы, одно выраженіе идетъ за другимъ, вездѣ спокойные торжествующіе знаки равенства. „Такимъ образомъ, вы видите... что“...

Митрофанъ Васильевичъ съ достоинствомъ, строгимъ жестомъ поправляетъ очки и презрительно усмѣхается. Потомъ начинаетъ доказывать—и убѣждается съ холоднымъ ужасомъ, что всѣ эти буквы и логика, и равенства — одно, а жизнь его — другое, и въ этой жизни нѣтъ логики, нѣтъ равенства, нѣтъ никакихъ доказательствъ, что онъ Митрофанъ Васильевичъ Крыловъ,—не шпіонъ. Пусть кто-нибудь, та же дѣвушка обвинитъ его въ шпіонствѣ—найдется въ его жизни что-нибудь опредѣленное, яркое, убѣдительное, что могъ бы онъ противупоставить этому гнусному обвиненію? Вотъ смотритъ она наивно безстрашными глазами, говоритъ „шпіонъ“—и отъ этого прямого взгляда, отъ этого жестокаго слова таютъ, какъ отъ огня, лживые призраки убѣжденій, порядочности. Пустота. Митрофанъ Васильевичъ молчитъ, но душа его полна крикомъ отчаянія и ужаса. Что это значитъ? Куда ушло все? На что опереться, чтобы не упасть въ эту черную и страшную пропасть?

— Мои убѣжденія—бормочетъ онъ. Мои убѣжденія. Всѣ знаютъ. Мои убѣжденія. Вотъ, напримѣръ...

Онъ ищетъ. Онъ ловитъ въ памяти обрывки разго-

воровъ, ищетъ чего-нибудь яркаго, сильнаго, доказательнаго—и не находитъ ничего. Попадаются нелѣпыя фразы; „Я убѣжденъ, Ивановъ, что вы списали задачу Сироткина“. Но развѣ это убѣжденія? Пробѣгаютъ отрывки газетныхъ статей, чьи-то рѣчи, какъ будто и убѣдительныя,—но гдѣ то, что говорилъ онъ самъ, что думалъ онъ самъ? Нѣту. Говорилъ, какъ всѣ, думалъ, какъ всѣ; и найти его собственныя слова, его собственныя мысли такъ же невозможно, какъ въ кучѣ зеренъ найти такое же ничѣмъ не отмѣченное зерно. Съ другими счастливыми людьми случается, что они или нечаянно, не подумавши, или спьяну скажутъ что-нибудь такое рѣзкое, что надолго останется въ памяти у другихъ; какъ-то нѣсколько лѣтъ тому назадъ ихній учитель чистописанія, скромный старичокъ, на обѣдѣ у директора послѣ акта, напился пьянъ и закричалъ: „Требую реформы средней школы!“ И произвелъ скандалъ. И до сихъ поръ всѣ помнятъ этотъ случай и при встрѣчѣ обязательно спрашиваютъ у старичка: „Ну, какъ насчетъ реформы?“—и искренно считаютъ его скрытымъ радикаломъ. А онъ?—когда выпьетъ, тотчасъ же засыпаетъ или плачетъ и лѣзетъ цѣловаться; разъ даже съ швейцаромъ поцѣловался; заговариваться не заговаривается и никогда ничего не требуетъ. Другой человѣкъ бываетъ религіозный, или не религіозный, а онъ...

— Постой, а есть Богъ или нѣтъ? Не знаю, ничего не знаю. А я кто—учитель? Да и существую ли я?

Руки и ноги У Митрофана Васильевича холодѣютъ. И на этотъ счетъ, существуетъ онъ или не существуетъ, у него нѣтъ твердыхъ убѣжденій. Сидитъ кто-то на бульварѣ и куритъ папиросу. Какія-то деревья, мокрыя, скользкія. Какой-то дождь. Какой-то фонарь мигаетъ, и по стеклу бѣгутъ капли. Пусто, непонятно, страшно.

Митрофанъ Васильевичъ вскакиваетъ и идетъ.

— Вздоръ, вздоръ! Нервы просто развинтились. Да и что такое убѣжденія? Одно слово. Вычиталъ слово, вотъ тебѣ и убѣжденія. Катодъ, логарифмъ! Поступки, вотъ главное. Хорошъ шпіонъ. который...

Но и поступковъ нѣту. Есть дѣйствія—служебныя, семейныя и безразличныя, а поступковъ нѣту. Кто-то неутомимо и настойчиво требуетъ: скажите, что вы сдѣлали?—И онъ ищетъ съ отчаяніемъ, съ тоской Какъ по клавишамъ, пробѣгаетъ по всѣмъ прожитымъ годамъ, и каждый годъ издаетъ одинъ и тотъ же пустой и деревянный звукъ—б-я-а... Ни содержанія, ни смысла. „Я убѣжденъ, Ивановъ, что вы списали задачу у Сироткина". Не то, не то.

Послушайте, послушайте же, сударыня...—бормочетъ Митрофанъ Васильевичъ, опустивъ голову и умѣренно и прилично жестикулируя.— Какъ глупо, извините, думать, что я шпіонъ. Я—шпіонъ! Какой вздоръ. Позвольте, я докажу. Итакъ, мы видимъ...

Пустота. Куда же дѣвалось все? Онъ знаетъ, что онъ дѣлалъ что-то,—но что? Всѣ домашніе и знакомые считаютъ его умнымъ, добрымъ и справедливымъ человѣкомъ—вѣдь, есть же у нихъ основанія! Ахъ, да, бабушкѣ ситцу на платье купилъ, и жена еще сказала: „Слишкомъ ужъ ты добръ, Митрофанъ Васильевичъ." Но, вѣдь, и шпіонамъ, свойственна любовь къ бабушкамъ, и они покупаютъ бабушкамъ ситцу — навѣрное такого же чернаго съ крапинками, дрянного ситцу. А еще что? Въ баню ходилъ, мозоли срѣзывали. Нѣтъ, не то. Карпову вмѣсто двойки тройку поставилъ. „Я убѣжденъ, Ивановъ, что вы списали задачу..." Вздоръ, вздоръ!

Безсознательно Митрофанъ Васильевичъ продѣлываетъ обратный путь отъ бульвара къ дому, гдѣ скры-

лась курсистка, но не замѣчаетъ этого. Чувствуетъ только, что поздно, что онъ усталъ, и ему хочется плакать, какъ Иванову, уличенному въ списываніи.

Митрофанъ Васильевичъ останавливается передъ многоэтажнымъ домомъ и съ непріятнымъ недоумѣніемъ смотритъ на него.

— Какой непріятный домъ? Ахъ, да. Тотъ самый.

Онъ быстро отходитъ отъ дома, какъ отъ начиненной бомбы, останавливается и что-то соображаетъ.

— Лучше всего написать. Спокойно обдумать и написать. Имени, конечно, называть не буду. Просто: „Нѣкій человѣкъ, котораго вы, сударыня, приняли за шпіона...“ По пунктамъ. Такъ и такъ, такъ и такъ. Дура будетъ, если не повѣритъ, да.

Потоптавшись у подъѣзда, потрогавъ нѣсколько разъ холодную ручку, Митрофанъ Васильевичъ съ усиліемъ въ два пріема открылъ тяжелую дверь и съ рѣшительнымъ суровымъ видомъ вошелъ. Подъ лѣстницей, изъ дверей каморки показался швейцаръ, и лицо его выражало услужливость.

— Послушайте, дружище, тутъ недавно дѣвушка курсистка... въ какой номеръ она прошла?

— А вамъ на что?

Митрофанъ Васильевичъ молча стрѣльнулъ очками, и швейцаръ понялъ: какъ-то особенно мотнулъ головой и протянулъ руку для пожатія.

„Хамъ!“—съ ненавистью подумалъ Митрофанъ Васильевичъ и крѣпко пожалъ руку, прямую и твердую, какъ доска.

— Пойдемъ ко мнѣ,—позвалъ швейцаръ.

— Зачѣмъ же... Мнѣ только... но швейцаръ уже повернулъ къ своей каморкѣ, и Митрофанъ Васильевичъ, поскрипывая зубами, покорно послѣдовалъ за нимъ.„ Повѣрилъ! сразу повѣрилъ!—мерзавецъ!“

Въ каморкѣ было тѣсно, стоялъ одинъ стулъ, и швейцаръ спокойно занялъ его.

„Хамъ! хамъ! даже сѣсть не предлагаетъ“—съ тоской думалъ Митрофанъ Васильевичъ,— хотя въ обычномъ состояніи сидѣть не только въ чужой швейцарской, но и въ собственной кухнѣ считалъ ниже своего достоинства.

„Хамъ“,—новторилъ онъ и добродушно спросилъ:

— Холостой?

Но швейцаръ не счелъ нужнымъ отвѣтить. Окинувъ учителя съ ногъ до головы равнодушно-нахальнымъ взглядомъ, равнодушно помолчалъ и спросилъ:

— Тутъ тоже третьяго дня одинъ изъ вашихъ былъ. Блондинчикъ съ усами. Знаете?

— Какъ же, знаю. Этакій... блондинъ.

— А много, должно быть, вашего брата шатается, равнодушно замѣтилъ швейцаръ.

— Послушайте, — возмутился Митрофанъ Васильевичъ.—Я вовсе не желаю. Мнѣ нужно...

Но швейцаръ не обратилъ вниманія и продолжалъ:

— А жалованья вамъ много идетъ? Блондинчикъ сказалъ пятьдесятъ. Маловато.

— Двѣсти,—совралъ Митрофанъ Васильевичъ и съ злорадствомъ увидѣлъ на лицѣ швейцара выраженіе восторга.

— То-то, голубчикъ,—подумалъ онъ.

— Ну? Двѣсти. Это я понимаю. Папироску не желаете?

Митрофанъ Васильевичъ съ благодарностью принялъ изъ пальцевъ швейцара папиросу и съ тоской вспомнилъ о своемъ японскомъ ящичкѣ съ папиросами, о кабинетѣ, о синихъ милыхъ тетрадкахъ. Тошнило. Табакъ былъ ѣдкій, вонючій, шпіонскій. Тошнило.

— А бьютъ васъ часто?

Послушайте...

— Блондинчикъ сказывалъ, что его ни разу не били. Да, поди, вретъ. Какъ можно, чтобы не били. Но ежели рѣдко и съ осторожностью, чтобы безъ членовредительства, такъ оно ничего. Деньги не малыя. Вѣрно, ваше благородіе? Швейцаръ дружески улыбнулся.

— Мнѣ нужно...

— Способности только надо имѣть и чтобы лицо подходящее. Безъ примѣтъ. А то видѣлъ я одного, вся рожа на сторонѣ и глаза нѣту. Развѣ такой годится, сами посудите! Всю рожу такъ и свернуло, какъ отъ вѣтру, и глаза нѣтъ, одна дырка. Вотъ у васъ...

— Да послушайте!—тихо закричалъ Митрофанъ Васильевичъ.—Мнѣ некогда. Мнѣ еще нужно!

Неохотно оставляя интересную тему, швейцаръ подробнѣе разспросилъ, какова на видъ дѣвушка, и сказалъ:

— Знаю. Часто ходитъ. № 7, Иванова. Зачѣмъ папиросу на полъ бросаешь? Вонъ печка. Мети тутъ за вами.

И послѣднее, что доносилось до слуха учителя, было:

— Шентрапа, понимаешь?

— Хамъ!—мысленно отвѣтилъ Митрофанъ Васильевичъ и быстро зашагалъ по переулку, отыскивая глазами извозчика. — Домой, скорѣе домой! Господи, какъ онъ раньше объ этомъ не вспомнилъ,—что значитъ растерянность. Вѣдь, у него есть дневникъ, а въ дневникѣ давно когда-то, еще студентомъ перваго курса, онъ записалъ что-то очень либеральное, очень смѣлое и свободное и даже красивое. Онъ живо помнитъ и вечеръ тотъ, и свою комнатку, и разсыпанный

табакъ на столѣ, и то чувство гордости, упоенія, восторга, съ какимъ набрасывалъ онъ энергичныя, твердыя строки. Вырвать странички и послать — и все тутъ. Она увидитъ, она пойметъ, она умная и благородная дѣвушка. Какъ хорошо! Какъ хочется ѣсть.

Въ передней Митрофана Васильевича встрѣтила обезпокоенная жена:

Гдѣ ты былъ? Что съ тобой? Отчего ты такой?

И поспѣшно сбрасывая пальто на ходу, онъ кричалъ:

— Съ вами и не такой будешь! Полонъ домъ народу, а пуговицу пришить некому. Чортъ васъ знаетъ, что вы тутъ дѣлаете! Сто разъ говорилъ: пришить. Безобразіе, распущенность!

И зашагалъ въ кабинетъ.

— А обѣдать?

— Потомъ. Не лѣзь! Не ходи за мной.

Было много книгъ, много тетрадей, но дневникъ не попадался. Попалась связка ученическихъ тетрадей за первый годъ его учительства, сохраненная, какъ воспоминаніе,—къ чорту. Сидя на полу, онъ выкидывалъ изъ нижняго отдѣленія шкапа бумаги, книги, тетради, отчаявался и вздыхалъ, сердился на застывшіе тугіе пальцы—и наконецъ! Вотъ онъ голубенькій, немного засаленный переплетъ, еще не установившійся старательный почеркъ, засохшіе цвѣты, старый кисловатый запахъ духовъ—какъ онъ былъ молодъ!

Митрофанъ Васильевичъ сѣлъ къ столу и долго перелистывалъ дневникъ, но желаемое мѣсто не находилось. По серединѣ между страницами былъ перерывъ, и торчали коротенькіе тщательные обрѣзки. И онъ вспомнилъ: пять лѣтъ тому назадъ, когда у Антона Антоныча былъ обыскъ, онъ очень испугался, вырѣзалъ изъ дневника всѣ компрометирующія его

страницы и сжегъ. Нечего искать—ихъ нѣтъ — онѣ сгорѣли.

Понуривъ голову, закрывъ лицо руками, онъ долго, безъ движенія, сидѣлъ надъ опустошеннымъ дневникомъ. Горѣла одна только свѣча — лампы онъ не успѣлъ зажечь—въ комнатѣ было непривычно темно, и отъ черныхъ безформенныхъ креселъ вѣяло холодомъ, заброшенностью, скукой. Далеко, въ тѣхъ комнатахъ, играли дѣти, кричали и смѣялись; въ столовой звенѣли чайной посудой, ходили, разговаривали— а тутъ было безмолвно, какъ на кладбищѣ. Если бы заглянулъ сюда художникъ, почувствовалъ бы эту холодную, угрюмую темноту, увидѣлъ бы на полу груду разбросанныхъ бумагъ и книгъ, темную фигуру человѣка съ закрытымъ лицомъ въ безнадежной тоскѣ склонившагося надъ столомъ,—онъ написалъ бы картину и назвалъ бы ее: „Самоубійца“.

— Но вѣдь, можно вспомнить,—съ мольбой думаетъ Митрофанъ Васильевичъ. — Можно вспомнить. Пусть сгорѣла бумага, но, вѣдь, то, что было, оно осталось гдѣ-то. Оно есть, оно существуетъ, нужно только вспомнить.

И онъ вспоминаетъ все ненужное: и форматъ страницы, и почеркъ, и даже запятыя и точки, но то нужное и дорогое, то любимое, свѣтлое, оправдывающее,— оно погибло навсегда. Оно жило и умерло, какъ умираютъ люди, какъ умираетъ все. Безслѣдно исчезло оно въ огромной пустотѣ, и никто не знаетъ о немъ, никто о немъ не помнитъ, и ни въ чьей душѣ не осталось отъ него слѣда. Если бы онъ сталъ на колѣни, плакалъ, умолялъ вернуть его къ жизни, грозилъ, скрежеталъ зубами — огромная, безначальная пустота осталась бы безгласной, ибо никогда не отдастъ она того, что разъ попало въ ея руки. Развѣ

когда-нибудь слезы и рыданія могли вернуть къ жизни умершаго, убитаго? Нѣтъ прощенія, нѣтъ пощады, нѣтъ возврата — таковъ законъ жестокой смерти.

Оно умерло, оно убито. Подлый убійца! Самъ своими руками сжегъ лучшіе цвѣты, что, быть можетъ, разъ въ жизни въ тихую святую ночь распустились въ безплодной, нищенской душѣ. Къ кому пойти, если самъ себѣ не другъ? Бѣдные погибшіе цвѣты! Быть можетъ, не ярки были они, и не было въ нихъ силы и красоты творческой мысли, но они были лучшимъ, что родила душа, и теперь ихъ нѣтъ и никогда не зацвѣтутъ они снова. Нѣтъ прощенія, нѣтъ пощады, нѣтъ возврата—таковъ законъ жестокой смерти.

— Что же это? Позвольте,—шепчетъ безсмысленно Митрофанъ Васильевичъ.—Я убѣдился, что вы, Ивановъ, списали... Нѣтъ. Вздоръ. Нужно жену. Маша! Маша!

Пришла Марія Ивановна. Лицо у нея круглое, доброе, не завитые, по-домашнему, волосы кажутся жидкими и безцвѣтными. Въ рукахъ у нея работа—дѣтское платьице.

— Что, Митроша, обѣдать сказать? Перестоялось все.

— Нѣтъ, погоди. Мнѣ нужно поговорить.

Марія Ивановна обезпокоенно откладываетъ работу и заглядываетъ мужу въ лицо. Тотъ отворачивается и говоритъ:

— Сядь.

Марія Ивановна сѣла, оправила платье, сложила руки на колѣняхъ и приготовилась слушать. И какъ всегда бывало въ этихъ случаяхъ, еще со школьной скамьи, лицо ея сразу приняло выраженіе безтолковости и готовности все перепутать.

Я слушаю — сказала она и еще разъ оправила платье.

Но Митрофанъ Васильевичъ молчалъ, и изумленно вглядывался въ лицо жены. Чужое оно было и незнакомое, какъ лицо новаго ученика, поступившаго въ классъ; и странно было думать, что эта женщина—его жена, какая-то Марья Ивановна, Маша. И новая мысль ворвалась въ его взбудораженный мозгъ, и шопотомъ, дрогнувшимъ голосомъ онъ сказалъ:

— Ты знаешь, Маша. Я—шпіонъ.

— Что?

— Шпіонъ, понимаешь, да.

Марія Ивановна вся какъ-то осѣдаетъ, какъ проколотое тѣсто и, всплеснувъ тихо руками, произноситъ:

— Такъ я и знала, несчастная, Господи Ты Боже мой!

Подскочивъ къ женѣ, Митрофанъ Васильевичъ машетъ кулакомъ у самаго ея лица, съ трудомъ удерживается отъ желанія ударить и кричитъ такъ громко, что въ столовой перестаетъ звенѣть посуда, и во всемъ домѣ становится тихо...

— Дура. Дурища! Такъ и знала. Господи! Да какъ же ты могла знать? Двѣнадцать лѣтъ! Двѣнадцать лѣтъ! Господи! Жена—другъ, всѣ мысли—деньги, все...

Становится къ печкѣ и плачетъ. Марія Ивановна еще не сообразила, отчего онъ плачетъ: оттого ли, что онъ шпіонъ, или оттого, что не шпіонъ, но ей жалко мужа и обидно за ругань, она плачетъ сама и говоритъ:

— Ну вотъ. Сейчасъ же и ругаться. Всегда я виновата. Толкомъ ничего не скажетъ, а я виновата. Если дура, такъ зачѣмъ женился на дурѣ, бралъ бы умную.

Не оборачиваясь, прильнувъ лбомъ къ холодной

кафлѣ, Митрофанъ Васильевичъ шепчетъ, захлебываясь:

— Такъ и знала! Господи! Двѣнадцать лѣтъ. Уже если и жена, и та, такъ, значитъ, и вправду шпіонъ. Такъ и знала! Дура, дурища.

— Да что ты въ самомъ дѣлѣ, я только и слышу: дура, дура,—разсердилась Марія Ивоновна.—Сами выкидываютъ, а тутъ за нихъ отвѣчай.

Митрофанъ Васильевичъ яростно обернулся:

— Что выкидываютъ? Что же, я—шпіонъ? Ну! Говори, шпіонъ я или нѣтъ?

— А я почемъ знаю? Можетъ и шпіонъ.

Горя ненавистью и гнѣвомъ, оба обиженные, оба несчастные, они долго и безсмысленно бранились, въ чемъ-то другъ друга упрекали, плакали, призывали Бога, пока не охватила обоихъ глупая тяжелая усталость и равнодушіе. И тогда съ полнымъ спокойствіемъ, совершенно забывъ только что разыгравшуюся ссору, они сѣли рядомъ и заговорили, и снова зазвенѣла въ столовой чайная посуда, и снова забѣгали и зашумѣли дѣти. Конфузясь и избѣгая нѣкоторыхъ подробностей, Митрофанъ Васильевичъ передалъ женѣ исторію съ курсисткой и свои опасенія насчетъ случайной встрѣчи.

— Эка!—беззаботно воскликнула Марія Ивановна.—А я думала, что. Стоитъ безпокоиться. Обрился, снялъ очки, вотъ тебѣ и все. А въ гимназіи на урокѣ можно и очки надѣвать.

— Ты думаешь? Да развѣ это борода?

— Ну ужъ это ты оставь. Говори, что хочешь, а бороду оставь. Всегда говорила, что хорошая, и сейчасъ скажу.

Митрофанъ Васильевичъ вспомнилъ, что гимназисты зовутъ его „козломъ“, и совсѣмъ развеселился.

Если бы не было хорошей бороды, не звали бы „козломъ“, это вѣрно. И въ радости крѣпко поцѣловалъ жену и даже, шутя, пощекоталъ за ухомъ бородой.

Часовъ въ двѣнадцать, когда весь домъ угомонился, и жена легла спать, Митрофанъ Васильевичъ принесъ въ кабинетъ зеркало, теплой воды и мыльницу, и сѣлъ бриться. Пришлось кромѣ лампы зажечь двѣ свѣчи, и было немного стыдно, и отъ яркаго свѣта безпокойно, но онъ смотрѣлъ только на ту часть лица, которой касалась бритва, и полбороды снялъ благополучно. Но потомъ нечаянно взглянулъ себѣ въ глаза и остановился. И прежде было тихо, а теперь наступила такая глухая и мертвая тишина, какъ будто раньше вся комната полна была крику и разговоровъ. Когда ночью человѣкъ одинъ остается передъ зеркаломъ, ему всегда бываетъ немножко жутко и странно отъ мысли, что онъ видитъ себя. И Митрофану Васильевичу стало жутко и съ суровымъ любопытствомъ, какъ посторонній, онъ подумалъ: „такъ вотъ ты какой!“

Дряблое лицо уже пожилого человѣка съ морщинами, слѣдами сошедшихъ угрей и бѣлой сухой кожей. На переносьѣ красная полоска отъ очковъ, безцвѣтные моргающіе глаза; одна щека обрита и блеститъ лоснящейся кожей, другая покрыта мыльной пѣной — такъ, вѣроятно, и шпіоны совершаютъ свой туалетъ, когда идутъ на работу. Что-то безнадежно плоское, сѣрое, застывшее—не лицо живого человѣка, а маска снятая съ покойника. Ни шпіонъ, ни тотъ, кого шпіоны преслѣдуютъ.

— Такъ вотъ ты какой!—бормочетъ Митрофанъ Васильевичъ, и то лицо, въ зеркалѣ, странно шевелитъ губами и принимаетъ выраженіе кислоты, растерянности и трусливой злобы. Кто далъ ему это лицо? Кто смѣлъ дать такое лицо?

По щекѣ, бороздя мыльную пѣну, скатывается слеза. Стиснувъ зубы, Митрофанъ Васильевичъ бреетъ щеку, потомъ задумывается, намыливаетъ усы —и снимаетъ ихъ. И снова глядитъ. Завтра надъ этимъ лицомъ будутъ смѣяться. А когда-то, давно, другимъ оно было.

Рѣшительно сжавъ бритву, Митрофанъ Васильевичъ запрокидываетъ голову—и осторожно, тупой стороной бритвы два раза проводитъ по шеѣ. Хорошо бы убить себя—да развѣ онъ можетъ?

— Трусъ, подлецъ!—говоритъ онъ громко и равнодушно. Но лицо въ зеркалѣ шевелитъ губами и остается плоскимъ и сѣрымъ. Да, его можно ударить, можно наплевать въ него, а оно останется все такоеже, и только глаза заморгаютъ чаще. Завтра надъ нимъ будутъ смѣяться—товарищи, ученики. И жена—она тоже будетъ смѣяться.

Ему хочется притти въ отчаяніе, заплакать, ударить зеркало, что-нибудь сдѣлать — но на душѣ пусто и мертво, и хочется спать. „Должно быть, оттого, что долго на воздухѣ былъ“,—думаетъ онъ и зѣваетъ. И тотъ, въ зеркалѣ, тоже зѣваетъ.

Убираетъ бритвенный приборъ, тушитъ лампу и свѣчи и, шаркая туфлями, идетъ въ спальню. И скоро засыпаетъ, уткнувшись въ подушку бритымъ лицомъ, надъ которымъ завтра будутъ смѣяться всѣ: товарищи, жена—и онъ самъ.

ХРИСТІАНЕ.

(1905)

За окнами падалъ мокрый, ноябрьскій снѣгъ; а въ зданіи суда было тёпло, оживленно и весело для тѣхъ, кто привыкъ ежедневно, по службѣ, посѣщать этотъ большой домъ, встрѣчать знакомыя лица, раскрывать всё ту же чернильницу и макать въ нее все тоже перо. Передъ глазами, какъ въ тёатрѣ, разыгрывались драмы— онѣ такъ и назывались „судебныя драмы“,— и пріятно видѣть было и публику и слушать живой шумъ въ корридорахъ и играть самому. Весело было въ буфетѣ; тамъ уже зажгли электричество, и много вкусныхъ закусокъ стояло на стойкѣ. Пили, разговаривали, ѣли. Если встрѣчались пасмурныя лица, то и это было хорошо: такъ нужно въ жизни и особенно тамъ, гдѣ изо дня въ день разыгрываются „судебныя драмы“. Вонъ въ той комнатѣ застрѣлился какъ-то подсудимый; вотъ солдатъ съ ружьемъ; гдѣ-то бренчатъ кандалы. Весело, тёпло, уютно.

Во второмъ уголовномъ отдѣленіи много публики,— слушается большое дѣло. Всѣ уже на своихъ мѣстахъ, присяжные засѣдатели, защитники, судьи; репортеръ, пока одинъ, приготовилъ бумагу, узенькіе листики, и всѣмъ любуется. Предсѣдатель, обрюзгшій, толстый человѣкъ, съ сѣдыми усами, быстро, привычнымъ голосомъ перекликаетъ свидѣтелей:

— Ефимовъ! Какъ ваше имя, отчество?

— Ефимъ Петровичъ Ефимовъ.

— Согласны принять присягу?

— Согласенъ.

— Отойдите къ сторонкѣ. Карасевъ!

— Андрей Егорычъ... Согласенъ.

— Отойдите къ... Блументалы!..

Довольно большая кучка свидѣтелей, человѣкъ въ двадцать, быстро перемѣщается слѣва направо. На вопросъ предсѣдателя одни отвѣчаютъ громко и скоро, съ готовностью, и сами догадливо отходятъ къ сторонѣ; другихъ вопросъ застаетъ врасплохъ, они недоумѣло молчатъ и оглядываются, не зная, къ нимъ относится названная фамилія или тутъ есть другой человѣкъ съ такой же фамиліей. Свидѣтели положительные ожидали вопроса полностью и отвѣчали полно, не торопясь, обдуманно; къ сторонѣ они отходили лишь послѣ приказанія предсѣдателя и съ другими не смѣшивались.

Подсудимый, молодой человѣкъ въ высокомъ воротничкѣ, обвинявшійся въ растратѣ и мошенничествѣ, торопливо крутилъ усики и глядѣлъ внизъ, что-то соображая; при нѣкоторыхъ фамиліяхъ онъ оборачивался, брезгливо оглядывалъ вызваннаго и снова съ удвоенной торопливостью крутилъ усы и соображалъ. Защитникъ, тоже еще молодой человѣкъ, зѣвалъ въ руку и гибко потягивался, съ удовольствіемъ глядя въ окно, за которымъ вяло опускались большіе, мокрые хлопья. Онъ хорошо выспался сегодня и только что позавтракалъ въ буфетѣ: горячую ветчину съ горошкомъ.

Оставалось только человѣкъ шесть не вызванныхъ, когда предсѣдатель съ разбѣга наткнулся на неожиданность:

— Согласны принять присягу? Отойдите...

— Нѣтъ.

Какъ человѣкъ, въ темнотѣ набѣжавшій на дерево и сильно ударившійся лбомъ, предсѣдатель на мигъ

потерялъ нить своихъ вопросовъ и остановился. Въ кучкѣ свидѣтелей онъ попытался найти отвѣтившую такъ опредѣленно и рѣзко—голосъ былъ женскій,—но всѣ женщины казались одинаковы и одинаково почтительно и готовно глядѣли на него. Посмотрѣлъ въ списокъ.

— Пелагея Васильева Караулова! вы согласны принять присягу? повторилъ онъ вопросъ и выжидательно уставился на женщинъ.

— Нѣтъ.

Теперь онъ видитъ ее. Женщина среднихъ лѣтъ, довольно красивая, чёрноволосая, стоитъ сзади другихъ. Несмотря на шляпку и модное платье съ грушеобразными рукавами и большимъ, нелѣпымъ напускомъ на груди, она не кажется ни богатой, ни образованной. Въ ушахъ у нея цыганскія серьги большими дутыми кольцами; въ рукахъ, сложенныхъ на животѣ, она держитъ небольшую сумочку. Отвѣчая, она двигаетъ только ртомъ; все лицо и кольца въ ушахъ и руки съ сумочкой остаются неподвижны.

— Да вы православная?

— Православная.

— Отчего же вы не хотите присягать?

Свидѣтельница смотритъ ему въ глаза и молчитъ. Стоявшіе впереди ея разступились, и теперь вся она на виду со своей сумочкой и тонкими желтоватыми руками.

— Быть можетъ, вы принадлежите къ какой-нибудь сектѣ, не признающей присяги? Да вы не бойтесь, говорите,—вамъ ничего за это не будетъ. Судъ приметъ во вниманіе ваши объясненія.

— Нѣтъ.

— Не сектантка?

— Нѣтъ.

— Такъ вотъ что, свидѣтельница: вы, можетъ,

опасаетесь, что въ показаніяхъ вашихъ можетъ встрѣтиться что-либо непріятное... неудобное для васъ, лично,—понимаете? Такъ на такіе вопросы, по закону вы имѣете право не отвѣчать,—понимаете? Теперь согласны?

— Нѣтъ.

Голосъ молодой, моложе лица, и звучитъ опредѣленно и ясно; вѣроятно, онъ хорошъ въ пѣніи. Пожавъ плечами предсѣдатель взглядомъ призываетъ ближе къ себѣ члена суда съ лѣвой стороны и шепчется съ нимъ. Тотъ отвѣчаетъ также шопотомъ:

Тутъ есть что-то ненормальное. Не беременна ли она?

— Ну, ужъ скажете? При чемъ тутъ беременность? Да и незамѣтно совсѣмъ... Свидѣтельница Караулова! судъ желаетъ знать, на какомъ основаніи вы отказываетесь принять присягу. Вѣдь не можемъ же мы такъ, ни съ того, ни съ сего, освободить васъ отъ присяги. Отвѣчайте! Вы слышите или нѣтъ?

Сохраняя неподвижность, свидѣтельница что-то коротко отвѣчаетъ, но такъ тихо, что ничего нельзя разобрать.

— Суду ничего не слышно. Пожалуйста, громче!..

Свидѣтельница откашливается и очень громко говоритъ:..

— Я проститутка...

Защитникъ, тихонько постукивавшій ногой въ тактъ какимъ-то своимъ мыслямъ, останавливается и пристально глядитъ на свидѣтельницу. „Нужно бы зажечь электричество“... думаетъ онъ, и, точно догадавшись о его желаніи, судебный приставъ нажимаетъ одну кнопку, другую. Публика, присяжные засѣдатели и свидѣтели поднимаютъ головы и смотрятъ на вспыхнувшія лампочки; только судьи, привыкшіе къ эффекту

внезапнаго освѣщенія, остаются равнодушны. Теперь совсѣмъ пріятно: свѣтло и снѣгъ за окнами потемнѣлъ. Уютно. Одинъ изъ присяжныхъ засѣдателей, старикъ, оглядываетъ Караулову и говоритъ сосѣду:

— Съ сумочкой...

Тотъ молча киваетъ головой.

— Ну, такъ что же, что проститутка? говоритъ предсѣдатель, и слово „проститутка“ произноситъ такъ же привычно, какъ произноситъ онъ другія не совсѣмъ обыкновенныя слова; „убійца“, „грабитель“, „жертва“. Вѣдь вы же христіанка?

— Нѣтъ, я не христіанка. Когда бы была христіанка, такимъ бы дѣломъ не занималась.

Положеніе получается довольно нелѣпое. Нахмурившись, предсѣдатель совѣщается съ членомъ суда налѣво и хочетъ говорить; но вспоминаетъ про существованіе члена суда направо, который все время улыбался, и спрашиваетъ его согласія. Та же улыбка и кивокъ головы.

— Свидѣтельница Караулова! судъ постановилъ разъяснить вамъ вашу ошибку. На томъ основаніи, что вы занимаетесь проституціей, вы не считаете себя христіанкой и отказываетесь отъ принятія присяги, къ которой обязуетъ насъ законъ. Но это ошибка,—вы понимаете? Каковы бы ни были ваши занятія, это дѣло вашей совѣсти, и мы въ это дѣло мѣшаться не можемъ; а на принадлежность вашу къ извѣстному религіозному культу они вліять не могутъ. Вы понимаете? Можно даже быть разбойникомъ или грабителемъ и въ тоже время считатсья христіаниномъ или евреемъ или могометаниномъ. Вотъ всѣ мы здѣсь, товарищъ прокурора, г. г. присяжные засѣдатели, занимаемся разнымъ дѣломъ: кто служитъ, кто торгуетъ, и это не мѣшаетъ намъ быть христіанами.

Членъ суда съ лѣвой стороны шепчетъ:

— Теперь вы хватили... Разбойникъ—а потомъ товарищъ прокурора!... И потомъ торгуетъ,—кто торгуетъ? Точно тутъ лавочка, а не судъ. Нельзя, неловко!...

— Такъ вотъ, говоритъ протяжно предсѣдатель, отворачиваясь отъ члена,—свидѣтельница Караулова, занятія тутъ не при чемъ. Вы исполняете извѣстные религіозные обряды: ходите въ церковь... Вы ходите въ церковь?

— Нѣтъ.

— Нѣтъ? Почему же?

— Какъ же я такая пойду въ церковь?

— Но у исповѣди и у св. причастія бываете?

— Нѣтъ.

Свидѣтельница отвѣчаетъ не громко, но внятно. Руки ея съ сумочкой застыли на животѣ и въ ушахъ еле замѣтно колышатся золотыя кольца. Отъ свѣта ли электричества или отъ волненія, она слегка порозовѣла и кажется моложе. При каждомъ новомъ „нѣтъ“ въ публикѣ съ улыбкой переглядываются; одинъ въ заднихъ рядахъ, по виду ремесленникъ, худой, съ общипанной бородкой и кадыкомъ на вытянутой тонкой шеѣ, радостно шепчетъ для всеобщаго свѣдѣнія:

— Вотъ такъ загвоздила!

— Ну, а Богу-то вы молитесь, конечно?

— Нѣтъ. Прежде молилась, а теперь бросила.

Членъ суда настойчиво шепчетъ:

— Да вы свидѣтельницъ спросите! Онѣ вѣдь тоже изъ такихъ... Спросите, согласны онѣ?

Предсѣдатель неохотно беретъ списокъ и говоритъ:

— Свидѣтельница Пустошкина! ваши занятія, если не ошибаюсь...

— Проститутка!.. быстро, почти весело отвѣчаетъ свидѣтельница, молоденькая дѣвушка, также въ шляпкѣ

и модномъ платьѣ. Ей тоже нравится въ судѣ, и раза два она уже переглянулась съ защитникомъ; тотъ подумалъ: „Хорошенькая была бы горничная, много бы на чай получала“...

— Вы согласны принять присягу?

— Согласна.

— Ну, вотъ видите, Караулова! Ваша подруга согласна принять присягу. А вы, свидѣтельница Кравченко, вы тоже... вы согласны?

— Согласна! густымъ контральто, почти басомъ отвѣчаетъ толстая, съ двумя подбородками, Кравченко.

— Ну, вотъ видите, и еще!.. Всѣ согласны. Ну, такъ какъ же?

Караулова молчитъ.

— Не согласны?

— Нѣтъ.

Пустошкина дружески улыбается ей. Караулова отвѣчаетъ лёгкой улыбкой и снова становится серьёзна. Судъ совѣщается, и предсѣдатель, сдѣлавъ любезное, нѣсколько религіозное лицо, обращается къ священнику, который наготовѣ, въ ожиданіи присяги, стоитъ у аналоя и молча слушаетъ.

— Батюшка! въ виду упрямства свидѣтельницы, не возьмете ли на себя трудъ убѣдить ее, что она христіанка? Свидѣтельница, подойдите ближе!

Караулова, не снимая рукъ съ живота, дѣлаетъ два шага впередъ. Священнику неловко: покраснѣвъ, онъ шепчетъ что-то предсѣдателю.

— Нѣтъ ужъ, батюшка, нельзя ли тутъ?.. А то я боюсь, какъ бы и тѣ не заартачились.

Поправивъ наперсный крестъ и покраснѣвъ еще больше, священникъ очень тихо говоритъ:

— Сударыня, ваши чувства дѣлаютъ вамъ честь, но едва ли христіанскія чувства...

— Я и говорю: какая я христіанка?

— Священникъ безпомощно взглядываетъ на предсѣдателя; тотъ говоритъ:

— Свидѣтельница, вы слушайте батюшку: онъ вамъ объяснитъ.

— Всѣ мы, сударыня, грѣшны передъ Господомъ, кто мыслью, кто словомъ, а кто и дѣломъ, и Ему Многомилостивому принадлежитъ судъ надъ совѣстью нашей. Смиренно, съ кротостью, подобно богоизбраннику Іову, должны мы принимать всѣ испытанія, какія возлагаетъ на насъ Господь, памятуя, что безъ воли Его ни одинъ волосъ не упадетъ съ головы нашей. Какъ бы ни великъ былъ вашъ грѣхъ, сударыня, самоосужденіе, самовольное отлученіе себя отъ Церкви составляетъ грѣхъ еще болѣе тяжкій, какъ покусительство на премѣненіе воли Божіей. Быть можетъ, грѣхъ вашъ посланъ вамъ во испытаніе, какъ посылаетъ Господь болѣзни и потерю имущества; вы же, въ гордынѣ вашей...

— Ну, ужъ какая, батюшка, гордыня при нашемъ-то дѣлѣ!

— ...предрѣшаете судъ Христовъ и дерзновенно отрекаетесь отъ общенія со св. Православной Церковью. Вы знаете Символъ вѣры?

— Нѣтъ.

— Но вы вѣруете въ Господа нашего Іисуса Христа?

— Какъ же, вѣрую.

— Всякій истинно вѣрующій во Христа тѣмъ самымъ пріемлетъ имя христіанина...

— Свидѣтельница! вы понимаете: нужно только вѣрить во Христа... подтверждаетъ предсѣдатель.

— Нѣтъ!—рѣшительно отвѣчаетъ Караулова.—Такъ что же изъ того, что я вѣрю, когда я такая? Когда бъ

я была христіанка, я не была бы такая. Я и Богу-то не молюсь.

— Это правда... подтвердила свидѣтельница Пустошкина. — Она никогда не молится. Къ намъ въ домъ — домъ у насъ хорошій, пятнадцатирублевый — икону привозили, такъ она на другую половину ушла. Ужъ мы какъ ее уговаривали, такъ нѣтъ. Ужъ такая она, извините! Ей самой, г. судья, отъ характера своего не легко.

— Господь нашъ Іисусъ Христосъ, продолжалъ священникъ, взглянувъ на предсѣдателя,—простилъ блудницу, когда она покаялась...

— Такъ она покаялась; а я развѣ каялась?

— Но наступитъ часъ душевнаго просвѣтлѣнія, и вы покаетесь.

— Нѣтъ. Развѣ когда старая буду или помирать начну, тогда покаюсь,—да ужъ это какое покаяніе? Грѣшила, грѣшила, а потомъ взяла да въ одну минуту и покаялась. Нѣтъ ужъ, дѣло конченное.

— Какое уже тогда покаяніе! басомъ подтвердила внимательно слушавшая Кравченко.—Пѣла, пѣла пѣсни да пиво пила, да мужчинъ принимала, а тамъ, хвать, и покаялась. Кому такое покаяніе нужно? Нѣтъ уже, дѣло конченное.

Она подвинулась и жирными, короткими пальцами сняла съ плеча Карауловой ниточку, та не шевельнулась. „Хорошо онѣ, должно быть, поютъ вмѣстѣ этомъ“, подумалъ защитникъ: „у этой грудь, какъ кузнечные мѣха. Съ тоскою поютъ. Гдѣ этотъ домъ, что-то я не помню“.

Предсѣдатель развелъ руками и, снова сдѣлавъ любезное и религіозное лицо, отпустилъ священника:

— Извините, батюшка!.. Такое упрямство! Извините, что побезпокоили.

Священникъ поклонился и сталъ на свое мѣсто, у аналоя, и руки, поправлявшія наперсный крестъ, слегка дрожали. Въ публикѣ шептались, и ремесленникъ, у котораго бородка за это время какъ будто еще болѣе порѣдѣла, тянулъ шею всюду, гдѣ шепчутся, и счастливо улыбался. „Вотъ такъ загвоздила!“ громко шепталъ онъ, встрѣтивъ чей-нибудь взглядъ. Подсудимый, недовольный задержкой, брезгливо смотрѣлъ на Караулову, поспѣшно крутилъ усики и что-то соображалъ.

Судъ совѣщался.

— Ну, что же дѣлать? Вѣдь это же идіотка! гнѣвно говорилъ предсѣдатель.—Ее люди въ царство небесно тащатъ, а она...

— По моему мнѣнію, сказалъ членъ суда,—нужно бы освидѣтельствовать ея умственныя способности. Въ средніе вѣка судъ приговаривалъ къ сожженію женщинъ, которыя въ сущности были истеричками, а не вѣдьмами.[3]

— Ну, вы опять за свое! Тогда нужно раньше освидѣтельствовать прокурора: вы посмотрите, что онъ выдѣлываетъ!

Товарищъ прокурора, молодой человѣкъ, въ высокомъ воротничкѣ и съ усиками, вообще странно похожій на обвиняемаго, уже давно старался привлечь на себя вниманіе суда. Онъ ёрзалъ на стулѣ, привставалъ, почти ложился грудью на пюпитръ, качалъ головою, улыбался и всѣмъ тѣломъ подавался впередъ, къ предсѣдателю, когда тотъ случайно взглядывалъ на него. Очевидно было, что онъ что-то знаетъ и нетерпѣливо хочетъ сказать.

— Вамъ что угодно, г. прокуроръ? Только, пожалуйста, покороче!

— Позвольте мнѣ... И не ожидая отвѣта, товарищъ

1 rational faculty 2 dissatisfied with the delay
3 witches

прокурора выпрямился и стремительно спросилъ Караулову:

— Обвиняемая, — виноватъ, свидѣтельница, — какъ васъ зовутъ?

— Груша.

— Это будетъ... это будетъ Аграфёна, Агриппина. Имя христіанское. Слѣдовательно, васъ крестили. И когда крестили, назвали Аграфёной. Слѣдовательно...

— Нѣтъ. Когда крестили, такъ назвали Пелагеей.

— Но вы же сейчасъ при свидѣтеляхъ сказали что васъ зовутъ Грушей?

— Ну да, Грушей. А крестили Пелагеей.

— Но вы же...

Предсѣдатель перебилъ:

— Г. прокуроръ! она и въ спискѣ значится Пелагеей. Вы поглядите!

— Тогда я ничего не имѣю... Онъ стремительно раздвинулъ фалды сюртука и сѣлъ, бросивъ строгій взглядъ на обвиняемаго и защитника.

Караулова ждала. Получалось что-то нелѣпое. Въ публикѣ говоръ становился громче, и судебный приставъ уже нѣсколько разъ строго оглядывался на залъ и поднималъ палецъ. Не то падалъ престижъ суда, не то просто становилось весело.

— Тише тамъ! крикнулъ предсѣдатель. — Г. приставъ! если кто будетъ разговаривать, то удалите его изъ зала.

Поднялся присяжный засѣдатель, высокій, костлявый старикъ, въ долгополомъ сюртукѣ, по виду старообрядецъ, и обратился къ предсѣдателю:

— Можно мнѣ ее спросить?.. Караулова, вы давно занимаетесь блудомъ?

— Восемь лѣтъ.

— А до того чѣмъ занимались?

— Въ горничныхъ служила.

— А кто обольстилъ? Сынокъ или хозяинъ?

— Хозяинъ.

— А много далъ?

— Деньгами десять рублей да серебряную брошку, да отрѣзъ кашемиру на платье. У нихъ свой магазинъ въ рядахъ.

— Стоило изъ-за этого идти!

— Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.

— Дѣти были?

— Одинъ былъ.

— Куда дѣвала?

— Въ воспитательномъ померъ.

— А больна была?

— Была.

Старикъ сухо отвернулся и сѣлъ, и уже сидя, сказалъ:

— И впрямь, какая ты христіанка! За десять рублей душу діаволу продала, тѣло опоганила.

— Бываетъ, старички и больше даютъ! вступилась за подругу Пустошкина. — Намедни у насъ тоже старичокъ одинъ былъ, степенный, въ родѣ, какъ вы...

Въ публикѣ засмѣялись.

— Свидѣтельница, молчите,—васъ не спрашиваютъ! строго остановилъ предсѣдатель.—Вы кончили? А вамъ что угодно, г. присяжный засѣдатель? Тоже спросить?

— Да ужъ дозвольте и мнѣ слово вставить, когда на то дѣло пошло... тонкимъ, почти дѣтскимъ голоскомъ сказалъ необыкновенно большой и толстый купецъ, весь состоящій изъ шаровъ и полушарій: круглый животъ, женская округлая грудь, надутыя, какъ у купидона, щеки и стянутыя къ центру кружочкомъ розовыя губы.—Вотъ что, Караулова, или какъ тебя тамъ, ты съ Богомъ считайся, какъ хочешь, а на землѣ

свои обязанности исполняй. Вотъ ты нынче присягу отказываешься принимать: „не христіанка я“; а завтра воровать по этой же причинѣ пойдешь, либо кого изъ гостей соннымъ зельемъ опоишь,—васъ на это станетъ. Согрѣшила, ну и кайся, на то церкви поставлены; а отъ вѣры не отступайся, потому что, ежели вашъ братъ да еще отъ вѣры отступится, тогда хуть на свѣтѣ не живи.

— Что жъ, можетъ, и красть буду... Сказано, что не христіанка.

Купецъ качнулъ головой, сѣлъ и, подавшись туловищемъ къ сосѣду, громко сказалъ:

— Вотъ попадется такая баба, такъ всѣ руки объ нее обломаешь, а съ мѣста не сдвинешь.

— Они и толстые которые, г. судья, не всѣ честные бываютъ... вступилась Пустошкина.—Намедни къ намъ одинъ толстый пришелъ, въ родѣ ихъ, напилъ, набезобразилъ, нагулялъ, а потомъ въ заднюю дверку хотѣлъ уйти,—спасибо, застрялъ. „Я, говоритъ, воскомъ и свѣчами торгую и не желаю, чтобы святыя деньги на такое поганое дѣло ишли“, а самъ-то пьянъ распьянехонекъ. А по-моему...

— Молчите, свидѣтельница!

— Просто они жуликъ, больше ничего. Вотъ тебѣ и толстые!

— Молчите, свидѣтельница, а то я прикажу васъ вывести. Вамъ что еще угодно, г. прокуроръ.

— Позвольте мнѣ... Свидѣтельница Караулова, я понялъ, что это у васъ кличка Груша, а зовутъ васъ всё-таки Пелагеей. Слѣдовательно, васъ крестили; а если васъ крестили, по установленному обряду, то вы христіанка, какъ это и значится, навѣрное, въ вашемъ метрическомъ свидѣтельствѣ: Таинство крещенія, какъ

извѣстно, составляетъ сущность христіанскаго ученія... Прокуроръ, овладѣвая темой, становился все строже.

— Сейчасъ заговоритъ о паспортѣ... шепнулъ предсѣдатель и перебилъ прокурора:—Свидѣтельница, вы понимаете: разъ васъ крестили, вы, значитъ, христіанка. Вы согласны?

— Нѣтъ.

— Ну, вотъ видите, прокуроръ, она не согласна.

Становилось досадно. Пустяки, бабьё вздорное упрямство тормазило все дѣло, и вмѣсто плавнаго, отчётливаго, стройнаго постукиванія судебнаго аппарата получалась нелѣпая безтолковщина. И къ обычному тайному мужскому презрѣнію къ женщинѣ примѣшивалось чувство обиды: какъ она ни скромничаетъ, а выходитъ, какъ будто она лучше всѣхъ, лучше судей, лучше присяжныхъ засѣдателей и публики. Электричество горитъ, и все такъ хорошо, а она упрямится. И никто уже не смѣется, а ремесленникъ съ выщипанной бородкой внезапно впалъ въ тоску и говоритъ: „Вотъ я тебя гвозданулъ бы разокъ, такъ сразу бы поняла!“ Сосѣдъ, не глядя, отвѣчаетъ: „А тебѣ бы, братецъ, все кулакомъ; ты ей докажи!“—„Молчите, господинъ, вы этого не понимаете, а кулакъ тоже отъ Господа данъ“.—„А бороду гдѣ выщипали?“—„Гдѣ бы ни выщипали, а выщипали“... Судебный приставъ шипитъ, разговоры смолкаютъ и всѣ съ любопытствомъ смотрятъ на совѣщающихся судей.

— Послушайте, Левъ Аркадьичъ, вѣдь это Богъ знаетъ что такое! возмущается членъ суда.—Это не судъ, а сумасшедшій домъ какой-то. Что, мы судимъ ее, что ли, или она насъ судитъ? Благодарю покорно за такое удовольствіе!

— Да вы-то что? Что жъ я нарочно, по вашему? покраснѣлъ предсѣдатель.—Вы поглядите на эту, на

толстую, на Кравченко,—вѣдь она глазами ее ѣстъ. Вѣдь онѣ тутъ новую ересь объявятъ, а я отписывайся! Благодарю васъ покорнѣйше! И не могу же я отказывать, разъ уже позволили... Вамъ угодно что-нибудь сказать, г. присяжный засѣдатель? Только, пожалуйста, покороче,—мы и такъ потеряли уже полчаса.

Молодой человѣкъ необыкновенно интеллигентнаго, даже одухотвореннаго вида; волосы у него были большіе, пушистые, какъ у поэта или молодого попа; кисть руки тонкая, сухая, и говорилъ онъ съ легкимъ усиліемъ, точно его словамъ трудно было преодолѣть сопротивленіе воздуха. Во время переговоровъ съ Карауловой онъ страдальчески морщился, и теперь въ тихомъ голосѣ его слышится страданіе.

— Это очень печально, то, что вы говорите, свидѣтельница, и я глубоко сочувствую вамъ; но помните же, что нельзя такъ умалять сущность христіанства, сводя его къ понятію грѣха и добродѣтели, хожденію въ церковь и обрядамъ. Сущность христіанства въ мистической близости съ Богомъ...

— Виноватъ... перебилъ предсѣдатель.—Караулова, вы понимаете, что значитъ мистическій?

— Нѣтъ.

— Г. присяжный засѣдатель! она не понимаетъ слова „мистическій“. Выражайтесь, пожайдуста, проще: вы видите, на какой она, къ сожалѣнію, низкой ступени развитія.

— Ликъ Христовъ - вотъ основаніе и точка. Небо раскрылось послѣ обрѣзанія, и нѣтъ ни грѣха, ни добродѣтели, ни богатства. Прерывистый, задыхающійся шепотъ--вотъ эмбріонъ всѣхъ сфинксовъ...

— Г. присяжный засѣдатель! я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли проще?

— Проще я не могу... грустно сказалъ засѣдатель.—

Мистическое требуетъ особаго языка... Однимъ словомъ,—нужна близость къ Богу.

— Караулова, вы понимаете? Нужна только близость къ Богу и больше ничего.

— Нѣтъ. Какая ужъ тутъ близость при такомъ дѣлѣ! Я и лампадки въ комнатѣ не держу. Другія держатъ, а я не держу.

— Намедни, басомъ сказала Кравченко,—гость пива мнѣ въ лампадку вылилъ. Я ему говорю: „Сукинъ ты сынъ, а еще лысый". А онъ говоритъ: „Молчи, говоритъ, мурзикъ, свѣтъ Христовъ и во тьмѣ сіяетъ". Такъ и сказалъ.

— Свидѣтельница Кравченко! прошу безъ анекдотовъ! Вамъ еще что нужно, свидѣтель?

Свидѣтель, частный приставъ въ парадномъ мундирѣ, щёлкаетъ шпорами.

— Ваше превосходительство! разрѣшите мнѣ уединиться со свидѣтельницей.

— Это зачѣмъ еще?

— Относительно присяги, ваше превосходительство. Я въ ихнемъ участкѣ, гдѣ ихній домъ... Я живо, ваше превосходительство... Она присягу сейчасъ приметъ.

— Нѣтъ, сказала Караулова, немного поблѣднѣвъ и не глядя на пристава. Тотъ повернулъ голову, грудь съ орденами оставляя суду.

— Нѣтъ, примете!

— Нѣтъ.

— Посмотримъ...

— Посмотрите...

— Довольно, довольно!.. сердито крикнулъ предсѣдатель.—А вы, г. приставъ, идите на свое мѣсто: мы пока въ вашихъ услугахъ не нуждаемся.

Щелкнувъ шпорами, приставъ съ достоинствомъ отходитъ. Въ публикѣ угрюмый шопотъ и разговоры

Ремесленникъ, расположеніе котораго снова перешло на сторону Карауловой, говоритъ: „Ну, теперь держись, баба! Зубки-то начистятъ, — какъ самоваръ заблестятъ“.— „Ну, это вы слишкомъ!“—„Слишкомъ? Молчите, господинъ: вы этого дѣла не понимаете, а я вотъ какъ понимаю!“—„Бороду-то гдѣ выщипали?“—„Гдѣ ни выщипали, а вищипали; а вы вотъ скажите, есть тутъ буфетъ для третьяго класса? Надо чирикнуть за упокой души рабы Божьей Пелагеи“.

— Тише, тамъ! крикнулъ предсѣдатель.—Г. судебный приставъ! примите мѣры!

Судебный приставъ на цыпочкахъ идетъ въ мѣста для публики, но при его приближеніи всѣ смолкаютъ, и также на цыпочкахъ онъ возвращается обратно. Репортеръ съ жадностью исписываетъ узенькіе листки, но на лицѣ его отчаяніе: онъ предвидитъ, что цензура ни въ какомъ случаѣ не пропуститъ написаннаго.

— Какъ хотите, а нужно кончить! говоритъ членъ суда.—Получается скандалъ.

— Пожалуй, что... Ну, что еще вамъ нужно, г. защитникъ? Все уже выяснено. Садитесь!

Изящно выгнувъ шею и талію, обтянутую чернымъ фракомъ, защитникъ говоритъ:

— Но разъ было предоставлено слово г. товарищу прокурора...

Такъ и вамъ нужно? съ безнадежной ироніей покачалъ головой предсѣдатель.—Ну, хорошо, говорите, если такъ ужъ хочется, только, пожайлуста, покороче!

Защитникъ поворачивается къ присяжнымъ засѣдателямъ:

— Остроумныя упражненія г. товарища прокурора и частнаго пристава въ богословіи... начинаетъ онъ медленно.

— Г. защитникъ! строго перебиваетъ предсѣдатель.— Прошу безъ личностей!

Защитникъ поворачивается къ суду и кланяется.

— Слушаю-съ.

Затѣмъ снова поворачивается къ присяжнымъ, окидываетъ ихъ свѣтлымъ и открытымъ взоромъ и внезапно, глубоко задумывается, опустивъ голову. Обѣ руки его подняты на высоту груди, глаза крѣпко закрыты, брови сморщены и весь онъ имѣетъ видъ не то смертельно влюбленнаго, не то собирающагося чихнуть. И присяжные и публика смотрятъ на него съ большимъ интересомъ, ожидая, что изъ этого можетъ выйти, и только судьи, привывшіе къ его ораторскимъ пріемамъ, остаются равнодушны. Изъ состоянія задумчивости защитникъ выходитъ очень медленно, по частямъ: сперва упали безсильно руки, потомъ слегка пріоткрылись глаза, потомъ медленно приподнялась голова, и только тогда, словно противъ его воли, изъ устъ выпали проникновенныя слова:

— Гг. судьи и гг. присяжные засѣдатели!

И дальше онъ говоритъ совсѣмъ необыкновенно: то шепчетъ, но такъ, что всѣ слышатъ, то громко кричитъ, то снова задумывается и остолбенѣло, какъ въ каталепсіи, смотритъ на кого-нибудь изъ присяжныхъ засѣдателей, пока тотъ не замигаетъ и не отведетъ глазъ.

— Гг. судьи и гг. присяжные засѣдатели! Вы слышали только сейчасъ многозначительный діалогъ между свидѣтельницей Карауловой и г. частнымъ приставомъ, и значеніе его для васъ не представляетъ загадки. Принявъ во вниманіе тѣ обширныя средства воздѣйствія, какими располагаетъ наша администрація, и съ другой стороны—ея неуклонное стремленіе къ возвращенію заблудшихся въ лоно православія...

— Г. защитникъ, что же это такое! возмущается предсѣдатель.—Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здѣсь установленныя закономъ власти. Я лишу васъ слова.

Товарищъ прокурора говоритъ скромно, но стремительно:

— Я просилъ бы занести слова г. защитника въ протоколъ.

Не обращая вниманія на прокурора, защитникъ снова кланяется суду:

— Слушаю-съ. Я хотѣлъ только сказать, гг. присяжные засѣдатели, что г-жа Карауллова, насколько я ее понимаю, не отступится отъ своихъ взглядовъ даже въ томъ, невозможномъ, впрочемъ, у насъ случаѣ, если бы ей угрожали костромъ или инквизиціонными пытками. Въ лицѣ г-жи Карауловой мы видимъ, гг. присяжные засѣдатели, перевернутый, такъ сказать, типъ христіанской мученицы, которая во имя Христа какъ бы отрекается отъ Христа, говоря „нѣтъ", въ сущности говоритъ „да!".

Какой-то большой и красивый образъ смутно и притягательно блеснулъ въ головѣ адвоката; пальцы его похолодѣли, и взволнованнымъ голосомъ, въ которомъ ораторскаго искусства было только наполовину, онъ продолжаетъ:

— Она христіанка. Она христіанка, и я докажу вамъ это, гг. присяжные засѣдатели! Показанія свидѣтельницъ, г-жъ Пустошкиной и Кравченко и признанія самой Карауловой нарисовали намъ полную картину того, какимъ путемъ пришла она къ этому мучительному положенію. Неопытная, наивная дѣвушка, быть можетъ, только что оторванная отъ деревни, отъ ея невинныхъ радостей, она попадаетъ въ руки грязнаго сластолюбца и, къ ужасу своему, убѣждается, что она беременна. Родивъ гдѣ-нибудь въ сараѣ, она...

— Нельзя ли покороче, г. защитникъ! Намъ извѣстно съ самаго начала, что г-жа Караулова занимается проституціей. Гг. присяжные засѣдатели не дѣти и сами прекрасно знаютъ, какъ это дѣлается. Вернитесь къ христіанству. И потомъ она не крестьянка, а мѣщанка г. Воронежа.

— Слушаю-съ, г. предсѣдатель, хотя я думаю, что и у мѣщанъ есть свои невинныя радости. Такъ вотъ-съ. Въ душѣ своей г-жа Караулова носитъ идеалъ человѣка, какимъ онъ долженъ быть по Христу, дѣйствительность же, съ ея благообразными старичками, наливающими пиво въ лампадку, съ ея пьянымъ угаромъ, оскорбленіями, быть можетъ, побоями,—разрушаетъ и оскверняетъ этотъ чистый образъ. И въ этой трагической коллизіи разрывается на части душа г-жи Карауловой. Гг. присяжные засѣдатели! Вы видѣли ее здѣсь спокойною, чуть ли не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горькихъ слезъ пролили эти глаза въ ночной тишинѣ, сколько острыхъ иглъ жгучаго раскаянія и скорби вонзилось въ это изстрадавшееся сердце! Развѣ ей не хочется, какъ другимъ порядочнымъ женщинамъ, пойти въ церковь, къ исповѣди, къ причастію—въ бѣломъ, прекрасномъ платьѣ причастницы, а не въ этой позорной формѣ грѣха и преступленія? Быть можетъ, въ ночныхъ грезахъ своихъ она уже не разъ на колѣняхъ ползала къ этимъ каменнымъ ступенямъ, лобызала ихъ жаркимъ лобзаніемъ, чувствуя себя недостойной войти въ святилище... И это не христіанка! Кто же тогда достоинъ имени христіанина? Развѣ въ этихъ слезахъ не заключается тотъ высокій актъ покаянія, который блудницу превратилъ въ Магдалину, эту святую, столь высоко чтимую...

— Нѣтъ! перебила Караулова.—Неправда это. И не плакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяніе, когда то же самое дѣлаешь? Вотъ вы посмотрите...

Она открыла сумочку, вынула носовой платокъ и за нимъ портмоне. Положивъ на ладонь два серебряныхъ рубля и мелочь, она протянула ее къ защитнику и потомъ къ суду. Одна монетка соскользнула съ руки, покружилась по бетонному, натертому полу и легла возлѣ пюпитра защитника. Но никто не нагнулся ее поднять.

— За что вотъ я эти деньги получила? За это, за самое. А платье вотъ это, а шляпка, а серьги—все за это, за самое. Раздѣнь меня до самаго голаго тѣла, такъ ничего моего не найдешь. Да и тѣло-то не мое—на три года впередъ продано, а то, можетъ, и на всю жизнь,—жизнь-то наша короткая. А въ животѣ у меня что?—Портвейнъ да пиво, да шоколадъ, гость вчера угощалъ,—выходитъ, что и животъ не мой. Нѣтъ у меня ни стыда, ни совѣсти: прикажете голой раздѣться, раздѣнусь; прикажете на крестъ наплевать, наплюю.

Кравченко заплакала. Слезы у нея не точились, а бѣжали быстрыми, нарастающими капельками и, какъ на подносъ, падали на неестественно выдвинутую грудь. Она ихъ вытирала, но не у глазъ, а вокругъ рта и на подбородкѣ, гдѣ было щекотно.

— А то вотъ третьяго дня меня съ однимъ гостемъ вѣнчали, такъ, для шутки, конечно: вмѣсто вѣнцовъ надъ головой ночныя вазы держали, вмѣсто свѣчекъ пивныя бутылки донышками кверху, а за попа другой гость былъ, надѣлъ мою юбку наизнанку, такъ и ходилъ. А она—Караулова показала на плачущую Кравченко—за мать мнѣ была, плакала, разливалась, какъ будто въ серьезъ. Она поплакать-то любитъ. А я смѣялась,—вѣдь и правда, очень смѣшно было. И къ церкви я равнодушна, и даже мимо старалась не ходить, не люблю. Вотъ тоже говорили тутъ „молиться“,—а у меня и словъ такихъ нѣтъ, чтобы молиться. Всякія сло[illegible]

знаю, даже такія, какихъ, глядишь, и вы не знаете, несмотря на то, что вы мужчины: а настоящихъ не знаю. Да о чемъ и молиться-то? Того свѣта я не боюсь,— хуже не будетъ: а на этомъ свѣтѣ молитвою много не сдѣлаешь. Молилась я, чтобы не рожать,—родила. Молилась, чтобы ребенокъ при мнѣ жилъ,—а пришлось въ воспитательный отдать. Молилась, чтобы хоть тамъ пожилъ, а онъ взялъ да и померъ. Мало ли о чемъ молилась, когда поглупѣе была, да спасибо добрымъ людямъ, отучили. Студентъ отучилъ. Вотъ тоже, какъ вы, началъ говорить и о дѣтствѣ моемъ и о прочемъ, и до того меня довелъ, что заплакала я и взмолилась. Господи, да унеси Ты меня отсюда! А студентъ говоритъ: „Вотъ теперь ты человѣкомъ стала, и могу я теперь съ тобою любовное занятіе имѣть“. Отучилъ. Конечно, я на него не сержусь: каждому пріятнѣе съ честною цѣловаться, чѣмъ съ такой, какъ я или вотъ онѣ; но только мнѣ-то отъ молитвы да отъ слезъ прибыли никакой. Нѣтъ ужъ, какая я христіанка, гг. судьи,— зачѣмъ пустое говорить? Есть я Груша-цыганка, такою меня и берите.

Караулова встряхнула слегка, качнула головой, блеснувъ длинными обручами серегъ, и просто добавила:

— Двугривенный я тутъ уронила,—поднять можно?

Всѣ молчали и глядѣли, пока Караулова, перегнувшись, подымала монету со скользкаго пола.

— Ну, а вы, — съ горечью обратился предсѣдатель къ Путилиной и Кравченко, — вы-то согласны принять присягу?

— Мы-то согласны, — отвѣтила Кравченко плача.— А она нѣтъ!

— Г. предсѣдатель! поднялся прокуроръ, строгій и величественный. Въ виду того, что многіе случаи,

подходятъ подъ понятіе кощунства, я, какъ представитель прокурорскаго надзора, желалъ бы знать, не помнитъ ли она именъ?..

— Ну, какое тамъ кощунство! отвѣтила Караулова.— Просто пьяны были. Да и не помню я,—развѣ всѣхъ упомнишь?

Судьи долго и безплодно совѣщаются, подзываютъ даже къ себѣ прокурора и убѣдительно, въ два голоса, шепчутъ ему. Наконецъ, постановляютъ: „Допросить свидѣтельницу Караулову, въ виду ея нехристіанскихъ убѣжденій, безъ присяги".

Остальные свидѣтели тѣсной кучкой двинулись къ аналою, гдѣ ждетъ ихъ облачившійся священникъ съ крестомъ. Приставъ громко говоритъ:

— Прошу встать!

Всѣ встаютъ и оборачиваются къ аналою. Теперь Карауловой видны однѣ только спины и затылки: плѣшивые, волосатые, круглые, плоскіе, остроконечные.

Священникъ говоритъ:

— Поднимите руки!

Всѣ подняли руки.

— Повторяйте за мною, говоритъ онъ однимъ голосомъ и другимъ продолжаетъ:—Обѣщаюсь и клянусь...

Толпа разрозненно гудитъ, выдѣляя густое, еще полное слезъ, контральто Кравченко.

— Обѣщаюсь и клянусь...

— Передъ Всемогущимъ Богомъ и св. Его Евангеліемъ...

— Передъ Всемогущимъ Богомъ... и святымъ... Его... Евангеліемъ...

Все наладилось и идетъ, какъ слѣдуетъ: стройно, легко, пріятно. Во все время присяги и цѣлованія креста Караулова стоитъ неподвижно и смотритъ въ одну точку: въ спину предсѣдателя.

Свидѣтелей удалили, кромѣ Карауловой.

— Свидѣтельница! судъ освободилъ васъ отъ присяги, но помните, что вы должны показывать одну только правду, по чистой совѣсти. Обѣщаете?

— Нѣтъ... Какая у меня совѣсть? Я жъ говорила, что нѣтъ у меня никакой совѣсти.

— Ну, что же намъ съ вами дѣлать? разводитъ руками предсѣдатель.—Ну, правду-то, понимаете, правду говорить будете?

— Скажу, что знаю.

Черезъ полчаса, въ образцовомъ порядкѣ и тишинѣ, совершается судъ. Правильно чередуются вопросы и отвѣты; прокуроръ что-то записываетъ; репортеръ съ дѣловымъ и безстрастнымъ лицомъ рисуетъ на бумажкѣ какіе-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый даетъ продолжительныя и очень подробныя объясненія. Руки онъ заложилъ за спину, слегка покачивается взадъ и впередъ и часто взглядываетъ на потолокъ.

...—Что же касается квитанціи изъ городского ломбарда на заложенный велосипедъ, то происхожденіе ея таково. 13-го марта прошедшаго года я зашелъ въ велосипедный магазинъ Мархлевскаго...

...Что же касается якобы моихъ кутежей въ означенномъ домѣ терпимости и того, будто я размѣнивалъ тамъ сторублевую бумажку, то былъ я тамъ всего четыре раза: 21 декабря, 7 января, 25 того же января и 1 февраля, и три раза деньги платилъ за меня мой товарищъ Протасовъ. Относительно же четвертаго раза, когда я платилъ лично, я прошу разрѣшенія представить суду потребованный мною тогда же счетъ, изъ коего видно, что общая сумма издержекъ, включая сюда...

Горитъ электричество. За окнами тьма. Весело, тепло, уютно.

Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 февраля 1906 г.

	Цѣна.
Сборникъ т-ва „Знаніе“: Книга I.	1 р. — к.
» » » Книга II.	1 » — »
» » » Книга III.	1 » — »
» » » Книга IV.	1 » — »
» » » Книга V.	1 » — »
» » » Книга VI.	1 » — »
» » » Книга VII.	1 » — »
» » » Книга VIII.	1 » — »
» » » Книга IX. *Печатается.*	1 » — »
» » » Книга X. *Печатается.*	1 » — »
„Нижегородскій сборникъ“	1 » — »
М. Горькій. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
М. Горькій. Разсказы. Томъ II.	1 » — »
М. Горькій. Разсказы. Томъ III.	1 » — »
М. Горькій. Разсказы. Томъ IV.	1 » — »
М. Горькій. Разсказы. Томъ V.	1 » — »
М. Горькій. Пьесы. Томъ VI.	1 » — »
М. Горькій. Мѣщане. Драм. эскизъ въ 4 акт. *Только въ перепл.*	1 » — »
М. Горькій. На днѣ. Картины.	— » 60 »
Л. Андреевъ. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
Л. Андреевъ. Разсказы. Томъ II.	1 » — »
Л. Андреевъ. Мелкіе разсказы. Томъ III.	1 » — »
Скиталецъ. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ II.	1 » — »
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ III.	1 » — »
Е. Чириковъ. Пьесы. Томъ IV.	1 » — »
Ив. Буниnъ. Томъ I. Разсказы.	1 » — »
Ив. Буниnъ. Томъ II. Стихотворенія.	1 » — »
Н. Телешовъ. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
А. Серафимовичъ. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
А. Купринъ. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
А. Купринъ. Разсказы Томъ II.	1 » — »
С. Юшкевичъ. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
С. Юшкевичъ. Разсказы. Томъ II.	1 » — »
С. Юшкевичъ. Разсказы. Томъ III. *Печатается*	1 » — »
С. Гусевъ-Оренбургскій. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
Н. Гаринъ. Дѣтство Тёмы	1 » — »
Н. Гаринъ. Гимназисты	1 » — »
Н. Гаринъ. Студенты	1 » — »
Н. Гаринъ. По Кореѣ, Маньчжуріи и Ляод. полуострову	1 » — »
Н. Гаринъ. Корейскія сказки	— » 60 »
А. Яблоновскій. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
С. Елеонскій. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
С. Елпатьевскій. Разсказы. Томъ I.	1 » — »
С. Елпатьевскій. Разсказы. Томъ II.	1 » — »
С. Елпатьевскій. Разсказы о прошломъ. Томъ III.	1 » — »
С. Найденовъ. Пьесы. Томъ I.	1 » — »
Д. Айзманъ. Разсказы. Томъ I.	1 » — »

Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 февраля 1906 г. Цѣна.

Эсхилъ. Скованный Прометей	—	»	30 »
Софоклъ. Эдипъ-царь	—	»	40 »
Софоклъ. Эдипъ въ Колонѣ	—	»	40 »
Софоклъ. Антигона	—		40 »
Эврипидъ. Медея	—	»	40 »
Эврипидъ. Ипполитъ	—	»	40 »
Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ. Трагедіи. Роск.-иллюстр. изд. *Печатается.*	—	»	— »
Гёте. Фаустъ	2	»	— »
Байронъ. Манфредъ	—	»	40 »
Байронъ. Каинъ. *Печатается*	—	»	— »
Леопарди. Разговоры. *Печатается*	—	»	— »
Леопарди. Мысли. *Печатается.*	—	»	— »
Шелли. Собраніе сочиненій. Томъ I.	2	»	— »
Шелли. » » Томъ II.	2	»	— »
Шелли. » » Томъ III. *Печатается*	2	»	— »
Шелли. Освобожденный Прометей	—	»	50 »
Шелли. Ченчи. *Печатается*	—	»	— »
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Роскошно-илл. изд.	2	»	— »
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Дешевое изданіе	—	»	80 »
Т. Шевченко. Кобзарь. *Печатается.*	1	»	— »
Красинскій. Иридіонъ	—	»	60 »
Имре Мадачъ. Человѣческая трагедія.	—	»	50 »
Гауптманъ. Роза Берндтъ	—	»	50 »
Бьернсонъ. Перчатка	—	»	40 »
Э Золя. Углекопы. Изд. *3-е*	1	»	— »
Эрманъ-Шатріанъ. Гаспаръ Фикъ	—	»	65 »
П. Милюковъ. Изъ исторіи русской интеллигенціи. Изд. *2-е*	1	»	50 »
Н. Рубакинъ. Этюды о русской читающей публикѣ. *Печатается.*	—	»	— »
А. Петрищевъ. Замѣтки учителя	1	»	— »
Мертваго. Не по торному пути	1	»	50 »
Андреевичъ. Опытъ философіи русской литературы.	1	»	20 »
Бекетовъ. Популярныя лекціи и рѣчи. *Печатается.*	—	»	— »
Рилль. Введеніе въ философію. *Печатается*	—	»	— »
Штёрринъ. Психопатологія въ примѣненіи къ психологіи.	1	»	50 »
Вундтъ. Введеніе въ философію. *Печатается*	—	»	— »
Куно Фишеръ. Исторія новой философіи. Томъ IV: Кантъ.	4	»	— »
Паульсенъ. Общеобразовательная школа будущаго	—		40 »
Майръ. Статистика и обществовѣдѣніе	6	»	— »
Леклеркъ. Воспитаніе и общество въ Англіи.	3	»	—
Гюйо. Исторія и критика совр. англ. ученій о нравственности	2	»	— »
Гюйо. Происхожденіе идеи о времени. Мораль Эпикура	2	»	— »
Гюйо. Задачи современной эстетики. Очеркъ морали	2	»	—
Гюйо. Воспитаніе и наслѣдственность	1		50 »
Гюйо. Стихи философа.	1	»	— »
Гюйо. Искусство съ соціологической точки врѣнія	2	»	— »
Моррисъ. Искусство. Съ иллюстраціями. *Печатается*	—		— »
Мутеръ. Исторія живописи (отъ среднихъ вѣковъ). Томъ I.	2	»	50 »
Мутеръ. То же сочиненіе. Томъ II.	2	»	50 »
Мутеръ. То же сочиненіе. Томъ III.	2	»	— »
Мутеръ. Исторія живописи въ XIX вѣкѣ	17	»	— »

Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 февраля 1906 г. Цѣна.

Никольскій. Лѣтнія поѣздки натуралиста . . . . . 2 » — »
Клейнъ. Астрономическіе вечера. Изд. *третье* . . . . . 2 » — »
Клейнъ. Прошлое, настоящее и будущее вселенной. Изд. *второе* . . . . 1 » 50 »
Юнгъ. Солнце. Изд. *второе* . . . . . 1 » 50 »
Тиндаль. Звукъ. Изд. *второе*. . . . . 1 » 50 »
Клейнъ. Чудеса земного шара. *Печатается* . . . . . — » — »
Бонмели. Исторія земли. *Печатается*. . . . . — » — »
Гетчинсонъ. Вымершія чудовища . . . . . 1 » 20 »
Гетчинсонъ. Животныя прошлыхъ геологич. эпохъ. *Печатается* . . . — » — »
Григорьевъ. Краткій курсъ химіи. Изд. *3-е* . . . . . — » 80 »
Освальдъ. Школа химіи. *Печатается*. . . . . — » — »
Левассеръ. Народное образованіе въ цивилизованныхъ странахъ . . . . 3 » — »
Фальборкъ и Чарнолускій. Народное образованіе въ Россіи . . . . . 1 » 50 »
» » » Внѣшкольное образованіе . . . . . 2 » — »
Фальборкъ и Чарнолускій. Справочныя изданія по народному образованію: *Поступило въ продажу 20 книжекъ. Подробности см. на стр.* . . . . . — » — »
Фальборкъ и Чарнолускій. Россійскія партіи, союзы и лиги . . . . . 1 » — »
Сеньобосъ. Полит. исторія соврем. Европы, 2 т. Изд. *третье* . . . . 3 » — »
Гиббинсъ и Сатуринъ. Исторія современной Англіи . . . . . 1 » 20 »
Инсаровъ. Современная Франція . . . . . 2 » 50 »
Куртъ. Исторія народн. законодат. и демократіи въ Швейцаріи. . . . . 1 » — »
Зомбартъ. Идеалы соціальной политики . . . . . — » 40 »
Каутскій. Колоніальная политика въ прошломъ и настоящемъ. . . . . — » 40 »
Л. В. Новгородцевъ. Германія и ея политическая жизнь . . . . . 1 » 20 »
Вандервельде. Притягательная сила городовъ . . . . . — » 40 »
Вигуру. Рабочіе союзы въ Сѣверной Америкѣ . . . . . 1 » 50 »
Люксембургъ. Промышленное развитіе Польши . . . . . — » 50 »
Финляндія. . . . . . 3 » 50 »
Гуго. Новѣйшія теченія въ англійскомъ городскомъ хозяйствѣ. . . . . 1 » 50 »
Гобсонъ. Общественные идеалы Дж. Рёскина . . . . . 1 » 50 »
Дрейфусъ. Пять лѣтъ моей жизни . . . . . 1 » 20 »
Штраусъ. Вольтеръ . . . . . 1 » — »

ПЕЧАТАЕТСЯ

ДЕШЕВАЯ БИБЛІОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“:

1. **М. Горькій.** Пѣсня о соколѣ.
   Пѣсня о буревѣстникѣ.
   Легенда о Марко.
2. **М. Горькій.** Человѣкъ.
3. **М. Горькій.** Макаръ Чудра.
4. **М. Горькій.** О Чижѣ, который лгалъ, и о Дятлѣ, любителѣ истины.
5. **М. Горькій.** Емельянъ Пиляй.
6. **М. Горькій.** Дѣдъ Архипъ и Ленька.
7. **М. Горькій.** Челкашъ.
8. **М. Горькій.** Старуха Изергиль.
9. **М. Горькій.** Однажды осенью.
10. **М. Горькій.** Мой спутникъ.
11. **М. Горькій.** Дѣло съ застежками.
12. **М Горькій.** На плотахъ.
13. **М. Горькій.** Болесь.
14. **М. Горькій.** Тоска.
15. **М. Горькій.** Коноваловъ.
16. **М. Горькій.** Ханъ и его сынъ.
17. **М. Горькій.** Супруги Орловы.
18. **М. Горькій.** Бывшіе люди.
19. **М. Горькій.** Озорникъ.
20. **М. Горькій.** Варенька Олесова.
21. **М. Горькій.** Товарищи.
22. **М. Горькій.** Въ степи.
23. **М. Горькій.** Мальва.
24. **М. Горькій.** Ярмарка въ Голтвѣ.
25. **М. Горькій.** Зазубрина.
26. **М. Горькій.** Скуки ради.
27. **М. Горькій.** Каинъ и Артемъ.
28. **М. Горькій.** Дружки.
29. **М. Горькій.** Проходимецъ.
30. **М. Горькій.** Кирилка.
31. **М. Горькій.** Васька Красный.
32. **М. Горькій.** Двадцать шесть и одна.
33. **М. Горькій.** Разсказъ Филиппа Васильевича.
34. **М. Горькій.** Тюрьма.
35. **М. Горькій.** Трое.

41. **Скиталецъ.** Стихотворенія. Книга I.
42. **Скиталецъ.** Стихотворенія. Книга II.
43. **Скиталецъ.** Сквозь строй.
44. **Скиталецъ.** За тюремной стѣной.
45. **Скиталецъ.** Октава.
46. **Скиталецъ.** Ранняя обѣдня.
47. **Скиталецъ.** Полевой судъ.

Послѣднія изданія товарищества „ЗНАНІЕ":

Сборникъ т-ва „ЗНАНІЕ" за 1903—1905 г.
Книги I—VIII . . . по 1 р. — к.

М. Горькій. Разсказы и пьесы. Томы I—VI . . . . по 1 „ — „
Л. Андреевъ. Разсказы. Томы I—II . . . . . по 1 „ — „
Л. Андреевъ. Мелкіе разсказы . . . . . 1 „ — „
Скиталецъ. Разсказы и пѣсни. Томъ I . . . . . 1 „ — „
Е. Чириковъ. Разсказы и пьесы. Томы I—IV . . . . по 1 „ — „
И. Бунинъ. Разсказы и стихотворенія. Томы I—II . по 1 „ — „
Н. Телешовъ. Разсказы. Томъ I . . . . . 1 „ — „
А. Серафимовичъ. Разсказы. Томъ I . . . . . 1 „ — „
А. Купринъ. Разсказы. Томы I—II . . . . . по 1 „ — „
С. Юшкевичъ. Разсказы. Томы I—III . . . . . по 1 „ — „
С. Гусевъ-Оренбургскій. Разсказы. Томъ I. . . . . 1 „ — „
Н. Гаринъ. Дѣтство темы. Томъ I. . . . . 1 „ — „
Н. Гаринъ. Гимназисты. Томъ II. . . . . 1 „ — „
Н. Гаринъ. Студенты. Томъ III . . . . . 1 „ — „
Н. Гаринъ. Корейскія сказки. . . . . — „ 60 „
Н. Гаринъ. По Кореѣ, Манчж. и Ляод. полуострову . 1 „ — „
А. Яблоновскій. Разсказы. Томъ I. . . . . 1 „ — „
С. Елеонскій. Разсказы. Томъ I. . . . . 1 „ — „
С. Елпатьевскій. Разсказы. Томы I—III . . . . . по 1 „ — „
С. Найденовъ. Пьесы. Томъ I. . . . . 1 „ — „
Д. Айзманъ. Разсказы Томъ I. . . . . 1 „ — „
Эсхилъ. Скованный Прометей. *Изд. второе* . . . . . — „ 30 „
Софоклъ. Эдипъ-царь. *Изд. второе*. . . . . — „ 40 „
Софоклъ. Эдипъ въ Колонѣ. *Изд. второе* . . . . . — „ 40 „
Софоклъ. Антигона. *Изд. третье* . . . . . — „ 40 „
Эврипидъ. Медея. *Изд. второе*. . . . . — „ 40 „
Эврипидъ. Ипполитъ. *Изд. второе*. . . . . — „ 40 „
Бьёрнсонъ. Перчатка. . . . . — „ 40 „
Гауптманъ. Роза Бернд. . . . . — „ 50 „
Байронъ. Манфредъ. . . . . — „ 40 „
Гёте. Фаустъ. Обѣ части. . . . . 2 „ — „
Леопарди. Разговоры. *Печатается*. . . . . — „ — „
Леопарди. Мысли. *Печатается*. . . . . — „ — „
Красинскій. Иридіонъ. . . . . — „ 60 „
Шелли. Полное собраніе сочин. въ 3 т. Каждый томъ по 2 „ — „
Шелли. Освобожденный Прометей. . . . . — „ 50 „
Шелли. Ченчи. . . . . — „ 50 „
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Роскошно-илл. изд. . . 2 „ — „
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Дешевое изданіе. . . . — „ 80 „
Э. Золя. Углекопы. *Изд. третье*. . . . . 1 „ — „
И. Мадачъ. Человѣческая трагедія . . . . . — „ 50 „
Т. Шевченко. Кобзарь. (Въ перев. на русск.) *Изд. второе* 1 „ — „
Аф. Петрищевъ. Замѣтки учителя . . . . . 1 „ — „
Андреевичъ. Опытъ философіи русской литературы. . 1 „ 20 „
Нижегородскій Сборникъ . . . . . 1 „ — „

Типографія И. Н. Клобукова. Литовская ул., 84.